

**Товарищество писателей в Петербурге
Секция критики и литературоведения
Союз писателей России**

НОВЫЙ РУССКИЙ ЖУРНАЛ

литературной и философской критики,
прозы и поэзии

№ 5

август – октябрь 2017

Санкт-Петербург
2017

ББК XX.YY

Редакционный Совет

Главный редактор
В. И. Чернышев

ISSN xxxx-xxxx

© Чернышев В. И., 2017
© Редакционный Совет, 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

Истоки, итоги, надежды	4
I. ПОЭЗИЯ И ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРОЗА	
Маргарита Токажевская. Стихи холодного хмурого лета	19
Мария Амфилохиева. Странные рассказы	26
В. И. Чернышев. Стихи о деревенской жизни	42
II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА	
Т. М. Лестева. Четвертый Интернационал. Адвокатская контора	49
Н. И. Калягин. Сказки и истории. Коричневая и красный (сказка) Бедный художник	62 83
III. ЛИКИ, ЛИЦА, ЛИЧИНЫ (литературно-философская критика)	
Александр Медведев. Памятка русского офицера	89
Л. Л. Бубнова. Критик	97
В. И. Чернышев. Перечитывая прошлый номер журнала (Л. Л. Бубнова – «мужественно, толково и чувственно»)	102
В. А. Овсянников. Авангард	104
Два стихотворения Тютчева	106
Два стихотворения Фета	110
Г. Г. Муриков. Истоки большевизма (полемика с Н. Бердяевым)	114
Геополитика (о новой книге С. Багдасарова). Мишель Уэльбек	121
Юрий Баранов – человек эпохи	123
Игорь Елисеев (Исповедь современника)	125
Александр Потёмкин. Соло Моно (Гибридная война)	129
В. Пелевин. «Друг друга отражают зеркала»	133
Т. М. Лестева. Революция. Эмиграция. Ностальгия	137
Редактор. Не могу молчать!	152
IV. ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИЯ, ПОЭЗИЯ, ПРОЗА	
А. В. Осипов. Тетя Катя (рассказ)	163
Диффамация	176
Приложение: Френсис Бэкон и его время	196
V. ПУБЛИКАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ	
Р. В. Иванов-Разумник. Мистерия или «Буфф»? Новая культурная революция	199
VI. ИСТОРИЯ В ЗЕРКАЛЕ ПИСАТЕЛЬСКИХ СУДЕБ	
Г. Н. Ионин. В предчувствии грозных перемен (Пушкин в прозе)	231
В Октябрьские дни. Поэмы	238
VII. ЗА СТОЛОМ У РЕДАКТОРА (статьи, обзоры, переписка)	
Ю. А. Медведев. Воспоминания об Олеге Григорьеве	250
Анкета о Русской Революции	260
Отклики на Анкету	262
Ольга Мальцева. Стихи	268
В. И. Чернышев. Новые Записки Редактора	269

Истоки, итоги, надежды

(словно бы подводя черту... но нет, не последнюю...)

30 августа 2017, среда, 9-39. Замечательный человек Сергей Залыгин в незапамятные времена, когда я так же, как сегодня, стремился поучать читателей (с тех пор они поумнели и читать меня перестали) выразился как-то (в одобрение), что я разговариваю с читателями по-детски... возможно, это кажущееся ощущение, проистекает оно из того, что я смотрю на читателей как на детей – привычка школьного учителя или преподавателя младших курсов... но, возможно, я и сам отчасти ребенок – не слишком образован, наивен, доверчив, надеющ... да, все еще на что-то надеюсь.

Но говорить я буду о серьезных вещах.

Правда, в большинстве случаев и в серьезном разговоре достаточно арифметики, ее я помню, с нею и буду справляться. Если же будет нужда в высшей математике (которую я забыл, хотя и написал и напечатал толстенный учебник высшей математики для математиков и всех желающих), то иное попробую вспомнить, об ином справлюсь в справочнике или у знающих. Во всем остальном постараюсь обойтись немногим: *русским языком*, который мы отчасти знаем, отчасти чувствуем, несколькими *традиционными положениями*, впитанными всеми нами в семье и в истории (хотя бы в повседневной и близкой), *«Священным писанием»* (исторически переменчивым, то ветхозаветным, то евангельским, то марксистским, то фрейдистским, то либерально-буржуазным, но всегда ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ и обжалованию не подлежащим, вплоть до *Высшей меры*), русскими *поэтами и писателями*: Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Достоевским, Толстым и еще немногими..., *жизненным опытом*, собственной личностью (то есть всем тем, что в нее вродено и отчасти приобретено... врожденного, конечно, неизмеримо больше), узким кругом близких людей, отчасти и общественными веяниями... отовсюду: из газет, Интернета, с улицы и дорог, на которых я встречаюсь со множеством интересных (те только и останавливаются на мою поднятую руку... кстати, таких не более сотой доли от всех, так что я в своих воззрениях, писаниях, поучениях глубоко не народен, как и Пушкин... народ не останавливается подвезти проходимца или дать ему кружку воды или кусок хлеба, народу некогда, ему надо работать, выпивать и опохмеляться... правда, которые не пьют, не намного лучше... впрочем, и это все не до конца так, но потом...)

По ходу разговора я буду постоянно отвлекаться на объяснение некоторых истертых слов, иначе мы будем говорить на разных языках (как и до сих пор).

3 сентября. Личность. Одни из нас достойнее (иногда с "большой буквы"), образованнее, умнее, талантливее, другие из «малых сих», те скромнее, те с сомнением, те, как я, твердо знают, что по крайней мере умеют мыслить и понимать не только священные тексты, но даже авангардные стихи и математические теоремы, в то время как большинство народа ни стихов не

понимает, ни «социалистических таблиц логарифмов» по академику Глазенапу и знаменитому богослову Флоровскому, но при этом мы, несмотря на самомнение, не сомневаемся в том, что различия между людьми незначительны, и если уже к пяти годам (согласно Льву Толстому) ребенок усваивает 95 процентов всего объема знаний, которые он сможет приобрести в течение жизни, то есть вещь основной понятийный ряд, чувства и оттенки чувств, страх и боль, что хорошо и что плохо, способности любви и надежды, дружбы, ответственности, вкуса, различия красоты и безобразия... то, значит, принципиальной, сущностной разницы между нами нет. Да к тому же я был учителем и учил детей математике, и я не мог исходить из обижающей и их и меня аксиомы, что одни из них способны усвоить математические понятия, а другие не способны – нет, верил я, способны все (и мои ученики, а особенно ученицы, усваивали математику, и в школе и в институте, значительно лучше других). А как же Пушкинское понятие «черни»? А как же его совет «судить не свыше сапога»? Все просто – чернь – нравственная категория, как становятся тунеядцем, пьяницей, разбойником, шлюхой, диктатором, так переходят в чернь. Я родился в Сибири в крестьянской семье в деревушке на краю Ойкумены, большинство наших деревенских принадлежало к аристократии. Мы были народно-аристократичны. И вообще высокие понятия не бывают одномерны, как и личности, я верю, что Бог наделил всех нас талантами в равной мере, но почему-то мне постоянно напоминали (по крайней мере в начале жизни), что кому много дано, с того будет и много спрошено, и напоминали, что я отчасти избран, и я этому верил – но ведь когда я разговариваю с детьми, я совершенно искренне чувствую, что они таковы же как я, так же неизмеримо умны, одухотворены, талантливы, и только в пороке я их превосхожу: они еще чисты, меня жизнь в значительной степени испачкала и истерла (но все же, хотя я не ангел, но *ангелы меня любят!*)

Люди в течение жизни изменяют себе и миру, они подобны грампластинке, на которую не новые божественные звуки привносят жизнь, но стирает прежде записанное, вот почему они становятся **менее**: менее умны, менее образованы, менее талантливы, менее достойны...

Итак, человеческое общество многолико, оно состоит из **личностей**, сущностно и существенно подобных одному другому, несущих на себе *задатки божественного творения в равной мере*, но при этом еще и отпечаток происхождения и жизни (пола, сословия, среды, семьи, народа, воспитания, образования, жизненного опыта, судьбы, страданий, стремлений). Человек не исчерпывается личностным и индивидуальным, что хорошо и плохо одновременно, потому-то мы разделяемся, но не пропасть нас разделяет, и тюрьма мне это показала. Не для Толстого и Достоевского я пишу свои книги и не уверен, что они бы меня понимали лучше, чем мои часто случайные читатели и собеседники, те люди, попутчики и автоводители, которым я посвящу позже свои «Встречи на дорогах». Чтобы меня читать и понимать, не нужно особенного образования, достаточно мне доверять и уделить мне внимание, иногда терпение.

Народ. Что такое личность, я определять не стал, доверяя интуиции и здравому смыслу и жизненному опыту читателя. Если он ощущает себя личностью, то личность он увидит и поймет и в других. Если он бережет свою честь, стремится не уронить достоинства, не прозябать а подниматься по крайней мере в нравственном отношении и в глубине понимания жизни и окружающего мира, то тем более он увидит величие и достоинство тех, кто пользуется авторитетом не в силу общественного положения (власти или богатства), а в силу своего поведения и умений: выдающийся поэт, великий ученый, искусный столяр, печник, бортник, рукодельница, жена, подруга, целительница, учитель

С народом, однако, несколько сложнее. Народ тоже многолик и не исчерпывается ни происхождением, ни историей, его понятие тоже сложное, он является и множеством, собранием элементов, всех тех человеческих личностей, из которых он состоит, и он же сам историческая личность, имеющая происхождение, младенчество, юность и зрелость, духовные стремления и порочные иногда наклонности, волю к вождению и заботе и помощи и волю к подавлению. Если даже у книг есть своя судьба, по мнению древних, то и у народов. Но народ – это не сумма входящих в него единиц и не среднее арифметическое из них, достаточно не забывать, что у народа может быть в течение исторической жизни не один язык (как у евреев, цыган, русских, эллинов), не одна вера и церковь, не одно государство (вот ныне русские разделены на три ветви, разделены корейцы, недавно были разделены немцы) или ни одного (как у курдов), или они могут входить в состав нескольких государств, как недавно поляки. Входящие в состав народа элементы могут принадлежать к разным племенам (русские ученые, военные, зодчие, артисты и чиновники в девятнадцатом веке были и немцами, и французами, и евреями, и итальянцами, и армянами, и все они были не менее *русскими*, чем славяне), могут и растворяться в общенародной среде и представлять собой особицу (растворялись инородцы, поляки, малороссы, белорусы, немцы, автономно существовали евреи и цыгане)... Но главное состоит в том, что индивидуальная личность не является тождественной в культурном и психологическом отношении личности народной. Священник имел в себе больше поповского, чем русского, старообрядец представлял собой отдельный народный тип, выделившийся по вероисповеданию, марксист, большевик, чекист были скорее анти-русскими. Доминирующие, преобладающие черты народа (а тем более государства) никак подчас не характеризовали его единоплеменников и сограждан. Нельзя наделять никакого отдельного немца (кроме потомственных военных) тевтонским воинственным духом, всех русских наделять монархической волей и верноподданностью (как и всех христиан – волей к смерти и презрением к жизни, а евреев – стремлением к торговле). Но тем не менее, немцы объединились вокруг Гитлера в едином наступательном порыве завоевания России и славян (при этом в значительной степени перестав быть индивидуально немцами), а русские объединились вокруг большевиков в стремлении весь мир сделать коммунистическим (перестав при этом быть русскими и даже изменив свою национальность на советских.)

Вот так же материнство является самой характерной чертой женщины (независимо от ее национальной принадлежности), но какое материнство у монашек или у служительниц древнего культа (о чем пишет Розанов)?

И тем не менее, настаивая на необходимости не смешивать *национальное* в отдельной личности и народ как историческую личность с ее особенным характером, современный философ, писатель и патриот (*народник*) видит неопровержимо смысл своей индивидуальной жизни в том, чтобы жить в народе и для народа (как целостного бытия, состоящего из языка, культуры, традиций, духовных устремлений). *Оторванность от народа ощущается как ущербность*, и потому неотвратимо логика писательства и философствования, логика жизни и культурной деятельности в целом (хотя бы и крестьянской жизни и научной деятельности) приводит личность к осознанию, что основой мировоззрения должна быть сознательная принадлежность к народу, то есть **народничество** (или новый русский просвещенный национализм заботы о России как общего государства для всех народов единой общерусской или общероссийской судьбы). (Возражать против этого будут даже не те, кто НЕ любит Россию, а кто ее презирает, ею гнушается, мечтает *свалить* на Запад).

Своеобразной иллюстрацией сказанному будет текст, найденный мною среди бумаг, сваленных грудой у деревенской печки: я оттуда часто выживаю нечто особенное, иногда неплохие стихи... Не всегда понятно, кто это сочинял, ибо так как по долгу службы (я **редактор**) я погружен в интернете и выживаю оттуда многое, возможно, это не мое, но я в основном согласен с нижесказанным.

НОВАЯ СТАТЬЯ

Русь будет прирастать татарами, немцами, евреями. Русские не немцы, и поэтому не боятся утратить чистоту крови, нет полотенца, так и портянкой утремся.

Я лучше всех, потому что не затёсан под единообразие, ибо есть человек Копье (как Ленин, Навальный, Удальцов), есть человек Топор (Иван Грозный и Сталин – только головы рубили, Петр Первый – а этот, правда, и головы рубил и плотником работал), есть мать (это почти все русские крестьянки), а то Настасья Филипповна или Аполлинария Сулова (не поминайте мне про тех, что с панели, это щепки при затесании **типа**), есть ученый, писатель, монах, проповедник, раб божий, верноподданный, вечный труженик, лентяй... всех перечислять не буду... Итак, я единственный *всеобщ*, и хотя ничего не достиг, но никого не оскорбил и не угрбил.

Почему меня девушки любили? Потому что я их любил, но не завоевывал, я их любил больше для них, чем для себя.

На первом курсе, семнадцатилетний, влюбился в красавицу, сводящую с ума весь университет, Галю, двадцати лет, продавщицу книжного магазина. Да я для тебя, Васенька, уже старуха, смеется она. Так я и не пристаю, смиренно стою в сторонке, жду, когда позовешь, хотя ты для меня не стала бы старухой и через сто лет, как и Бавкида для Филемона. Хотя и понимаю, что я еще маленький, а тебе уже замуж пора (это было тогда, в доисторические времена,

тогда девушки еще выходили замуж во-время!) Как-то подхожу к ней, прости меня, нахала, говорю, я с ребятами поспорил на бутылку водки, что ты придешь ко мне в гости в общежитие, а тебе я торт купил (а чтобы с нею перемолвиться двумя словами, профессора и доценты в очереди в магазине друг за дружкой стояли). Ну так подожди еще полчаса и поедем, а пока почитай вон ту книжку, отвечает она, не смутившись.

Привлекательных девушек я зову *очаровашками*, они очаровывают своей красотой (как увлеченного человека очаровывает – одного собирательство: кореньев, книг, монет, картин... другого наука, третьего творчество, четвертого работа... и потому кем бы ни **быть**, это уже не быть христианином, ибо тем надо отряхнуть жизнь с башмаков своих как песок. Но хуже всего быть влюбленным, «любовь от волнения крови – это наихудшая мерзость», пишет блаженный Игнатий Брянчанинов. На втором курсе я влюбился еще в одну красотку, но она влюбилась в другого, я и говорю ей, что, мол, прости и прощай! Да нет, не уходи, как же мы без тебя? Он ведь такой *очаровашка*, что бросить его я не могу, но мы будем ходить вместе в мороженицу, ты будешь говорить, а мы будем тебя слушать (тогда еще девушки ходили не в кабак, а в мороженицу). Вот у нее я и заимствовал это слово "*очаровашка*"...

Я учился на матмехе и писал стихи. Но я не заострен ни на математику, ни на литературу, почему из меня ничего и не получилось. Но я еще не жалею. Я, как Диоген (на которого, кстати, внешне похож) *ищу человека* (в самом себе и в других), чтобы им *измерить мир*. Большинство уже заострены и не годятся быть мерою. Вот почему я и говорю, что *лучше всех* (в качестве меры). Времени, возможно, осталось мало, уже фитиль не раз подгорал, а мне приходится *отвлекаться*, то надо редактировать для издательства срочную книгу (оставив все свои), то уже полгода деревенский дом обшиваю, совсем прохудился, то склад помогал освободить, книги в утиль отвозил (многие из них я редактировал, и почти все значительны или интересны, например, жизнеописание Кутепова, знаменитого белого генерала... – но русский народ увлекся сериалами, уже и на очаровашек не смотрит. Даже не вспоминает, что «мир спасет красота», как смеялась Аглая, упрекая князя Мышкина в отступлении от Христа, и эти слова стали знаменитыми благодаря Владимиру Соловьеву, во многом, впрочем, антиподу Достоевского, например, в отношении к Пушкину)... Еще отвлекаюсь я и на бедных детей, привожу им разные вещи, одежду и обувь, игрушки и книги – все это дают мне мои друзья и подруги...

Времени мало, а я дурью маюсь, то свою душу спасаю, то тело. Хватит! Больше не буду фитиль подрезать, Начинаю писать заново, умные и привлекательные книги, Мне нужно еще хотя бы двадцать лет, буду писать лучше, кое кто и в народе начнет меня читать, хотя я и не стремлюсь к любви народа.

Кстати, а почему это я лучший, есть ли доказательства? Да. Володя А., будучи в подпитии, любил звонить по ночам знаменитым нашим писателям и сильно донимал их такими звонками, мешая спать. Позвонил он и мне, не знаменитому (и т.д) ... Вот он и решил, что я лучший...

7 сентября 17г. Философ и публицист обращают свои сочинения хотя разнообразным читателям, но острие их критики имеет в виду двух особенных: во-первых того, кого они *разоблачают*, с кем спорят; во-вторых, кого утверждают и превозносят – один его собеседник, другой оппонент. Авторы поучительных книг, например, учебников, обращаются к тем, кого учат и просвещают. Так же и авторы романов и стихов, исключая басни, обращаются ко всем, ни с кем не спорят и никаких читателей не превозносят, для них все читатели таковы, как публика в театре для актера.

Публицист – то же, что проповедник, идеальная модель публицистического сочинения – Новый Завет, хотя и написанный разными авторами. Сравнив публициста с проповедником, последнего я сравню с адвокатом, у которого два основных слушателя: прокурор (обвинитель), с которым адвокат спорит и которого он тщится опровергнуть, и судья, формально нейтральный, но которого можно склонить на сторону истины, как она представляется проповеднику и адвокату. У Иисуса Христа также было два адресата для его проповедей: Дьявол и его вольные или невольные сообщники (книжники, фарисеи, закоренелые грешники и слуги дьявола) и ученики, последователи, сочувствующие, слушающие, способные уверовать и за ним пойти, будущие христиане (в том числе кающиеся грешники).

И я обращаюсь также к двум собирательным личностям: одна личность, это не желающие слушать и рассуждать о других точках зрения, другая – исследователи и мыслители. Но ищет собеседника живой человек среди живых, однако не все мы живы. Есть равнодушные и спящие, к равнодушным я обращаюсь не буду. Есть истинные христиане, вроде апостола Павла, Кьеркегора, Константина Леонтьева, преподобного Игнатия, блаженных Августина и Иеронима ... Эти тоже словно бы уже умерли или готовятся к смерти или ее призывают, пафос их отношения к жизни выражен в призыве апостола Павла «жить аки умереть» или «аки спать во гробе»! Если они живы, то не так как мы, апостол говорит, «не я живу, а живет во мне Христос».

Но могу ли спорить с теми, кто жив лишь отчасти? Однако, хотя они требуют отряхнуть мир от обуви своей, и стать ко всем равнодушным, – но одновременно с этим воздвигают церковь, присоединяют к своим верным сообщникам и покровителям высшую земную власть, собирают сокровища на земле (вопреки завету Учителя), затевают войны, подчиняют своему влиянию население подвластных им государств, не сеют и не пашут, но жнут, призывают не жениться и не выходить замуж, то есть призывают со временем прекратить народ – но продолжают его вести к им одной ведомой цели – к воскресению, в котором не будет народов и жен и детей ... а что будет, они не знают....

Но все сие я сказал как предварение. Впервые в истории настала удивительная возможность Спора. Прежде сторонники господствующих взглядов оппонентов своих влекли на костер, виселицу или на Левашовскую пустошь или в подвалы ЧК. Мы же призываем: высказывайтесь, возражайте, станьте собеседниками, а не врагами, попробуйте хотя бы не полюбить оппонентов, но претерпеть! Вот для чего затеян наш журнал с топором: не головы рубить, **это не лобное место, а единственное в мире пространство свободы!**

7 октября, четверг, 12-12. Нет, я неверно выразился, это не в пространстве только место, но в истории единственное время.

Ибо история человечества вся, от Навуходоносора до Ленина, от первых шаманов еще диких племен, египетских жрецов и бога Ра до Христа-Спасителя и цитатника Мао, до Достоевского, прячущегося за чужие легенды, до Бердяева, прячущего свои рассуждения о свободе за косноязычие (или он и воистину в свободе ничего не понимал, и прав был Ленин, ненавидевший свободу, ссылая его на пароходе на Запад, ибо пусть этот философ сбивает с толку западных либералов, а не наших пламенных поборников диктатуры!)

Истина и Свобода – вот Сцилла и Харибда, мимо которых не может проплыть даже хитроумный Улисс.

Но так как история идей не отрывна от истории моей жизни, то начну с начала.

Итак, во-первых, я пришел к выводу, что я на самом деле не человек, а цветок, и не только потому, что вода и солнечный свет меня питают и взращивают, но и потому, что шмели и пчелы меня облепляют, мои лепестки и листья, и опыляют, особенно этим занимались школа и университет, учителя и учительницы половину уроков мне посвящали, да еще давали пространные списки книг классиков (другие в них и не заглядывали, а я их читал). А чтобы я лучше запоминал уроки жизни, меня иногда прорабатывали и исключали из школы, выставляли на общешкольную линейку на вселенский позор, вот, говорили, растет новый Брут и Навуходоносор, отступник Юлиан и отщепенец Катилина, и душа моя сжималась в маковое зерно. Я страдал тогда больше, чем под ножом хирурга, больше, чем на тюремных нарах, даже больше, чем от слов моей ласточки, что моя любовь ей отныне отвратительна и ненавистна.

Так я рос и опылялся, и культивировал (сеял и поливал) следующие идеи: *сострадание, заботу, справедливость, истину и свободу.*

Во-первых, Маркс меня удивил и потряс, отрицая свободу, приравняв ее к отрицанию: "*свобода – это необходимость*", сказал он (ну а о том, что она не простая необходимость, а еще и **осознанная**, слышать мне было еще отвратительней, каждый палач и экзекутор добивается того, чтобы наказуемый *осознал* необходимость своего наказания и даже по возможности сам затянул на теле и душе узлы смирительной рубашки. Я бывало держался долго, потом сквозь рыдания говорил: о-сознаю-ю-ю!!! – и все были счастливы и миротворены).

После Маркса потряс меня Спаситель. Сначала он сказал: «Азь емь истина!», затем «Познайте истину, и истина сделает вас свободными!» (нацисты украли великий афоризм, и начертали на стенах Бухенвальда «Труд делает вас свободными!»)

Я, правда, думал, что даже у прямой линии возможны два направления, вперед и назад, и это хоть в некоторой степени дополняет ее прямоту, но оказалось, что надо не только идти вместе с *ним*, но даже не идущие с ним немедленно становились преступниками, ибо он добавил о таковых: «Но кто не со мной, тот ПРОТИВ меня!» (а это украли у него большевики-ленинцы).

Было очевидно, что жаждать истину хорошо, но те, кому она бывала дана,

автоматически становились ее заложниками: отказываясь ее хоть на минуту нести (а непрерывная необходимость всякого дела немедленно превращает его в наш Крест), мы становимся ее врагами, так и большевики свели свою юриспруденцию к простому «кто не с нами, тот против нас», а потому на переучку или переплавку, под лай собак и пулеметные трели.

Но вне философии все наши коллизии в эпоху коммунистической диктатуры укладывались в более простую и более понятную схему: Погода, евреи, вера ... в самое светлое будущее (о нем же самое верное учение) и любовь к *социалистическому* отечеству.

Сорок семь лет назад я написал статью «Русь и духовное освобождение», в которой осмелился сказать, что при диктатуре одной партии и одного класса не бывает свободы и необходимость слепо и безоговорочно верить тому, что один человек воплощает в себе (являясь, несомненно божеством) и истину и свободу – тоже делает нас рабами (правда, христиане и не отрицают, что они рабы, так и говорят о себе «Раб божий Ивашка» или «рабыня Наташка» и страшно бывают счастливы, что рабы.)

В это же время разразилась борьба с врагами в Китае, но поскольку враги там были высокопоставленными, применялись эвфемизмы, тех выводили на помост с веревкой на шею а на спине писали «*самый главный в партии, идущий по капиталистическому пути*». Меня же, утверждавшего, что в СССР нет свободы, обвинили в клевете, и сначала я просидел полгода в тюрьме Большого дома, затем два с половиной года в тюремной так называемой «спецбольнице», стены которой были еще толще.

Так, скороговоркой, добавлялось, что я *националист* и *антисемит*. Первое я принимаю с поправкой, взгляды свои на народ как на источник истории и культуры и осмысленной жизни личности я называю *народничеством* (так что я народник), или «просвещенным национализмом», в котором гораздо больше критики и осуждения именно русских, нежели инородцев. Я русский, потому мои проповеди и осуждения относятся к русским. Так, будучи учителем, ругал я учеников своих классов, и им же ставил двойки, а не тем, у которых были другие наставники. Не призывал, естественно, и к ненависти к другим народам и племенам. НО... советская власть была антирусской (неважно, русское было правительство или эскимосское), Россия была и остается до сих пор объектом явной или скрытой ненависти, почти всякий, родившийся в нашей стране, знает, что она и тюрьма народов, и самая отсталая в мире (и только большевики, Ленин и Сталин научили ее пахать и сеять, читать и писать), И только в этой стране слова «Я русский!» автоматически объяснялись как призыв к ненависти к другим народам (А вспомните, сколько клеветы излито было на Шафаревича за то, что он написал о ненависти к русским!). У меня же было не только одноименное сочинение, но даже издательство называлось «Глаголь» (с твердым знаком на конце слова) и журнал, который я издавал, писался через букву «ять» – *Мѣра*. Чтобы с антисемитизмом не морочить вам голову, скажу так: я ненавижу теперешнюю проповедь «толерантности» (как и проповедь однополой любви), и не сюсюкал ни перед каким народом и не проповедовал так называемую «дружбу народов», а чтобы не сожгли меня за критику

христианства, я иногда говорю, что по религиозным воззрениям я более иудей, чем буддист или мусульманин, и даже если меня посадят (а это неотвратимо), буду проситься в одну камеру с иудеями (кстати, хотя они не ангелы, но они меня любят, иногда даже читают мои сочинения, в отличие от русских, и им даже неважно, антисемит я или нет. Недавно на задворках метро «Академическая» я с одним выпивал, два еврея, один *еврей из евреев* – впрочем, так называл себя идеолог безнациональности апостол Павел, другой *русский из русских* – это я, и так нам стало вдруг хорошо, что мы уже и не могли разобраться, кто из нас еврей и кто русский). Но, однако, это не значит, что я теперь проповедую ненависть к русским, нет, это удел христиан, в частности, славянофилов, вот один из них, выдающийся публицист, славянофил *Александр Иванович Кошелев*, писал в письме Ивану Сергеевичу Аксакову *«Без православия наша народность – дрянь»*, в справедливости его слов мы можем убедиться» – добавляет сегодня другой видный публицист и православный.

Итак, я не русофоб и не антисемит, среди русских и среди евреев (как и среди немцев и среди поляков) одних я люблю, других нет. Множество романов, литературных школ и направлений, драм и симфоний не уничтожают литературу, представляющую не только отношения людей, но и отношения сословий, отношения человека и государства, отношения человека и Бога – но Бог ли является причиной, по которой власть в государстве обожествляется, и с молоком матери русского приучают верить, что вся власть от Бога, и если царь деспот, как Иван Грозный или Сталин, то сие надо с покорностью претерпевать, ибо дается нам в наказание, по грехам нашим. Монополизируя Истину, религиозная доктрина становится врагом свободы. Петр Великий учредил в России Академию Наук, ослабил власть Церкви. Ученый и Священник претендовали на учительство, но три последних столетия отдавали преимущество науке – сегодня, впервые после Средневековья, сложилась парадоксальная ситуация, когда вновь возрастает вера и падает образование, когда снова восторжествовала Церковь и сходит с исторической сцены Академия наук – возможно, вместе с русским народом и Россией.

17 октября, четверг, 12-12. Упомянутый мной Жириновский о своем происхождении сказал, что мать его русская, а отец юрист, и мне захотелось заимствовать его удивительную идею. Мать моя русская крестьянка, а отец командир взвода, представленный посмертно к ордену Отечественной войны Первой степени (орден, надо сказать, даже более редкий, чем Звезда героя). Я разыскал в Военном Архиве и представление, и нашел могилу отца на Безымянной высоте – а чем же гордятся христиане? «Предоставьте мертвым хоронить своих мертвецов!» – можно ли построить Культуру, Общество, Государство, Семью, Народ на таком основании?

Но Церковь или Народ, что чему предшествует? Вот что говорят богословы: «Непростительная хула на Христа – делать из церкви национальный институт... На своем историческом пути многие Поместные церкви склонились под ярмо национализма... Но не бывает подлинного патриотизма без жизни во Христе...» А возможен ли хоть какой-либо патриотизм, если «нести ни

еллина ни иудея»? Все сегодня почти помешались на святоотеческом предании, на христианском подвиге, на жизни в церкви – но не призыв ли это построить новую жизнь и новый народ на **«непорочном зачатии»**? Или мы принимаем науку, промышленность, литературу, театр, библиотеку и музей, земную жизнь, **зачатие и рождение** и этот мир – и из него не уходим – и тогда мы не пошли за Христом из нашего мира (где дьявол князь мира сего) в тот (посмертный) – или мы пошли за Христом, а тогда выбросили на помойку книги Пушкина, отвергли науку, принадлежность к семье, к народу, к культуре, к языку, отвергли нашу земную любовь, которою пронизана вся человеческая культура (хотя любовь от движения крови – мерзость, пишут преподобный Игнатий Брянчанинов и Блаженный Августин).

Уже на первом курсе университета я создал нелегальный марксистский кружок – именно поиски свободы двигали мною, ибо органически, самую плотью своей я чувствовал ложь и мертвечину казарменно-схоластической жизни строителей коммунизма. В поисках свободы мы должны были спрятаться от действительного мира, уйти в катакомбы, как верующие русской катакомбной церкви, подлинно отстаивающие тогда свою тождественность в отличие от соглашательской сергианской церкви (потомками которой и являются многие сегодняшние христианские проповедники, вместе с славословиями христианству испытывающие острую ностальгию по советскому времени). Формально мы создали фото-кружок и нам выделили комнатенку в шесть квадратных метров, она и стала Катакомбой для нас, нелегальных марксистов, там мы собирались глубокой ночью и читали Капитал Маркса. Закономерно, что через 10 лет меня посадили.

Оглядываясь на прошлое, я вдруг подумал, не является ли Новый Русский журнал той комнатой в общезнании в шесть квадратных метров, куда я зову своих друзей в поисках духовной свободы? Хотя нужна ли свобода народу?

В девяностые годы я издал величайший памятник русской литературы, Радзивилловский список русской летописи с 612 акварелями – но нужна ли история народу? И потому мы снова ищем **истину и свободу**, спрятавшись от мира в страницы журнала – но сможем ли мы остаться свободными? .

27 октября, четверг, 12-12. То, что я написал о литературе – не совсем книга, не исследование, не исторический или научный труд. Я – учитель. Мне хочется приохотить своих учеников к чтению, увлечь сиянием здешнего мира, отвратить от проповеди смерти – вот почему я разговариваю с ними о литературе и музыке. Не то чтобы я пытаюсь объяснить им идеи Киреевского и Аполлона Григорьева, Толстого и Достоевского, Данилевского и Павла Флоренского – нет, я только пытаюсь ввести литературу в нашу повседневную жизнь, сделать ее близкой, узнаваемой, теплой как деревенская печь, растворить своих учеников вместе со мною в русской классике, а русскими гениями населить пространство нашей жизни. Познакомьтесь с ними, говорю я читателям, поговорите, вы убедитесь, как они интересны, как без них тускла жизнь! А несколько имен поминаю особенно часто: Пушкин, Лермонтов, протопоп Авакум, Марина Цветаева, Толстой, Розанов, Иванов-Разумник, этот несносный Достоевский... на русском цветнике этих прекрасных садов,

лугов, оазисов нескончаемо, но и прекрасно, не обязательно всех помнить и знать, но мощь, ярость, страсть человеческой жизни, ее ума и чувств, заблуждений, аромат цветов и женщин необходимо впитывать как цветы впитывают свет и воду!

Religio значит **соединение**, подразумевается соединение человека с тем, что выше и тоньше повседневного (хотя разве не в повседневном мы сталкиваемся и с жертвой, и с любовью, и с состраданием, и с трудом, и с творчеством, и с заботой?), глубже телесных потребностей (без которых, впрочем, никакие духовные потребности не существуют). То, о чем я говорю, можно называть по-разному: Бог, Небо, высшие силы, Дух святой, мировой дух и разум, содержащиеся в бытии как душа содержится в человеке, или иначе, **душа мира**.

Христианство начинает с суда, оно осуждает человека как падшее существо, достойное только «юдоли слез и печали» и вечных адских мук. Однако, нам обещано воскресение. Но, увы, только ничтожная часть живущих (или даже умерших) воскреснет, по 12 тысяч из каждого из двенадцати праведных колен Израиля. И будут воскресшие листьями на древе Господнем, ибо **там** ни женятся ни выходят замуж, не имеют даже плоти, а потому там не имеют не только жен, но и детей, ни литературы, ни родных и друзей, ни красоты, ни познания добра и зла, ни собственных народов и не только христианского патриотизма, но и никакого... (утешают меня слова Сергея Есенина: «не надо рая! Дайте родину мою!») Но там, следовательно, нет ни культуры ни истории, не только войн, но и стихов. Но там нет и жизни?! Хотя, возможно, там есть жизнь в аду – однако АД – совместимо ли его существование с любовью к человеку? совместимо ли его существование хотя бы с тем, чтобы с теми, которые смиряются с самим символическим или реальным образом ада, возможно было бы хотя бы даже разговаривать? И хотя богословие не смущается тем, что отвергает какую бы то ни было близость христианства и гуманизма, христианства и человеческой морали (ибо христианский Бог стоит над моралью и христианское учение выше и вне морали и его сущность НЕ в том, чтобы призвать человека стать лучше, но в том, чтобы призвать человека возненавидеть мир и отряхнуть его от обуви своей и если и *жить* то лишь *аки умереть*) – но ад!? Допустить вар и смолу и вечные муки – нет, это не совместимо с природой человека, но только с природой бога, а потому я избираю человека милосердного вместо бога немилосердного.

Религию мне заменяет философия, и я нахожу спасение и воскресение в **энтелехии** (от греч. *entelecheia* – завершение, осуществленность). Энтелехия – это душа мира. Она не сводится к акту познания и не тождественна воле, отделенной от мира, она есть сердце мира, то, что делает его живым, его жизненная сила, или – его *сила произрастания*.

Присутствие энтелехии и делает мир и природу живыми (как и душа в человеке). Важно понимать, что это не нечто статичное в мире, вроде сырости, но ВОЛЯ мира, замысел о нем, предвидение и направление

Душа целого мира человеком переживается так же, как и все частности природы, и не требует вымученной, тем более слепой веры. Ребенок,

например, не может быть религиозным в христианском смысле слова, составить уже на заре жизни представление о божестве, грехопадении, искуплении и прочих мудреных вещах – но то, что мир живой и дышит теплом, красотой и милосердием, он непосредственно ощущает. Все нелепости Толстого о том, что «красота – это кому что нравится, и так же и добро каждый называет по произволу» отпадают при органическом ощущении мира и органическом воззрении на него.

Как последний вывод своей трудной, страстной, полной заблуждений и порывов, взлетов и падений, несчастной и прекрасной жизни я заявляю: христианство с его учением об изначальной порочности человека, о его греховности, о первородном грехе – безусловное зло.

Разве вам не очевидно, что только еще придя в этот мир, мы узнаем, что уже совершили преступление и уже осуждены? Не было состязания обвинителя и защитника (или нашим защитником является дьявол?), приговор вынесен и обжалованию не подлежит, мы изгнаны из «родительского дома и сада» – да родительский ли это дом, а не дом злой мачехи, изгоняющей Золушку в темный и холодный зимний лес?

Обвинительное отношение к человеку пронизывает все века христианской истории, в особенности обвинительное отношение к евреям как богоотступникам, хотя Христос (Спаситель) говорит в начале своего проповеднического пути о том, что он «*пришел спасти **своей** народ*», (но не человечество), и признается таким образом в любви к нему.

Бог – это любовь – общее место христианского богопонимания и учения о божестве. Основано это на ветхозаветном требовании к человеку *возлюбить Бога всем сердцем и всем помышлением прежде, чем возлюбить человека и мир*, и требование любви к Богу есть первая и основная заповедь, а требование возлюбить ближнего высказывается во-вторых, как бы в следствии, что подтверждает и Христос..

Однако в Новом Завете говорится: «В том любовь, что *не мы возлюбили Бога*, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилоствление за грехи наши», и «...так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную», а затем что «*не мы возлюбили Бога*, но Он возлюбил нас», во-первых, и «не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» во-вторых. Так что же из чего проистекает? Не очевидно ли, что (казалось бы) любовь Бога к человеку изначальна и не мотивирована и лежит в основе всего иудео-христианского мировоззрения (хотя, впрочем, Бог заключил свой Завет только с народом Израиля и только этот народ является богоизбранным)?!

Человеческая геометрия исходит из двух противоположных постулатов, в одной из них (привычной нам Евклидовой) во всякой точке параллельная прямая одна, в другой (неЕвклидовой) их тьма. Соединив две геометрии в одну, мы получим неразрешимое противоречие, которое погубит и геометрию и математику в целом.

И, возможно, поэтому в христианском учении говорится: «не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много

лжепророков появилось в мире». Однако, как же «испытывать духов»? Казалось бы, просто: «будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога».

Это все, заключенное в кавычки, я выписал из евангелия, и ничего не возражаю сему, только, как говорил Иван Карамазов, не хотелось бы естественную и свободную потребность в **милосердии и заботе**, присущие народам (матери, отцу, сыну, сестре и брату, другу и прохожему, естественное чувство **долга** по отношению к слабым и страдающим – ибо как же иначе выживают народы, в том числе и язычники, и древние еллины, и славяне, и персы и мы сами, недавно еще строившие коммунизм – заменить на вымученную обязанность любить и надыхивать тепло в чьи-то страшные уста (в романе сказано даже хуже) вместо того, чтобы разжечь хотя бы костер и преломить последний кусок хлеба, а то уж в крайности хотя бы обнять замерзающего – как я тащил однажды (не однажды!) пьяного от котлована зимой, а он все норовил меня ударить, и я прижимал его к себе крепко (обнимал!), и так дотащил, проклиная, до его дома, и даже пальто на мне промокло, не надо было надыхивать тепло ни в него ни в себя!

Впрочем, в действительности христианство требует от человека этот мир ненавидеть и отряхнуть от себя, и его природу, его народы, и даже его видимое небо – как же совместить ненависть к миру с навязываемой любовью к ближним? Если только не приравнивая мир к тюрьме или аду? И потому я и говорю, что даже на вынесение Обвинительного приговора нас не пустили, не было дано Последнего слова ни Адаму ни Еве, закрытая «тройка» на своем заседании осудила, изгнала, обещают потом праведных из нас поселить в Раю – ну а мы? И уж если я грешник, то мой отец? Моя мать? А как же мои (наши) учителя, наши ученые, поэты, полководцы, землепроходцы?

Небесный синклит противопоставлен всей нашей жизни и нашей культуре, проповедь веры заменила собою познание и праведную даже жизнь (ибо и спасаются только верой, но не делами, перечитайте апостола Павла!), что культура и наши великие ученые и поэты хоть что-то значат в сравнении с писаниями Иоанна-Лествичника или Игнатия Брянчанинова или Блаженного Августина и их можно хотя бы не всегда выкидывать на помойку, а можно хоть грудой сложить около шкафа, если уж надо из шкафа выкинуть, как говорила темная крестьянка (добрая, впрочем, и святая даже женщина, мать Саши М.), чтобы они шкаф не поганили – допускает ли это христианское вероучение, христианское богословие, Игнатий Лойола, Римские папы, Торквемада и судьи, осуждавшие на костер великих писателей и ученых, а Гипатию отдавших на растерзание фанатичной толпе во главе с епископом; допускают ли христиане, что не надо было сжигать Александрийскую библиотеку и разрушать одно из чудес света, «Южную» Пальмиру? (недавно, на наших глазах). Или это не мы? Но не язычники? Нет, правоверные, то есть одни из той части человечества, которая почему-то возомнила, что Бог с ними но НЕ с Культурой, что Бог с «нищими духом, ибо они блаженны», но не с книжниками (а даже хоть с фарисеями, к каковым относился изначально и апостол Павел, предавший веру отцов)? [Не забывайте, что на время я

отношусь к евреям (и я искренне и серьезно, несмотря на частую мою иронию – к ней я прибегаю и в отношении к женщинам, которых люблю даже больше, чем мой собственный русский народ, который я также хотел бы спасти – говорю все сие, ибо к евреям я отношусь лучше, чем к русским. Но русских я мученически люблю – ненавижу! Так ведь и Рогожин любил свою Настасью Филипповну! Что тут поделаешь? Такова любовь... Она еще и не такова...)] С евреями меня связывает симпатия – несмотря на любовь к Шафаревичу, ненависть к Троцкому, сомнения, охлаждения, подозрения, вражду... А к немцам? Что, так ли я их люблю? Покрывших Европу концлагерями? Но Фихте, Кант, Вагнер, Гофман? Читайте меня без предубеждения, я не отождествляю Народ и Личность человека, человек никогда не является частью народа в таком смысле, как в пригоршне из ручья та же вода что в ручье, на русских и я не похож, и Пушкин – который должен был походить на русских только через 200 лет, по мнению Гоголя, не похожи на тех евреев, которые мне симпатичны, ни мировое правительство, ни финансисты, ни внуки перекрещенцев, как русский народ, идущий как стадо в слепом порыве за самозванными вождями, не похож на меня...

С чем у нас спор? Современная городская полуинтеллигенция объявила себя православной. И очаровательная и милая Анна православная тоже. И дядя мой во время войны вступил в большевики. А я спорю с Марксом и Лениным, с апостолом Павлом и преподобным Игнатием, которых ни дядя мой ни милая Анна никогда не читали. Они даже не знают, за что сожгли Жанну д'Арк. Просто бывает иногда так, что одно и то же слово случайно обозначает два разных понятия, например МИР означает отсутствие войны, и Христос принес в наш **мир** не МИР но меч, а мир означает все то, что нас окружает и где мы живем и чем владеет князь мира сего, почему этот мир надо отряхнуть, как сказал Христос, от обуви своей. Но крест Христов несут безумные «блаженные», Аввакум, Кьеркегор, и даже тот Инквизитор, о котором рассказал нам Ф.М. – их вера и вера Анны не имеют ничего общего, но Анна поверила батюшке и не поверила мне, а батюшка ей запретил со мной разговаривать...

О многом еще надо сказать, но позже...

I. ПОЭЗИЯ И ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Маргарита Токажевская

СТИХИ ХОЛОДНОГО ХМУРОГО ЛЕТА



Редакторы-учредители журнала
Маргарита Токажевская и Мария Амфилохиева

Устройство жизни – неустройство,
Привычка к непривычным темам,
К опасным будничным геройствам,
И, кажется, диктует демон
Разгулы скоростей жестоких...
Заплачу вдруг совсем по-детски...
Кто был уверен – я из стойких –
Опустят веки-занавески,
Смутятся... Всколыхнётся воздух,
И ангел прошепнёт на ушко:
Давай поговорим о звёздах,
Усталая моя подружка...

Копировальный слог иных программ –
(Мы заявляем, нам не безразлично) –
Подобен простудившимся хорам...
Всё, что первично – просто, гармонично,
Без объявлений, скучности, пустот,
Которые ничем не заполнимы...
Пусть возразит мне переписчик тот,
Нанёсший выразительные гримы
На тексты кредо, опусы идей...
Я замечаю пудру и помаду
И вечное присутствие людей,
Подобных неживому автомату.
Но требование публики – закон,
И пишется сквозь матовую кальку:
Иду на узаконенный обгон,
Свежи чернила, ну, подайте тальку.

Человеческий мир – от ребёнка до малой старушки,
От смешного актёра, который совсем не смешон,
Мне навек полюбились твои муравьи и лягушки,
С чудесами фургон, пусть он где-то в пути разгружен.

Заседанья на кухне и слёзы от непониманья,
Всё равно, кто не понял – ты сам или кто-то другой,
Весь непонятый мир, я твои вспоминаю названья,
Имена пассажиров в пристанище «общий вагон».

И так хочется встать на колени пред каждой травинкой,
Даже если виновен случайно прошедший по ней,
Человеческий мир, ощущаю себя половинкой
Каждой малой слезинки, живу, растворённая в ней.

Спешит поверхностный анализ:
Тот был не прав, а этот глуп, –
Так государства обвинялись,
И точность современных луп
Едва ль изменит показатель
Невинно осуждённых лиц.
Замри, усердный полоскатель
Судьбой исписанных страниц.

Мне жаль иных противоречий,
Исчезнувших наверняка,
Под шепоток, как будто легче
Без памяти и сквозняка,
Под нескончаемую пустошь,
Когда четыре стороны
В бездомное сознание впустишь...
Как тени по утрам длинны
Предметов, заполнявших полночь
Своей бездушной новизной!..
Мне страшно, но позвать на помощь –
Больнее, чем совсем одной...
Спокойствие, как волк в загоне,
Клыками прогрызает дверь
В иные быстротечья. Нежить
Впадает в коматозный сон,
А мне росточек веры нежить,
Чтоб не покинул вечность он...

Зачем так смотришь одиноко
Перед собой, не видя свет?
Да, несчастливый был денёк, но
Белеет самолётный след
В окне ведущего вагона.
Гони лошадок, машинист!
Влюблённый или не влюблённый –
Любовью наполняешь лист.
Пуškai черно в моём плацкартном,
В купе того, кто спит давно, –
И в темноте цветут на скатах
Ромашки радости дневной...

Жестокий мегаполисный закон –
Наказывать открытость и закрытость,
Плывать словами Ангелам вдогон
И вовсе ненавидеть маргаритость,
Вышвыривая песни Маргарит
В тугой эфир далёких измерений,
Где Мастер ничего не говорит
И ничего не спрашивает Гений...

О том ли, что больно, молчу,
О том ли, что вряд ли забуду,
Как ветер, задувший свечу,
Тепло перечислил в остуду...
Молчу... На карнизе сидит
Нахохленный питерский голубь, –
Как будто за мною следит
Пронизанный птицами город...

Уже боюсь ввязаться в драку,
Ударить в морду, плонуть в рожу,
Не поднимаю бедолагу,
Но я лежачего не брошу.
Организирую офицеров,
Спортсменов и других мужчин,
Не должен на холодном сером
Лежать лежачий... Нет причин
И оправданий для идущих,
Чтоб обойти его тепло...
Иначе свет померкнет в душах
И станет в космосе темно...

Часы и зеркало, и кто-то
На пожелтелом старом фото.
Он смотрит на меня оттуда,
Из зеркала – его простуда
Вот-вот и охладит меня,
Он поднял воротник, огня
Сейчас попросит, папиросу
Зажжёт. Благодаря морозу
Зеркальному, сверкая льдисто,
Слова, сплетённые в монисто
Стихотворения впотьмах,
Приманят бессловесный страх,
Разговорят его, растравят,
Наедине со мной оставят...
И будем мы вдвоём глядеться
Я – в тень от страха, он – мне в сердце...

Преломлённая истина бродит по свету с горбом,
Ни могила её не исправит, ни сплетни, ни бредни,
Ни дождливая осень, с питомцами разных Сорбонн,
Выводящая правило грусти посредственно-средней...

Сквозняки про запас, проза правды с поэзией лжи,
Животворная гордость – хочу, чтобы это продлилось –
Догорающий свет, собирающий все миражи,
То ли милость ушедшая, то ли грядущая милость...

Эти слитки предметов – то книга, то древний кирпич,
То фигура на фоне – невидимым идолом мрака, –
Только скрипни пространство, – пошлышится времени клич,
И напишутся правила истины и постоянства.

Металл одинокого дня.
Все на работе, даже дети,
Не видно даже меня
На белом, неэлектрическом свете.
Ветер, как старый бож
Свернулся под новой скамейкой.
Домофонная эра, и он не вхож,
И бож в отопительный рай... С корейкой
Глазунья шипит, длинноногий студент
Сегодня гриппует, ему не до лекций...
Рыжая лошадь как монумент.
Мужчина из мерседеса – типичный дворецкий
В какой-то из прошлых жизненных драм, –
Комедии теперь не в моде
У таких как я чувствительных дам,
Не мечтающих о свободе –
Она – приложение, непременно
Её обычай – ни во что не вникая,
Течь по рекам нервов и вен,
Иногда по имени оклика
Континент, окружённый океаном пустот.
Что ты, что Вы, какая обида?
И бож отогрелся, и ветер не тот,
Притворяется спящим для вида.

НЕПАРАДНОЕ

Твой слуга, и, по счастью, слуга непокорный,
По коням не узнаю тебя и «по коням»
Не приму за приказ господина взлететь
На коней, над которыми – снам золотеть
Неумытых детей из хрущёвских трущоб,
Твой слуга... Мне с тобой повидаться ещё б
Не на строгом плацу, где и кони, и люд –
Упразднённый давно навсегда абсолют...

Мне б с тобою столкнуться на улице грёз,
Где чухонка доила коров или коз,
Где водитель трамвая рассказывал о
Том, что с детства его в небеса позвало,
Но по зрению он не прошёл в небеса,
И с тех пор он глядится, глядится в глаза
Городской детворы – там небесный восторг,
Там источник его ненаписанных строк...
Мне б с тобою, мой город и мой господин,
Хоть бы день не остаться один на один,
И тогда б я узнала, кто ты и когда
Нас с тобой разлучит ледяная вода.

Поговорить по душам иногда не мешает...
Можно и коротко... Только вот тема большая.
Жаль, что молчишь, призывать к откровениям не стану,
Но отменить не сумею привычку к вразданию
В строчки твои, в недомолвки твои и подсказки...
Можно и коротко... Буду размешивать краски,
И оживёт разговор, не затеянный нами
Ночью осенней и летними светлыми днями...
Поговорить по душам... Может, это удастся
Где-нибудь там, в окончаньи земного абзаца.

Мария Амфилохиева

СТРАННЫЕ РАССКАЗЫ
(ДЛЯ "ТОПОРА")



РОЛЬ

Яркая вспышка сознания – как будто в тёмном зале вдруг включили свет. А может, так оно и есть на самом деле?

Странное выражение «на самом деле» – как будто что-то к делу относится, а что-то нет. И что значит «на сАмом деле»? А «на самОм»? То есть имеется дело, но есть ещё и не-дело (или дело, но не самО, не сАмое?) Почему в этот раз даже язык отказывается расшифровать ситуацию? Ладненько, будем разбираться сами – не умом и знаниями, а пятью первичными чувствами... Хотя, что первично? Оп... Такой подход заведёт далеко. Долой умствования!

Итак, что мы имеем в виду? Перед глазами – ярко освещённое пространство. Довольно странное. Под открытым небом. Солнце слепит, лучше не смотреть в его сторону, но греет очень умеренно. Температура комфортная – не жарко, но и не холодно. Так, что-то связывает движения, раздражает кожу... На мне тёмный бесформенный балахон из грубой ткани. Что-то фольклорно-кустарное, землистого цвета. Я стою на каком-то возвышении, это дощатый некрашенный помост, сколоченный грубо, наспех, но крепко и устойчиво. Я здесь не одна. В некотором отдалении, в пределах того же дощатого мирка, группа моих товарищей-артистов.

Так... Уже кое-что прорисовывается. Это уже не зрительно-осозательные ряды восприятия, а логическое умозаключение. Прекрасно, начинаем самоопределяться.

Некоторая странность: помост наш посреди поля: зелёная трава, непрямая, довольно сочная, кое-где ромашки проблескивают. Но если мы – на сцене, то должны быть и зрители. А вот и они. Прямо на траве стоят ряды деревянных кресел с откидными сидениями. Такими бывали оснащены старые кинотеатры. Здесь кресла не выстраиваются строгими рядами, а расставлены хаотично, будто желающие увидеть представление притащили их откуда-то сами и расставили, не заботясь об удобствах других людей.

– Нет, Маргарет, нет!

Кстати, народа немало. Стоило только взглядеться – и я уже различаю странные костюмы – явный дух средневековья...

Стоп! Всё-таки где я? Если на сцене, то к чему этот маскарад в зрительном зале? Вот так, уже лучше. Одежда меняется на глазах. Пожалуй, некоторая экстравагантность стиля остаётся, но общий вид вполне современный.

– Мы не можем этого допустить!

– И не имеем права!

Не удивляйтесь: я подаю реплику нашей прима. Это хрупкая бесцветная блондиночка, ни по внешнему виду, ни по темпераменту вовсе не тянущая на героиню. Вообще труппа наша безнадежно бездарна. Все цепляются за составленный заранее текст, который, тем не менее, никто не помнит в точности, и в этих потугах непременно вспомнить и соответствовать написанному теряется всё: и естественность исполнения, и общий смысл драмы.

Сколько раз я говорил, что нельзя бояться импровизации! С тех пор, как исчез режиссёр... (Куда же он мог исчезнуть? Бросил нас? Нет, он не мог... Почему не мог? Ладно, неважно – в деньгах дело, в дружбе, в чувстве долга... Не мог – и всё!)

– Как вы не понимаете, Маргарет, всё сейчас зависит от вашего решения. Решайтесь же наконец!

Так звучит моя реплика. Собственно, я её и произношу. Это сбивает с толка, но я должен...

Интересно, судя по этому внутреннему монологу, я – мужчина. Так, хорошо, А возраст? Немолод. Лет сорок, может, даже пятьдесят, но физически крепок ещё и... не чужд ничему человеческому... Но балахон? Ряса? Монах? Вот ещё не хватало! Впрочем, это только роль. Я актёр в бездарной бродячей труппе, недавно утратившей режиссёра. Вспомнил! Мы похоронили его две недели назад, а теперь не знаем, что ставить и как играть... Мы привыкли слушаться его советов.

Луиза бросается в мои объятия. Боже, какая неестественная игра! Но, похоже, слёзы настоящие. От бессилья, от усталости, от страха. Сколько будет ещё тянуться эта сцена?

– Мужайтесь, Маргарет, и благослови вас Господь!

Так, похоже, я влюблён в эту бесцветную куклу?! По роли положено? Или в жизни? Монах тайно влюблён в юную графиню или актёр второго плана в приму? Вероятнее первое, потому что белобрысая Луиза ничего, кроме жалости и раздражения у меня сейчас не вызывает.

Но откуда явственное первоначальное ощущение своей женской сущности? Некогда сейчас разбираться. Похоже, пьеса застопорилась: наши с Маргарет (то есть с Луизой) партнёры снова забыли текст. Никогда не могла понять, как такое возможно. Даже если я погрузилась в свои мысли, реплики выскакивают автоматически. Игра, конечно, никуда не годится: я не в образе, я совсем не верю, что имею какое-то отношение к этому брату Бемолио, за которого произношу слова. Пожалуй, я гораздо ближе к актёру Люциано, пытающемуся понять суть происходящего. Но это тоже не я.

Стоит мне оглянуться и посмотреть на зрительские ряды – я каждый раз вижу разное. Только что была освещённая солнцем поляна и деревянные расшатанные кресла. Теперь освещена только сцена, а тёмные ряды партера круто уходят вверх, поднимаясь под самый потолок. Зрители недовольны заминкой. Слышу отдельные ленивые хлопки, неуверенный свист. Кто-то протискивается к выходу – в буфет. Но антракт пока не объявляют, и надо спасать положение.

Странно, наша сценическая площадка напоминает теперь боксёрский ринг, причём почти вся труппа сгрудилась в одном углу вокруг потерявшей сознание Луизы (или это Маргарет по роли положено?) В любом случае упасть в обморок – находка, когда не знаешь, что тебе делать дальше. Bravo!

Я стою в другом углу ринга, не ощущая никакой потребности присоединиться к прочим. Значит, всё зависит сейчас от меня. Машу рукой осветителю – и яркое пламя софита вспыхивает, как моё лицо. Кожей чувствую – горячо! Значит, всё правильно...

Я начинаю говорить. Сначала тихо и неуверенно, потом всё громче и ритмичнее. Я нашёл нужную ноту, нужные слова. Импровизация захватывает меня жаркой волной. Наши невольно отодвинулись от Луизы и смотрят на меня, хотя это вовсе не обязательно. Главное – зал замирает.

Направлявшиеся к выходу плюхаются на свободные места. Кто-то останавливается в дверях, замерев. Я понимаю, что зрители в моих руках. То, что я говорю сейчас, так или иначе застрянет в их пустых сердцах и, может быть, даст корни.

Нет, я не настолько наивен, чтобы думать, будто восходы изменяют мир, но всё же, всё же... След останется. Он будет тревожить и начнёт исподволь корректировать мысли, а может, и поступки. Да, это мой звёздный час. И если не финал пьесы, до которого ещё далеко, то достойное завершение второго акта.

Звонок. Похоже, это просто сцена актового зала в школе. Спектакль на перемене? Зрители шумно встают, торопясь на уроки. Какая-то часть меня отделяется и тоже спешит в класс... Но Люциано после своей героической импровизации не в силах успокоиться. Он обращается к товарищам с не меньшей страстностью, чем только что к зрителям. Да, их трусливая бездарность достойна самой гневной филиппики. Они злятся на меня. Подумать только, считают, что моя речь в корне меняет ход событий и теперь нельзя уже вернуться к первоначальному тексту пьесы. А зачем возвращаться, если никто не выучил роль и даже не помнит финала?!

– Давайте импровизировать! – говорю я им, – только это спасёт представление. Какая разница, что получится в результате? Главное – верить в то, что говоришь, чувствовать партнёра – и тогда начнётся настоящая жизнь и игра наша не оставит никого равнодушным.

Но они боятся, они обвиняют меня в провале, который, по общему мнению, уже неминуем. Кто-то заносит кулак...

И тогда я хлопаю дверью. Условно хлопаю. Потому что наш каменный помост располагается посередине большой городской площади. Хлопать нечем. Но я перешагиваю через чугунные узоры невысокого ограждения и ухожу в лабиринт улочек. Мой балахон средневекового монаха как нельзя лучше гармонирует со старинной булыжной мостовой и готическими зданиями. Я здесь выгляжу естественнее и уместнее, чем пестрящая футболками и открытыми сарафанами толпа.

Какой город? Какой век? Да неважно. Я раздражена. Раздражён? Одинок. Мне нужен союзник, и я иду куда глаза глядят, быстрым шагом, просто для того, чтобы израсходовать избыток недоброй энергии, клокочущей во мне возмущением и обидой.

А вот и союзник. Союзница? Наконец-то! Она идёт мне навстречу, неся гитару в громадном чёрном чехле. Её тонкая фигурка упрямо не хочет сгибаться под тяжестью ноши. А я догадываюсь: в чехле, помимо инструмента, ещё книги, косметичка, туфли на высоких каблуках, букет гвоздик, волшебная палочка, пара пистолетов... Да мало ли что должен иметь при себе в пути склонный к бродяжничеству волшебник! Но сейчас это

женщина в узких кожаных брючках и красной рубашке навывпуск. Она бард и поэт. Где, в каком из миров мы дружим, в каких – оказываемся врагами? Соперниками? Так или иначе, для нас верна древняя формула «Мы с тобой одной крови», поэтому мы всегда узнаём друг друга – в любом обличи.

С полуслова она понимает меня – и мы уже спешим к площади, без конца утыкаясь в какие-то дурно пахнущие тупички, задерживаясь на развилках, пытаясь разобраться в путанице указателей. В этом странном городе, где люди говорят на чужом языке, безумно трудно найти дорогу.

Но вот и площадь. Она поросла травой, но трава пожухла. Лишь кое-где голубеют пыльные и поломанные кустики цикория. Дощатый помост почти пуст. На нём только трое: Луиза и два паренька из молодого пополнения.

Странная сцена. На руках у женщины цепи, мужчины гнутся под невидимой тяжестью. Помост залит чем-то красным. На нём плаха. Зато зрительный зал полон. Широкие каменные ряды, многие из собравшихся – в римских тогах, но есть и костюмы XX века. Нечто серое от «Москвошвей».

Мы почти бежим, сопровождаемые недовольными возгласами тех, на чьи ноги ненароком наступаем. Лариса на ходу расцехляет гитару. Сейчас она запоёт – и песня определит временную характеристику происходящего.

Улавливаю на бегу её мысль. Нет-нет, только не XX век – в нём вряд ли после концерта удастся спастись тем, кто хоть заикнуться посмеет о деспотизме и казнях! Вот так, хорошо, подруга! Короли, менестрели, шуты – вполне достойный и почти безопасный антураж. Вздохаю на помост:

–Маргарет, я вернулся, чтобы спасти тебя!

И тут несносная девчонка с искренним негодованием плюёт мне в лицо. Этого я не мог ожидать! На миг столбенею, изумлённо утираюсь – и слушаю, как лучшую музыку, её гневные слова о моём предательстве, о гибели почти всей нашей труппы, о том, что она готова разделить участь товарищей, но никогда...

– Ты слышишь, мерзавец? Никогда!!

...не примет она спасение из моих подлых рук...

Какое счастье! Она говорит искренне и легко. И уже неважно, вспомнила она слова старой пьесы или импровизирует... Bravo, Луиза! Как прекрасно я ошибался в тебе! Теперь всё изменится для тебя. И будут новые роли. Важные. Умные. Захватывающие. Актриса! На режиссёра ты вряд ли потянешь, хотя кто знает...

А моя роль? Монах Бемолио – лишь статист. Люциано – странная фигура, провоцирующая преобразование. Достойная роль, но это не предел. А я сама, кто я на самом деле? На самом деле...

Но что это? Свет меркнет в моих глазах, и краешком сознания, ускользающим, пытающимся зацепиться за тонкий луч света, проникающего в узкую щель закрывающейся двери, я понимаю: пока это всё, что позволено мне было увидеть.

Антракт. Но будет и новая вспышка света, и новое действие, и новые театральные помосты, и новые жизни, о которых пока ничего нельзя знать...

УИК-ЭНД

Славик подошел ко мне, когда я сидела над школьными тетрадками, и как ни в чем не бывало сказал:

– Да брось ты их! Поедешь к Митьке?

– Поеду! – согласилась я тоже, как будто не было этих бесчисленных сочинений, требующих срочной проверки.

– За Анечкой заедем?

– Всенепременно!

Через секунду (или мне только так показалось?) темно-зеленый узик с зубасто улыбающейся щучкой на боку уже тормозил возле Князь-Владимирского собора. Аннушка сидела в скверике с вышиванием, рядом с ней на скамейке поблескивал мобильник.

Славик уже стоял возле скамьи, улыбаясь своей такой знакомой мне чуть щербатой улыбкой. Щербатинка – нехватка зуба справа – была заметна только когда он вот так широко и радостно улыбался близким друзьям.

– Едешь?

Аннушка кивнула, не выпуская из рук вышивания, подцепила мобильник, вытащила из-под скамейки пакет с какими-то вещичками и пошла к машине.

Я как будто и не удивлялась, хотя мысли некоторые пробегали. Ждала нас она что ли? Но когда успели договориться? Плюхнувшись на заднее сидение рядом с ней, я даже попыталась спросить что-то в этом духе. Аня молчала, потом вдруг вытащила мобильник, написала смс и, не отправляя, показала мне: «Дала обет молчания, пока не закончу работу. Извини».

Мда, Анька, конечно, давно при церкви подрабатывать устроилась: вышивка гладью, крестиком, бисером... Но обет молчания? Зачем тогда с нами едет?

Снова, как во сне, время обнаружило странную дискретность, причем куски куда-то просто пропадали... Вот мы уже мчимся по Петрозаводскую, шикарно тормозим на набережной возле какой-то проволочной абстракции – аж песок на вираже из-под колес. Странноватое украшение на этом пляже – высокие, не совсем человеческие фигуры из проволочной сетки. Все насквозь видно.

И пахнет здесь гнилью и йодом – типичный запах морского побережья. На берегу сидит Митька, караулит какую-то снасть. Не оборачивается, но я чувствую: он нас видит и даже приветствует – без слов.

– Митька, привет, – шепчу я, – а откуда тут у тебя море-то? Онега, конечно, озеро великое, но все-таки...

– Да ладно тебе! – ухмыляется в рыжую бороду приятель. – Какая разница? Вода и вода...

Только сейчас замечаю, что он в длинной холщовой рубаше, подпоясанной веревочкой. И – батюшки! – на ногах-то лапти! Самое смешное, что весь этот маскарад удивительно ему идет – будто так и должно быть. Нет, недаром на практике в глухой деревне местные ребята его дедом прозвали еще с четверть века назад.

Обращаю внимание, что и Аннушка в длинной темной юбке и белом платочке вместо привычных джинсов. Когда переоделась? Впрочем, в таком переоблачении ничего особо странного: она в церковь всегда так наряжается. А вот Славик почему-то в темно-зеленом, под цвет машины, гидрокостюме со шуккой на груди. Неужели и за рулем так сидел? Как я раньше не заметила? И живот куда-то делся – строен, как Ихтиандр, только лицо привычное, щекастое, глаза улыбаются. Он смотрит на меня пристально, точно дает какое-то поручение, потом вдруг отворачивается и идет к воде.

И тут меня осеняет...

– Митька... Это как же? Его же нет... Он же два года назад... Мы с тобой на похоронах были... Может, и мы тоже?..

Митя (золотой человек, всегда успокоить умел, еще со студенчества с нами нянчился) слегка обнимает меня за плечи.

– Ладно, не бери в голову. Ерунда какая: мертвые, живые... Чистая условность. Вы приехали – я вам рад. Вот это важно. А что озеро морем стало, так тоже пустяки. Одна стихия. Кстати, я здесь ни при чем – это Славка балуется. Мое дело – земля, да еще расстановка знаков. Вроде той штуки на пляже. Все думают: постмодерн, а это просто вешка, буюк.

Вопросы переполняют меня так, что сейчас, кажется, взорвусь. Открываю рот, но Митька опережает:

– Ах да, ты же у нас здесь впервые. Анечка все объяснит, а я пока по хозяйству разберусь.

– А обет молчания? – Я не успеваю даже произнести слова, как Митя машет рукой:

– Тоже пустое. Ты все поймешь.

Оборачиваюсь к Анне. Она сидит на разошедшемся бревнышке, видимо, принесенном приливом. (Господи, какие приливы на Онеге? И вообще, где мы?) Продолжает вышивать, чуть шевеля губами, поглощена работой, на меня не смотрит.

Сажусь рядом – спина к спине – и вдруг слышу... Нет, не слышу, но словно воспринимаю всем спинным мозгом слова. Это плавно перетекающее в меня знание так же пунктирно, как время. Но видимый пунктир – это только стежки на внешней стороне вышивания. Остальное – главное хитросплетение петель – прячется с изнанки, существует, невидимое, но реальное. Во всяком случае, я понимаю.

Это наш мир, только увиденный под необычным углом зрения. Здесь бессмертие – факт обыденный настолько, что и спорить о нем нет смысла. Слова вслух произносить не обязательно. Мир и так из слов состоит и ими же создан. Поэтому информация считается попросту.

«Телепатия?» – мелькает у меня в голове.

Можно и так сказать, хотя название неточно. Просто через любой орган чувств знание воспринимается, улавливается – и течет дальше, обогащенное твоим пониманием.

«А если не понимаю?»

Такого быть не может. Только не надо все логически по полочкам

раскладывать. Здесь сплошной поток, и мы в нем как рыбы в воде. Рыба не тонет. И смерти нет. Вечный заплыв.

«Славик вернется?»

Он и не уходил. Ну, если хочешь, считай, что поплыл по делам. К ужину будет. И скатерть как раз будет готова.

В руках у Аннушки уже не малая тряпица, как мне показалось вначале, а огромное полотно. Оно стекает с колен и уже покрыло собой часть берега. На нем те же дома, та же набережная, только ярче, чище что ли. И воздух изменился – пахнет свежим озоном, а не гниющими водорослями.

Быстро темнеет. Недалеко от нас Митька возится в своей глинобитной хатке у огня. Сквозь дверь вижу – он что-то жарит, накрывает на стол. Сижу, понимая, что не стоит ему помогать: не мое это дело. Надо вот так сидеть и не сводить глаз с языков пламени.

...Но ведь он жил в обычной городской квартире. Третий этаж...

Воспоминание выплыло со dna сознания и тут же растаяло. В самом деле, какая разница? Стены, этажи... Важно – мы здесь, мы вместе, как раньше.

На берегу почти темно. Вернее, скатерть, покрывшая берег, слабо светится во мраке, который исходит из моря и с неба. Мы по-прежнему сидим на бревне. Аня сует иглой. Я смотрю вдаль, пытаюсь угадать линию горизонта. Вдруг оттуда, из этого двойного мрака – из воды или с неба – начинают вылетать машины, танки, корабли. Они светятся в темноте, скользя по гигантской параболе, и вот-вот начнут падать на нас. Некоторые не только светятся, но горят, охваченные пламенем. Все это в полной тишине, только волны тихо шуршат, набегая на край скатерти. Жутко. Очень жутко, хотя и красиво. Но я уже знаю, что делать.

Встаю – и в моих руках оказывается сачок для ловли рыбы. Меня уже не удивляет, что он стоял в отдалении у стены Митькиного дома. Нужен – значит, в руках! Я прицеливаюсь, взмахиваю сачком – и громадный горящий танк трепещет в нем, как рыбка, уменьшившись до размеров детской игрушки. Пламя шипит и гаснет. Я вытряхиваю добычу на песок (ах, нет, на полотнище скатерти, которая давно покрыла все вокруг) и снова прицеливаюсь. Взмах – и крошечный пластмассовый кораблик попадает в сачок. Я вхожу в азарт, стараюсь одним движением ловить два-три предмета. Получается!

Вокруг нашего бревнышка уже валяется несколько десятков или сотен автомобильчиков, корабликов, самоходок, самолетиков. Некоторые лежат тихо, другие жужжат, как сбитые на землю жуки. Но, кажется, всё. Больше ничего такого страшного на нас не летит.

Анечка закрепляет нитку, откусывает ее. Одновременно Митя открывает двери, взмахивает руками – и мы уже сидим за накрытым праздничным столом под небом, с которого, подобно светящейся лампе под желтоватым абажуром, свешивается луна.

Со стороны моря приближается мерцающая фигура и расстегивает водолазный костюм, который падает к ногам.

– Все в порядке, – говорит Славик.

Он откидывает фалды фрака, взмахивает вилкой, как дирижерской палочкой – на небе загораются звезды, они отражаются в морской поверхности – и тьма отступает, и начинает звучать негромкая музыка.

Митя молча поднимает бокал, Славик и Аня улыбаются мне – и я понимаю: огнине часто буду попадать сюда, потому что тоже научилась смотреть на мир под тем углом зрения, когда все становится возможным, когда любой кошмар небольшим усилием обращается в детские игрушки, когда все понятно без слов, а смерти просто нет...

Наши бокалы звенят, и звон отзывается в звездах. Это огни застолья старых друзей, собравшихся на уик-энд в Вечности.

В СТРАНУ ЗЕЛЕРОНЖАД

Посвящается Эдварду Лиру

Жил-был однажды... Впрочем, почему непременно однажды? Возможно, это было уже дважды или трижды, а то и стожды раз. Кто знает? И почему непременно жил? Нет, не жил он, а прозябал в безвестности и печали, а стало быть, всё равно что его вовсе не было...

Но так мы далеко не уйдём, пожалуй. Попробуем заново.

Итак...

На неведомой планете прозябал зелёный Заяц. Так-то лучше. Уж зелёным он был точно, без прикрас. И даже открою причину: позеленел от особенной тоски, только ему свойственной. Потому что все зайцы из его роду-племени испокон веков были серыми, но ничуть от этого не страдали. А он ничего серого терпеть не мог прямо-таки с первых дней жизни, с того момента, как мамаша начала его серым Волком запугивать, а он сам – цвета различать. Вот в этом и секрет его нестандартного поведения кроется. Его одноплеменники дальтониками были в большей или меньшей степени, а наш Заяц таким вот чутким к разным оттенкам мира уродился... Урод, в общем, нравственный, что тут ещё скажешь?!

И, ясное дело, не любил его зайцы. Зелёный он там, синий или какой ещё – это им совершенно было фиолетово и по барабану, а вот тоскливый вид его всех раздражал. Распустили даже слух, будто тоска эта заразная, вот и шарахались все от Зайчишки, как от зачумлённого. А он и правда зачумлённым был: в общий чум на совет его не пускали, за чумом ждать заставляли. Вот так и приняли зайцы решение – гнать зеленолицего подальше. Провозгласили ему этот указ, в лад ушами хлопнули – он и побежал со всех ног.

Сначала к Большому озеру – топиться вздумал. Но на бегу опомнился, а когда к берегу прискакал, так только водички попил и на камешке посидел, отдыхаючи. Пришла ему в ушастую голову мысль, что так даже к лучшему будет. Всё равно в племени его не любили, за уши таскали, усы выпципать норовили.

Вот и стал Заяц на берегу жить. Один. Постепенно приноровился со своим

отражением в воде разговаривать. Так-то славно получилось: сидит на камешке на мелководье, на зеленоухого братца поглядывает и песенки поёт. К ночи в воде звёзды засветятся, так тут и вовсе такое нафантазируется, что хоть слезай в звёздную мглу и плыви неведомо куда.

И стала ему эта мысль – насчёт неведомого – всё больше нравиться. Вот только остатки здравого смысла подсказывали, что велико Большое озеро, так просто его не переплыть будет.

Но мысль в заячьей зелёной голове уже зародилась, расти начала, а ни одна мысль просто так не пропадает во Вселенной, даже если это всего-навсего незрелая мысль какого-то зелёного Зайца.

Сидел он раз поздно вечером на камешке, закатом любовался. Закат в тот вечер, надо сказать, на славу удался: словно дневное солнце всё над водой расплавилось, да и пролилось в озеро, а сполохи по всему небу заиграли.

Сидит заяц, любуется, песенку собственного сочинения мурлычет под нос. Между прочим, из-за песен его тоже из племени выгнали. Ну виданное ли дело, чтобы зайцы под нос себе мелодии выводили?! Нормальному зайцу только на барабанах стучать положено, и то лишь в определённое время года.

Вдруг слышит: подмурлыкивает ему кто-то из воды. Заяц, хоть и заведомо трусливого племени был, но и тут от своих бывших сородичей отличался. Поживи-ка с малых лет одиноко да наособицу – тут волей-неволей и все страхи тебя покинут. Поэтому он не убежал, а только песенку прервал и спрашивает тихонько: «Эй, кто тут?» В ответ лишь вода плеснула. Заяц посидел ещё, дождался, пока на небе и на воде закатные краски померкнут, звёзды выступают, да и спать пошёл.

На следующий день всё бродил да под кусты заглядывал – не прячется ли там Кто-нибудь. А вечером снова на облюбованном камешке сидел, песенки распевал. И снова слышит – повторяет кто-то за ним напев. Замолчал Заяц – и тишина. Только вода плещется беспокойно. И отражение заячье в воде рябью пошло – не поговоришь, не посоветуешься.

Ну, за день заяц совсем извёлся, ещё закат и не начинался, а он на своём камне сидел. Удочку для отвода глаз взял: мол, я тут вовсе по другой надобности и никакими песнями вовсе не интересуюсь.

Только удочку закинул, кто-то под водой за крючок дёрг! Удивился заяц – никогда клёва на этом месте не было. Стал вытаскивать. Тянул-тянул – не поддаётся. Слез в воду, пошёл смотреть, за что леска зацепилась, наклонился возле камня к воде – и аж отскочил: из воды на него два круглых больших глаза уставились. Вроде отражение, а вроде бы уже и нет.

Пока Заяц свои глаза протирал, им не веря, невиданное существо одним прыжком на камень выскочило. Мохнатое, хвостатое, ярко-апельсиновое... Впрочем, вполне симпатичное, хоть и мокрое. А когда отряхнулось от воды да шерстку облизало – Заяц глазам окончательно доверять перестал.

– Ты Кошка что ли? – спрашивает.

– Вроде того, – отвечает зверюшка невиданная, – а ты никак Заяц?

– Никак...

И замолчали, потому что показалось обоим, будто по озеру тёплый ветерок пробежал и пообещал быть для них попутным. Помолчали ещё. Потом Кошка Заяцёву песенку запела, Заяц мелодию подхватил, рассмеялись они, и пошли у них разговоры нескончаемые.

Про Заяца зелёного вы и так всё знаете, повторять нет смысла, а про оранжевую Кошку, наверное, сами уже поняли. Но для самых недогадливых поясню.

Её тоже из кошачьего рода изгнали. Ведь мало того, что шерстка апельсиновая – такая при необходимости за рыжую сошла бы, если в пыли изваляться. Но вот эти фокусы с водой... Нет, нормальные кошки тоже плавать могут, да только не любят. А эта, ненормальная, мало того, что в воду её всё время тянет, так она не только по поверхности, но и на глубине неведомо сколько проплыть может. Не иначе жабры отрастила, уродина. Ату её! МьяяяУУУ!

В общем, к утру стало ясно, что против родства душ не пойдёшь, и наш зелёный Заяц оранжевой Кошке по всей форме предложение хвоста и сердца сделал, а она предложение это приняла и душой, и четырьмя лапами. Вот только проблема: как им брак свой узаконить? По уставу заячьего племени на кошках жениться нельзя. И за зайцев замуж выходить – не в традициях кошачьего рода. А наши герои, при всей их неординарности, существа были крайне порядочные, и никаких вольностей себе не позволяли.

Надумали они тогда корабль построить и уплыть на другой берег Большого озера. Там или найдут государство, в котором их брак законным признают, или на неведомых никому землях своё Заекошачье царство обозначат или хоть какую-нибудь Кошезаячью республику организуют. А уж тогда свои законы напишут, а когда законы эти им разонравятся, сами и переписывать заново будут.

Сказано – сделано. Начали они на следующий день строить кораблик. Из чего? Да из самого простого материала. Набрали камыша прибрежного, сплели большую корзину, глиной промазали. В середину самую длинную камышину воткнули, а на ней парус из паутины установили – знакомый паук сплёл за новую песенку.

В путь отправляться решили они на закате – прямо на солнышко курс свой прокладывать верный, ни на минуточку от него не отставши. Так-то уж точно до новой земли доберутся. С ветром попутным и тёплым они сговорились, чтобы помогал им в пути, не давал сбиться с курса. Пообещали за это исправно когтями мачту скрести в его честь, ведь ветра это любят. В радость для них процедура такая, словно артисту овации-аплодисменты – сил прибавляют, и голос крепчает, взлетая.

Так и отплыли они в Заозерье к неведомым странам. К странам настолько, чтоб им там жилось бы привольно. Даже название придумали – Зелеронжадом пусть наречётся заветное то государство. А почему так назвали – дознайтесь вы сами.

Зайцу зелёному с Кошкой оранжевошерстной славу пою как героям отважным, бессмертным!

Именно такими словами, или почти такими, сопровождал их в плавании знакомый ветерок, окрепший и ставший настоящим и сильным попутным ветром.

И мне, между прочим, верится, что до цели они доберутся. Ведь любая мечта непременно исполняется. И непременно в дальней дали чудесной, за чертой горизонта. Иначе вовсе она не мечта, а пустое бесплодное хотенье.

У КРАЯ ТЬМЫ

Жил-был некий Симон, довольно странный субъект для того, чтобы стать героем истории, но тем не менее вполне достойный этого.

Итак, жил Симон вдали от всяческого многолюдства в пещере недалеко от края света. Каждый день, после немудреного завтрака, брал он удочки и до вечера сидел на краю, свесив ноги с обрыва во тьму и мурлыкая под нос бог весть какие приходящие в его голову мелодии. Клевало, между тем, довольно часто.

Но что может попасться на крючок, если сидите вы на самом краю света, забросив удочку в море тьмы, тяжело ворочающаяся и вздыхающее где-то внизу, вне пределов видимости? Конечно, только обитатели непроглядной ночи – кошмары.

Симон, выловив добычу, сразу сортировал ее. Попадались кошмары типично детские, в которых фигурировал Волк-зубами-щелк или Злой-дядька-с-ремнем, или кошмары юного рассудка, обуреваемого первыми эротическими фантазиями. Такие он бросал обратно сразу, только сняв с крючка. Изредка попадались кошмары, заключающие в себе полезную для него натуру: видения пищевого характера. Они откладывались в ведро, Симон давно научился извлекать из них себе пропитание. На таком рационе не растолстеешь, но для поддержания жизненных сил, а иногда даже для приятной иллюзии сытости их было достаточно. Криминальные сюжеты (а их попадалось множество) он не любил и отбрасывал во тьму, не утруждая себя внимательным рассмотрением. Но изредка попадались ему кошмары особенные, причудливо-необъяснимые, ни на что не похожие. Он научился потрошить их, просушивать, разглаживать и развешивал на стенах своего жилища.

Долгими вечерами при свете сального светильника он любил иногда, освободившись от привычного труда, разглядывать их. Они давали пищу уму и воображению, хотя затрагивали в душе добровольного отшельника странные струны, смущали его и заставляли ощущать какую-то особенную тоску, невнятно говорящую о том, что нельзя вечно довольствоваться образом жизни, который он избрал для себя уже давно, после величайшей утраты, перечеркнувшей его прежнее существование.

Постепенно, по мере того, как стены пещеры заполнялись этими странными изображениями, Симону стало казаться, будто они вытесняют его из ставшего привычным убежища. И однажды, повинувшись этим флюидам, он собрал котомку, завалил деревянный щит, служащий ему дверью, большим камнем и ушел.

Долгое время брел он по краю света, изредка останавливаясь, чтобы выловить что-нибудь пригодное для пропитания, и наконец понял, что маршрут, словно ведущий по бесконечной дуге, не выводит никуда. Он глубоко вздохнул, перегнулся с обрыва, пытаясь – в который раз? – разглядеть что-нибудь в крошечной тьме, и, резко сменив направление на радиальное, решительно начал удаляться от края света.

Он много дней продирался сквозь буреломы, поднимался на холмы и снова спускался в низины, пересекал болота, обходил озера, вечерами падая от усталости и ночуя там, где заставляли его сумерки. Он позволил себе вернуться к обыкновенной пище: собирал грибы и ягоды, вылавливал рыбешек в попадающихся на пути водоемах. Лес был дик, никакого признака человеческого жилья не встречалось, да Симон и не был уверен, что ему это нужно.

Однажды ночью, проснувшись от громкого крика какой-то птицы, он отчетливо увидел недалеко за деревьями красноватое зарево и, наскоро собрав разложенные для ночлега вещи, отправился прямо к нему.

Взгляду открылась большая поляна. Посреди поляны, весь охваченный пламенем, стоял большой бревенчатый дом. Пораженный грозной красотой зрелища, Симон замер в неподвижности, но потом, словно очарованный, стал подходить ближе и ближе. Пылающая стена скоро оказалась совсем рядом – протяни руку и дотронешься. Только тогда Симон осознал, что странный огонь не пышет раскаленным жаром, а излучает всего лишь приятное тепло. В это время небо прояснилось, первые лучи еще не взшедшего солнца прогнали тьму. На глазах Симона пламя исчезло, а дом стал покрываться белым налетом, который, быстро разрастаясь, скрывал его очертания, окошки и дверь плотной коркой. В лицо дохнуло холодом. Рука дотянулась до стены, но отдернулась, встретив слой холодного льда. Симон обошел здание со всех сторон – ледяной панцирь был толст и крепок, а вокруг, на поляне и в лесу, продолжало свой обычный ритуал солнечное летнее утро.

В этот день Симон никуда не пошел, он дожидался ночи, надеясь, что темнота поможет найти разгадку чуда. Неподалеку нашлось небольшое озерцо, в котором водились караси – судьба явно благоприятствовала задержке в пути.

На закате он уже сидел на поляне рядом с огромной ледяной глыбой, в которую превратился дом. Симон не ошибся: стоило солнечным лучам померкнуть, над крышей появилось розоватое зарево – и вот уже лед, поглощаемый языками огня, быстро тает, испаряется, и перед глазами снова возникают бревенчатые стены, три окошка, плотно прикрытая дверь... Он решительно протянул руку в огонь, который не обжигал, но обволакивал сухим теплом. Тогда Симон открыл дверь и шагнул вперед.

В доме было жарко, но не чрезмерно, а просто будто бы хозяева хорошо протопили печь на ночь. Горела лучина, и в ее неярком свете Симону в первый момент показалось, что в горнице никого нет. В тот же момент он услышал тихий, как дыхание, голос:

– Здравствуй, пугник, давно я тебя ждала!

– Здравствуй! – машинально ответил Симон и наконец разглядел в полутемном уголке на полатях какое-то существо, заматанное в лохмотья.

– Подойди поближе, не бойся...

На полатах полулежало нечто непонятное: сморщенное обезьянье личико неестественно белело в полутьме, блестели темные, глубоко посаженные глаза. Из пестрого бесформенного балахона вместо рук торчали лапки, напоминающие куриные, а в пол упирались покрытые шерстью когтистые толстые конечности. Вместе с тем в странной уродливой фигуре не было ничего угрожающего.

– Я давно ждала пришельца с конца света, – прошепел тихий голос, – но даже не думала, что им окажешься именно ты. Не понимаю, что это может значить, но надежда вновь начинает оживать во мне.

– Ничего не понимаю, – проговорил Симон. – Кто ты? Откуда знаешь меня? Что за странный дом, не сгорающий в огне ночью и превращающийся в глыбу льда днем?

– Это твой кошмар, только и всего, – куриная лапка легла на руку Симона и он вздрогнул от неожиданности. – У нас мало времени, я не могу объяснить тебе все подробно, тебе придется просто верить мне.

– Но кто ты?

– Сейчас это неважно. Важно другое. Ты напрасно винишь себя в смерти жены, это не твоя вина. Но ты не мог узнать этого раньше, потому что тебе необходимо было прожить длительное время на краю света и научиться обращаться с кошмарами – своими и чужими. Ты можешь теперь справляться с ними: отбрасывать, перестраивать и даже извлекать из них нечто полезное.

– Я никогда не задумывался об этом. Но для чего мне это умение? И ты так и не объяснила мне тайну своего дома.

– А ты непонятлив, – усмехнулась хозяйка, – или просто не хочешь задуматься по-настоящему. Я ведь сказала, что это твой кошмар, но трансформированный. Ты уже научился переплавлять страшное в загадочное, делать ужасное предметом наблюдения, а теперь тебе пора извлекать пользу из необъяснимого.

– Твои слова непонятны мне.

– Поймешь, когда вернешься в свою пещеру. Только помни: извлекая пользу из тайны, самое трудное не потерять себя и человеческий облик. Пока просто запомни это напутствие. Возвращайся к себе и ничему не удивляйся. Когда поймешь, и если поймешь – захочешь вернуться. Тогда – и только тогда – возвращайся. Ты сможешь еще один раз войти в этот дом, и может быть... Но не будем загадывать. Летняя ночь коротка, и тебе пора уходить.

– Ты так ничего и не объяснила!

– Значит, еще не пора. До свидания. Спешу, сейчас рассветет... И, если можешь, поцелуй меня на прощание.

Симон приблизил свое лицо к сморщенной мордочке, вытягивающей к нему трубочкой губы. Вздрогнул и неловко чмокнул куда-то в щеку. На миг ему показалось, что лучина вспыхнула ярче и в этом зыбком свете перед ним брезжит совсем другой образ – незабвенный, грустно улыбающийся ему, как тогда...

Лучина затрещала и погасла. Наваждение исчезло. Симон быстрыми шагами пересек горницу, вышел на крыльцо и увидел, как первый луч утра превращается в слой инея на дощатой двери.

Он долго сидел, глядя на обрастающий льдом дом, потом разжег костер и задумчиво прихлебывал кипяток, размышляя, что напрасно он так долго шел по дуге – по краю света, когда главное надо искать в середине круга.

Догадка оказалась правильной. Преодолевая лесные завалы, он уже на третий день вышел к знакомым холмам и подошел к своей пещере.

Странно: камень отодвинут; щит, служивший дверью, откинут... Не успел Симон удивиться, как из пещеры вышел человек в поношенном сером костюме, держа в руках одно из странных изображений, составлявших его коллекцию выловленных из моря тьмы кошмаров. Он молча сгреб непрошенного гостя за шиворот, а тот сразу стал рассыпаться в извинениях. Извинения Симон принял с благосклонностью хозяина, которого застал врасплох неожиданный гость, но потом обладатель серого пиджака понес такой бред, что в его сумасшествии можно было бы не сомневаться, если б не странная встреча в ледяном несгораемом доме...

– Неужели это все ваше? – верещал серый человечек. – Вы не имеете права скрывать эти шедевры от ценителей прекрасного! Да что там право... Вы же легко станете миллионером, если правильно возьмется за дело! А правильно возьмется помогу вам я, и поверьте, за весьма умеренные проценты.

Неужели это и называется «извлекать пользу из тайны»? – мелькнуло в голове Симона. – И впрямь что ли попробовать?

– Так, это уже деловой разговор! – сказал он вслух. – С чего начнем?

– С имени, конечно! – серый человечек уже присел у грубо сколоченного стола, потирая руки.

– Меня зовут Симон.

– Нет, это никуда не годится, – заторопился серый, – надо что-нибудь звучное... Сальватор, хотя бы.

– Согласен!

Уже через пару лет он с удивлением вглядывался в жизнь, которую вел... Нет, не он, печальный отшельник Симон, ловитель кошмаров, а блистательный художник Сальватор, восходящая звезда современной живописи. Красивый дом, модные салоны, женщины в вечерних платьях, удивленно прищуривавшиеся глаза критиков-искусствоведов – пестрая кутерьма непрекращающегося праздника днем и печаль ночей. Ночей, когда он в тысячный раз задавал себе вопрос: для чего это все, зачем? Почему такой ажиотаж вызывают, в сущности, уродства, большие фантазии, лишь слегка облагороженные живописными формами? Но приходило утро – и безумный карнавал вокруг его придуманного и пущенного в оборот имени продолжался, а он, захваченный этим водоворотом, не находил в себе сил сопротивляться потоку.

Он давно не писал картин, хватало старого запаса, который его импресарио – старый знакомец в сером дорогом костюме – предусмотрительно скрывал от

глаз публики. Таким образом давно созданные изображения выдавались за недавно написанные шедевры. Осторожность человека в сером боролась с его алчностью, но запас еще не истощился, хотя неумолимо таял.

По ночам Симон-Сальватор вспоминал иногда ледяной несгорающий в огне дом на лесной поляне, но он все больше убеждался в том, что это всего лишь давний фантастический сон, такой же нереальный, как призрак погибшей жены, изредка посещавший его. Он все больше замыкался в себе, но не получал от этого никакого облегчения, не находя в поблекшем круте своего воображения даже воспоминаний. Серый человечек сначала пытался вывести его из апатии, даже водил по врачам, но потом оставил в покое и уже не донимал призывами встряхнуться и если не написать что-то новенькое, то хотя бы не отказываться от участия в презентации очередной извлеченной из тайного запасника картины. Но ему было все равно.

Однажды ночью он понял, что пора бежать. Одевшись как можно проще, с трудом найдя среди модных штиблет ботинки попрочнее и бросив в сумку кусок пирога, оставшегося от очередной вечеринки, он выскользнул из дома и отправился к окраине города.

Вскоре лес обступил его, темный, угрюмо шумящий вершинами, враждебный. Симон упрямо двигался вперед, он помнил, что поляна должна открыться на третий день пути, а это не так уж долго и страшно, как кажется поначалу.

В первую ночь, проведенную на небольшом холме среди болота, ему снилось море тьмы, в котором, словно золотые рыбки, плавали, блестя, золотые монеты. Они цеплялись за крючок его удочки, но стоило подсечь – из бездны выскакивали лишь какие-то бесформенные грязные сгустки.

Вторая ночь застала его в густом подлеске, сквозь который он продирался, пока не упал обессиленный на толстый слой хвои. Во сне он бежал за розовым заревом, но неизменно либо упирался в бескрайнюю ледяную стену, либо выходил к выжженному, покрытому пеплом пространству, по которому бред, падая и вновь поднимаясь, но с каждым падением все более теряя надежду выбраться из этой черной пустыни.

Третий день принес затяжное ненастье, а к вечеру все затопил густой туман, в котором даже протянутая вперед рука просматривалась нечетко. И тут его охватило отчаяние. Он лег на землю, завернулся в насквозь отсыревший плащ, закрыл глаза.

Костлявая лапка схватила за локоть, обезьянья мордашка склонилась над его лицом, освещенная тусклым светильником. Он лежал неподвижно, боясь испугнуть видение.

– Ты почти дошел! – прошелестело рядом. – Я ждала тебя.

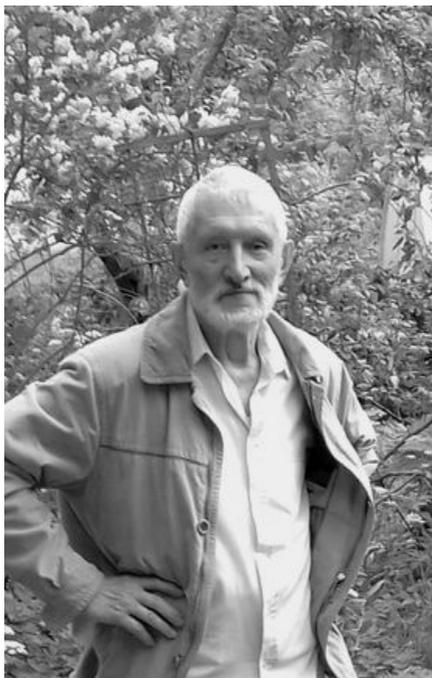
Он поднялся на ноги и рассмотрел у нее за плечом слабый розовый ореол.

– Ты возьмешь меня... туда? – спросил он шепотом.

Она молча кивнула и повела за собой сквозь туман. Ее странные уродливые черты с каждым шагом все больше обретали очертания стройной женской фигуры, так мучительно и хорошо ему знакомые.

В. И. Чернышев

СТИХИ О ДЕРЕВЕНСКОЙ
ЖИЗНИ



* * *

Ты женщина и этим всех правей –
Не только тех, что слева, но и справа!
Ты – лилия, купавница, Купава!
Сведи меня с ума! – даю я право!
Гуляй ты хоть налево и левей,
По облаку, дороге, по траве –
Тебе одной вся честь моя и слава!

7 марта 17

* * *

Надо попытаться писать иначе,
Не перечисляя подробностей бдения.
Важнее узнать, где нас время спрячет,
Сгребая в груды мусор для тления.

Формулы жизни не все открыты,
Вот и толчем мы в ступе крошево.
Что нам дает познание быта
Пред унижением худшим хорошего?

29 июня

* * *

Не верь поэту, дева. Он
Так многолик как многословен,
И Водолей, и Вепрь, и Овен,
Он любит? Нет, он восхищён!
Итак, не верь поэту. Лишь
Твоя краса его пробудит, –
Тебя он в множестве забудет.
Ты сон его. Но ты ль не спишь?

30 июня

* * *

О, сердце милое, прости,
Что мне подчас твой ритм не ведом!
В пути, влюбляясь, за обедом,
Внимая почестям и бедам,
Пытаясь грешный мир спасти –
Тебе, увы, внимал я реже.
Но мы друзья?! Ведь мы все те же?!

17 июля

* * *

Лето, август, прохладно и сыро...
Пусть в июле бывало сырее,
Вкус канавы и затхлого сыра,
Комары и укусы от спрея... –
Все ж бывали минуты блаженства:
Голова в поднебесьи кружилась,
Дождь бывал и прерывист и женствен,
Да и сердце не часто, но билось!

Посему мой вердикт будет мягок:
Одевайтесь всегда по погоде, –
Будет август тягуч, но не тягоч,
Будет лето... не лето – но вроде...

Миро-любие – выше, чем вера,
Доказательней смутных Заветов.
О, всевластные Гея и Гера! –
Пусть не сразу, но будет и Лето!

И пропахший дождем, свежим потом,
Баннным дымом и прелой травой,
Я найду, что искал, за работой,
Заскулю иногда – но не взвою!

Я – смесь яблок, вина и крапивы...
Что ж, бывает, и жгусь – но не больно...
Чудо, творчество, благо и диво... –
Мир всем вам! И дождю... И довольно!

4 августа

* * *

Жалеть ли мне о том, что был неосторожен,
То водку рьяно пил, то с властью в спор вступал?
Теперь живу не так – и нож не рву из ножен,
И ночь грозою шла, а я ее проспал.

Мы жили как во мгле. О времена, о нравы! –
Любил я повторять за Цицероном вслед.
И вот, увы, скажу: Все диктатуры правы,
И книги лучше жечь, от них разлад и вред.

Так что же мне: жалеть, что славил я свободу,
народ мой просветить мечтал посредством книг?
Да. Мы несем разлад, не нужны мы народу...
И жар души погас, и с неба глас поник...

21 августа

* * *

Деревня. Август. Ночь темна,
Дом переполнен тишиною.
Нет электричества, вина...
Нет даже свеч! Но ты со мною –
И я спокоен, крепко сплю, –
Пусть гром гремит и небо низко!
Я этот мир за то люблю,
Что в нем волшебное так близко...

22 августа

* * *

Стихи мои тяжеловесны,
И не горят, а тихо тлеют.
Зачем же ангел мой небесный
Меня по-прежнему жалеет?

Зачем еще живу безбедно
(и не прошу о подаяньи) –
Не в золотом пусть, все же в медном
Подворье, в деревянном зданьи?

Никто о прошлом мне не скажет –
Но все ж, пока дымок над крышей –
Вдруг карта будущего ляжет
Так, что и ты меня услышишь?!

И, улыбнувшись: – *Не избиты*
Еще твои тропинки, – скажешь,
И вновь в причудливой молитве
Меня к себе на миг привяжешь.

Зачем иначе дух небесный
Ко мне в тяжелый час приходит,
И в мир волшебный и прелестный
В воображении уводит?

И я еще живу, надеюсь,
Бегу за новым разговором.
Дымок костра – я все же веюсь
К тебе, не ждущей за забором.

31 августа

* * *

Все болит, и душа и одежда,
Только воля еще мне подвластна.
Открываю усталые вежды:
Солнце в небе!
О, жизнь! Ты прекрасна!!!

3 сент

* * *

Кажется, я написать не смогу
Лучше других.
Чего не хватает мне? Лгу?
Голос мой тих?

Разве я не живу на разрыв,
Выкрик и плач?
Сам себе садовник, полив,
Критик... даже палач?!

Ты ли виновата во всем,
Прячущаяся в облаках?
Бедность, промокший дом,
Благонамеренность? Страх?

Горячим попустил и Господь,
Требую смирения трав,
Я – *мера, веся и водь* –
Настаиваю на равенстве прав.

И разве я малых сих
Когда-нибудь ущемлю?
Пишу не лучше других -
Но пишущих я люблю!

И раскалив остріё
Вольфрамового пера,
Дождусь и во имя моё
Звона колоколов с утра!

12 октября 17

* * *

Я в пространстве, где трепет и боль.
Где отчаянье тихо,
Где прогоркло вино и рассыпалась соль,
И в углу притаилось безглазое Лихо.

Кашель душит меня.
Жизнь смогла бы – давно придушила.
Ни луны и ни звезд, ни печного огня,
Может быть, даже ты обо мне позабыла.

Что болит во мне? Дух? Утомленная плоть?
Или ребра вполне уподобились клетки?
Кто там сверху? Злой князь? Милосердный Господь?
Указующий перст, удлинённый до плети?

Как устал я сносить поученья и брань!
Я – дитя всех миров. Кто меня пожалеет?
То ли поздняя ночь, то ль безумная рань,
Разгребаю золу. Чудо – уголь алеет...

10 октября 17

* * *

Как устал я от «редактуры круга»!
Хочется деревенской свободы.
Солнце ли будет, дождь ли, вьюга –
Все приму, как веянье моды.

Печку натоплю, стол накрою,
Чай заварю, наполню чашу...
Что-то позабуду, иное скрою...
... В нашу ли дверь стучатся? В нашу!

II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

Т. М. Лестева

Два рассказа:

Четвертый интернационал

Адвокатская контора



Четвёртый Интернационал

«Наконец-то, – подумала Калерия, заняв кресло в вагоне «Сапсана» и положив сумку с подарками наверх в багажник, – немного отдохну, увижусь со своими». Соседнее кресло было свободным. Буквально за несколько минут до отхода поезда вошла невысокого роста спортивного вида женщина лет семидесяти пяти, седина которой отливала сиреневым цветом. Она поздоровалась, сняла дублёнку и осталась в сиреновом свитере. Небольшая нитка бус – светло-сиреневых овальных аметистов – гармонировала с цветом волос, подчёркивая бледность её лица. Обручального кольца не было, только серебристый перстенёк на левой руке, при электрическом свете камень лучился и искрился. «Солитер, полкарата в серебре, наверное», – идентифицировала Калерия бриллиант. Она с ранней юности увлекалась самоцветами, много читала об их свойствах, в Крыму собирала сердолики, в Паланге – янтарь, а в Пицунде – «куриных богов». Правда, пару раз по дороге в третье ущелье ей там попались осколки розового кварца, которые хранились в её коллекции самоцветов. А бриллианты... После гибели Клима одна с шестилетним Игорёшей. До них ли было? Потом купила гарнитур, но надевала его только при важных деловых встречах. Её сердце раз и навсегда было отдано самоцветам. Вот и сейчас на правой руке был перстень с крупным натуральным александритом, первое кольцо, подаренное ей дедом.

– Какой у вас прекрасный аметист, – начала разговор соседка, – я обожаю аметисты, особенно тёмно-лиловые, как у вас.

– Это не аметист, – ответила Калерия, – а александрит. Просто при электрическом свете он становится фиолетовым, а порой даже почти вишнёвым. Семейный александрит, натуральный. Подарок деда. Сейчас натуральных александритов почти нет. Синтетических корундов много, но в них нет такой игры. А с этим мне действительно повезло. Он то зеленовато-серый, то фиолетовый, как сейчас, а в белые ночи – как тёмно-зелёный изумруд. Сразу вспоминаешь романс Агафонова.

– Да, прекрасный был певец, настоящий. Это не сегодняшние барды. Но мой камень оберег – это аметист. Александрит – камень опасный, существует поверье, что его нельзя носить без пары. Он символ одиночества.

– Что есть, то есть, – вздохнула Калерия, привычно взглянув на обручальное кольцо. – Муж погиб в Афганистане.

У её спутницы обручального кольца не было, только перстенёк поблескивал на руке

– А я вот в разводе. Сорок три года прожили вместе и ... вот те на, – на минутку замолчала соседка, – подаёт на развод. Нашёл себе хохлушку в Днепропетровске, – он туда в командировки часто ездил, – то оппонентом, то председателем ГЭКа, привёз в Москву. Ему шестьдесят четыре, а ей тридцать восемь, аспирантка-заочница. В разводе, конечно, сыну двенадцать. Молодой муж! А у нас первому внуку исполнилось полтора месяца. Конечно, и раньше бывало порой. Была пробоина в нашем семейном корабле, однажды муж не

выдержал натиска Фиры Борисовны, сотрудницы по кафедре, но ещё были живы его родители. Наши девчонки маленькие – младшая только в школу пошла. Залатали кое-как пробойну, простояла ещё почти четверть века. Но проржавела и она.

– Акуловка, – объявили по трансляции. – Стоянка поезда три минуты.

Молодой человек с девушкой заспешили к выходу.

– Вот четверть пути проехали, за разговорами время бежит незаметно, – сказала Калерия. – А я выбралась на несколько дней на родину, отдохнуть немного, навестить друзей. День в Москве, а вечером на воронежский поезд. Я даже не помню, когда последний раз была в отпуске, работа, суета сует. А теперь ещё и бабушка двойняшек. Хорошие ребятки. Но совсем разные – близнецы. Мальчишки. Мечтала о дочке, да вот не судьба. После гибели Клима – это мой муж, военный врач – замужество было уже неактуальным. Может быть, внучку сын подарит попозже. Кстати, давайте познакомимся. Калерия. А вас зовут...

– Марина Александровна. Можно без отчества, так сказать на европейский лад. А у меня наоборот – одни девочки. Две дочери, да ещё их сестрёнка от первого брака мужа. Тоже в нашем кругу с детства. И свекровь, и муж их не разделяли, вместе девочки отмечали праздник, дни рождения, подарки всем трём, порой и отпуск проводили вместе на даче. Я рада, что девочки выросли дружными.

– Да, Марина Александровна, это не каждой семье удаётся. А жаль, голос крови, мне кажется, – это не литературная метафора. Тут нужна, как это сейчас говорится, толерантность что ли... Отказ от своих женских обид во имя детей. Это не каждая женщина сможет. Сколько случаев, когда покинутая женщина свою ненависть и обиду, как змеиный яд, вносит в душу ребёнку. Ненависть к отцу, неприятие его детей от второго брака.

Поезд уже набирал скорость, огоньки станции сменились заснеженными елями.

– Ненависть? Мои девочки уже были замужем. У старшей родился сын. Но восприняли они уход отца от меня по-разному. Младшая – Татьяна – сразу вычеркнула его из жизни, никакого общения раз и навсегда. А старшая – Ольга – в родительский конфликт не вмешивается – поддерживала и поддерживает и меня, и его. Может быть, потому, что в то время она сама уже была матерью. Давно это было, я всё уже пережила.

– Вот и Бологое, – сказала Калерия. – Пора по чашке кофе.

Проводник принёс им кофе, печенье. Они помолчали. Калерия смотрела на эту женщину с сочувствием: больше сорока лет прожить с мужем, вырастить двоих детей, дождаться внука и ... развод!

– А ваши дочери, как у них жизнь? Сложилась?

– Сложилась, сложилась, но по-разному. Вы знаете, – это сюжет для небольшого сериала. Если бы я была сценаристом, – она улыбнулась, – написала бы сценарии нескольких серий, но драматургическим талантом бог не наделил. Оля ещё на пятом курсе в университете вышла замуж за сокурсника, еврея из Нижнего Новгорода. Окончили университет, родился

Сенечка. Зять прошёл по конкурсу на двухгодичную стажировку в Штаты. Подхватили Сенечку и за океан. Тут Тата, она заканчивала филологический факультет университета, знакомит нас с женихом – студентом с журфака. Поженились. Тогда ещё не было этой новомодной манеры сожителства бойфренда с подружкой, как сейчас говорят, на одной подушке. Познакомились с родителями, сыграли свадьбу, Тарас переехал к нам. Он по отцу украинец. Отец военный, мать никогда не работала, по гарнизонам попутешествовала, пока муж не получил полковничью должность в Подмоскowie. Единственный сын, избалован, конечно. Но талантливый журналист, ничего не могу сказать. Мать не вылезает из кухни. У нас-то совсем другой быт был, с утра оба на работу, девочки в университет, кухня – постольку поскольку... Родилась Ксюшка – хохлушка, как её дед назвал. Почти одновременно Олюшка родила Сонечку в штатах. И появилась у меня третья внучка – американская подданная. Взяла отпуск, полетела через океан, понынчить внучку, помочь дочери. Вскоре они вернулись, зять по уши в бизнесе, то в Сибири, то в Южной Африке, то в Китае. Олюшка в академическом НИИ делает карьеру по административной линии. Тата поступила в аспирантуру, защитила диссертацию. Оставили её на кафедре в университете.

– Молодцы ваши девочки, не погрязи на кухне. У меня сын тоже защитил диссертацию, сейчас преподаёт в академии. Он военный. Жена медсестра, занимается ребятишками. Когда есть муж, тылы обеспечены, женщине не обязательно делать карьеру, – он так считает. Тылы – тылами, а когда приходит «груз 200», тут уж выбора не остаётся. Не дай бог такое пережить.

Калерия отвернулась к окну, чтобы её спутница не заметила увлажнившиеся глаза. Но она заметила.

– Как я вам, сочувствую, Калерия, – она по-матерински погладила ей руку. – Вы правы. Тылы... не всегда они надёжны. А где тонко, как вы знаете, – она вздохнула и несколько секунд помолчала. – Вот у Таты вроде бы всё срослось, семья, дочь-красавица. Это я не как бабушка, действительно, девочка с точёными чертами лица и фигуркой. На неё с детства все заглядывались. А тут ещё и радость Тате подвалила – в Сорбонну на полгода отправляют по обмену. И вместо радости – дикий скандал. Тарас ни в какую: или откажись, или развод. А у неё уже задел по докторской диссертации. И тоже упёрлась, никаких доводов не слушает. Развелись-таки после её возвращения. Тарас ещё Ксюшеньку хотел отобрать. Хоть здесь уговорили обойтись без суда, не травмировать девочку. Танюша любит Эйфелевой башней, а мы с Ксюшей – видом кремлёвских башен. У нас из кухни была видна кремлёвская стена. На рождество, их католическое, за месяц до окончания стажировки Тата прилетела в Москву: вся на подъёме, радостная такая, возбуждённая, глаза так и сияют. Ну, думаю, что-то будет... И предчувствие чего-то страшного. Не ошиблась. Собрались мы на семейный обед, она перед этим долго по телефону с Ольгой разговаривала... И тут мне и объявляет, что собирается замуж за своего коллегу, профессора итальянца,

он ей сделал предложение, и она согласилась! А главное – он на двадцать семь лет её старше. У меня кусок в горле застрял: «А как же Ксюша?». «Он знает. Ксюшу я с собой заберу. У них в семье ни одного ребёнка нет, а сам он даже женат никогда не был». Ну, что тут поделаешь? Как решила, так и поступила. Ксюшу, мы, конечно, не отпустили, со мной жила. В Москве кончила школу и университет. К матери только на каникулы летала. Через полтора года у меня появилась четвёртая внучка Зоя-Софи-Марина-Джульетта.

– Да вы богатая бабушка, вам можно только позавидовать: три внучки, внук.

– Можно позавидовать. Я готовлюсь к роли прабабушки. Недели через две внук планирует увеличить процент мужчин в моём внучатом окружении, ждём Павлика. Я иногда оглянусь назад, как время летит. Вроде бы совсем недавно девчонки в детсад ходили. А сейчас уже Олюшка будет бабушкой! Причем не такой уж молодой – 50 лет недавно отметили. Она у меня деловая женщина, заместитель директора по финансам в институте. Купила мне путёвку в Финляндию и Швецию, говорит: «Поезжай, отдохни, а то Павлушку на руках не сможешь удержать». Вот и посмотрела северные страны. Суровая красота, так холод и пробирает. Мне наша центральная полоса ближе. Дача у нас была с мужем, дачный кооператив. Четверть дома, участок маленький, две сотки, под цветы. А вокруг сосны и ослепительное небо. Я много где была – и по России, и за границей, но вот как вспомню этот вид утром, на зорьке или на закате, – сразу сердце щемит. Ностальгия. Пришлось продать при разводе, молодожёнам нужно было квартиру покупать. На нашу он не претендовал, забрал машину, вещи, деньги ...

Она замолчала, глядя в окно на мелькающие деревья, безжизненные, мирно спящие под толстым снежным покровом. Проехали Клины.

– Что-то я разговорилась сегодня. Знаете, так иногда бывает. Встретишь человека – и хочется с ним поделиться, поговорить о жизни. Я, как вы понимаете, не одинока. В Москве, правда, живу одна. Но Оля рядом, чуть что, – присылает машину, у них коттедж, еду туда на недельку другую. То внук забегит. Но они все в делах, работе, всё бегом...

– Да, сейчас ритм такой, круговерть сплошная. Иной раз на работе просто передохнуть некогда. Люди, люди... Каждый со своим вопросом. Нужно уметь переключаться. В такие дни приходишь домой... Одна. Никто не дёргает. И думаешь, – какое счастье. Ну, а молодёжь, – у них своя жизнь, свои заботы. У меня хороший сын, ничего не могу сказать. А была бы дочка, – думаю, – всё-таки она ближе к матери.

– Да, мне моей младшей часто не хватает. Конечно, была бы в Москве... Мне грех жаловаться, я раза три в год летаю к ней в Париж. Но «всё же, всё же, всё же», – как сказал поэт. А теперь вот, – она вздохнула, – и Ксюша моя за тридевять земель, вернее, океанов. Окончила университет, поехала к матери, познакомилась с венесуэльцем... И пожалуйста, у нас новый член семьи, на сей раз из Латинской Америки. У него, правда, испанские корни по отцу, но мать венесуэлка. Родят мне правнучку или правнука, придётся и

туда лететь, если доживу, конечно. В Латинской Америке мне ещё бывать не приходилось.

– Ещё побывааете, Марина Александровна, думаю, не раз. А от смешанных браков обычно красивые дети рождаются и умные. А у вас-то что ни ребёнок – сплошной интернационал.

– И вы тоже заметили,– она улыбнулась.– Это мой внук меня так и называет: «Ты, бабушка, у нас – четвёртый интернационал».

Поезд затормозил у перрона.

– А вот и он, – и она помахала рукой высокому юноше в незастёгнутой куртке с курчавой чёрной шевелюрой,– Спасибо вам, Калерия. Быстро доехали за разговорами. И знаете, я как-то отдохнула душой. Выговорилась что ли. Всего Вам доброго, удачи.

Соседка легко встала и быстро направилась к выходу. Калерия, не торопясь, достала сумку, посмотрела ей вслед: «Четвёртый интернационал. Вот она, судьба постперестроечной России. – Вспомнила сына, ребятишек. – Слава богу, мы все русские! И в России!».

PS: **Четвёртый интернационал** – коммунистическая международная организация, альтернативная сталинизму. Интернационал был учреждён во Франции в 1938 году Троцким. Базируется на теоретическом наследии Льва Троцкого.

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА

– Елена Ивановна! – позвонила секретарь. – Посетитель по вашему профилю.

Быстренько взглянув в зеркало и «подновив красоту», как говорят французы, я спустилась в холл. В центре дивана вальяжно полусидел-полулежал мой клиент, безнадёжное дело которого я с треском проиграла, вопреки всем стараниям и ухищрениям. То, что он пришёл снова, – обнадеживало.

– Борис Сергеевич! Здравствуйте. Рада вас видеть. Хорошо выгля...,– я запнулась на полуслове. – Что с вами? Попали в аварию?

На его лысой, как у московского мэра голове, от затылка до бровей тянулись пять багровых полос с кое-где ещё не сошедшими струпами запёкшейся крови, а около левого глаза, когда я внимательно взглянула на посетителя, желтело пятно от недавнего фингала. Он легко поднялся, несмотря на свои семьдесят четыре года, галантно склонился в полупоклоне, поднеся мою руку к губам и, саркастически улыбнувшись, как всегда бодро, произнёс:

– Попал, дорогая Елена, попал в аварию. Да в какую! Двенадцать лет тому назад. Вы же всё знаете. Сейчас воспроизведу картину аварии.

Мы поднялись на второй этаж ко мне в кабинет.

– Чай, кофе, коньяк?

– Текилу, коньячок бы... Но, увы! за рулём. Ответчица больше не возит. Приходится самому крутить баранку. А от чашки кофе не откажусь.

Я позвонила офис-секретарю.

– Два чёрных двойных, Милочка, мне как обычно. Борису Сергеевичу три куска сахара.

Он снова улыбнулся, обнажив белоснежный ряд вставных зубов:

– Продолжаю излишествовать. В детстве десять ложек сахара в стакан чая сыпал. Белый яд, видите ли...

Что-то, а излишествовать он продолжал, – это точно. Шестидесятилетие отметил третьей женитьбой на тридцатишестилетней «хохлушке», как он её называл. И очень гордился тем, что был на восемь лет старше её матери. А спустя десять лет и отметив на широкую ногу очередную юбилей, поскользнулся и сломал ногу. Вот тут-то «хохлушка» и заговорила о квартире. От завещания она отказалась, опасаясь претензий со стороны его двух сыновей и дочери от второго брака. И он подарил ей свою трёхкомнатную квартиру в старинном доме на Чистых прудах. А два года спустя его «хохлушка» («Я её всегда звал «Галю моя Галю») подала на развод, вылив на суде на него ушат помоев. Несчастливая «Галю моя Галю» пожаловалась судье, что он замучил её обязанностью несколько раз в неделю исполнять супружеский долг, да ещё и частенько изменял ей. Стоило ей уехать на несколько дней, как по возвращении она обнаруживала на их супружеском ложе то забытую шпильку, то длинные чёрные волосы. Рассказывая мне о суде, он, горделиво улыбаясь, произнёс, что при этих словах и мировой судья, женщина лет сорока пяти, и молоденькая секретарь суда одновременно взглянули на него «с интересом». А мне, помнится, с большим трудом удалось сдержать усмешку. Но «la noblesse oblige» (положение обязывает) я взглянула на него с нескрываемым восхищением.

Поставив чашку кофе на стол, сказала сочувственно:

– Ну те-с, вернёмся к аварии. Что же произошло?

– Ах, дорогая Елена Ивановна, я унижен, избит... Как говорят ваши уголовные подопечные, «опущен».

При последних словах я с изумлением взглянула на собеседника, ожидая таких подробностей, от которых...

– Да нет, не в этом смысле. Много хуже. Меня, заслуженного профессора, члена – при этих словах он сделал длинную многозначительную паузу, – многих академий, исцарапали, избили, избили жестоко, до сотрясения мозга...

Тут я профессионально прервала его:

– Милицию вызывали? Травмпункт? Бюллетень, надеюсь, взяли...

– Конечно, конечно. И милиция, и травма, и бюллетень о сотрясении мозгов на две недели... И свидетель есть.

Я воспрянула духом.

– А теперь всё медленно, без эмоций, до мельчайших подробностей.

– Понадобились мне кое-какие наброски и книги из библиотеки. Поехал к себе, так сказать, домой. Иду. На лестнице встречаю соседа, разговорились. Он мне и посоветовал одному не заходить. «Уж больно крута, говорит, твоя бывшая». Как предчувствовал. Позвонила. Открыла «Галю моя, Галю». Выходит в шёлковом кимоно, я ей его в Тайланде тогда купил. Вошли мы в прихожую, я первый, сосед за мной. Увидела, что нас двое, да как закричит на соседа: «А ты что припёрся? Это частная собственность! Тебя кто звал? Во-оо-он!». Руками выталкивает его на лестницу, и дверь захлопнула. Тут её третий муженёк вываливается из комнаты в моём махровом халате. Я его из Англии привёз.. Она на меня бросается, когтищами своими расцарапала мне весь фейс, кровь потекла, я защищаюсь, руками закрываюсь, а этот её козёл меня ударил в пах так, что я упал и сознание потерял, головой ударился о шведскую лестницу. Она перепугалась. Скорее меня водой брызгать... А сосед не ушёл, стоял на лестнице. Понял, что дело плохо, вызвал милицию. Ребятки быстро сработали, минут через пять подъехали. Только они меня волокут к двери, чтобы вышвырнуть на лестницу, а тут и наряд. Молоденькие такие ребята.

Во время его рассказа я частенько покачивала головой, выражая возмущение действиями этой хохлушки и её муженька. Но в душе всё ликовало и пело. «Членовредительство, свидетели, корысть... От двух до пяти. Мелким хулиганством, дорогуша, не отделаешься... А уж как засветит женская колония... так сама отдашь ему квартирку, лишь бы заявление из суда забрал».

Уж больно мне было обидно, когда я проиграла это дело. Конечно, оно было проигрышным изначально. Но ведь были особые обстоятельства. Письмо любовнику, в Америку, где «Галю моя Галю» звала его вернуться в её лоно на правах супруга, благо, что «жить теперь нам есть и где, и на что». Там она в красках описывала, как мой клиент – её «воночий козёл» – её на работу устроил и как она обделала, наконец, дела с квартирой. Было письмо от матери, в котором та хвалила дочку за правильные методы и благословляла на развод. Была справка из банка, где мой клиент выступал её поручителем, когда семья приобретала иномарку. Было распоряжение Бориса Сергеевича ежемесячно списывать деньги с его счёта для оплаты кредита. Всё было за него, так называемые «вскрывшиеся обстоятельства» для того, чтобы отозвать дарственную. Ан нет. Судья Гапеенко встала на её сторону, ничто не принимала в расчёт, голос крови что ли заговорил или женская солидарность. Ну, никакие доводы не подействовали. «Ваше право проживания в этой квартире неприкосновенно до конца ваших дней», – твердит как попугай, и всё тут. Хорошо хоть нервишки сдали у этой хабалки. Теперь-то уж доиграются молодожёны.

Он продолжал.

– Милиционер спрашивает, что происходит, я ему паспорт с пропиской, сосед добавляет краски, как они меня изуродовали. Муженёк её сразу в

комнату спрятался и носа не показывает. Вызвали его, проверили паспорт, а у него уже квартира в Новогиреево однокомнатная куплена. Я стою, весь в крови, чуть ли сознание снова не теряю. Милиционер вызвал себе подмогу. Её предупредил, что я имею право появляться здесь, когда хочу, с кем хочу и жить столько времени, сколько посчитаю нужным. Когда приехал капитан милиции, наряд уехал, а он ещё долго составлял акт. Она стоит – ни жива, ни мертва, вся в слезах, иногда делает вид, что ей плохо, а он всё пишет и пишет. Мне посоветовал сразу же сходить в травмпункт по месту жительства. Вот так-то, Елена Ивановна. Прошла любовь, завяли помидоры.

– Помидоры помидорами, а вот от двух до пяти женской колонии весьма реальны. Так что документы привозите. Готовим иск. На сей раз уже не к мировому судье, а по уголовному делу.

Он вздохнул.

– Неужели от двух до пяти?

– Да, – я назвала статью УК. – Но вы всегда сможете проявить благородство. Мировое соглашение, переговоры, забираете заявление. Но стоит ли? Порок должен быть наказан.

– Ну, что ж... Карфаген должен быть разрушен. «Старый вонючий козёл» бросается грудью на амбразуру.

Я проводила его до выхода.

– Елена Ивановна, вас ждут, – сказала Милочка.

С кресла поднялся худощавый бледный мужчина лет пятидести пяти, правую щеку которого украшал рваный шрам. Редующие аккуратно подстриженные волосы открывали высокий лоб мыслителя.

– Пойдёмте, – пригласила я его.

Он взял шляпу и пошёл за мной. Закашлялся.

– Чай, кофе? С сахаром, без?

– Чёрный двойной кофе, если можно. Без сахара. Диабет не за горами.

Милочка быстро поставила поднос на стол.

– Представьтесь, расскажите, что случилось.

Он отхлебнул глоток и заговорил хорошо поставленным голосом. Мягкий баритон с чёткой дикцией завораживал.

– Случилось страшное. Я, учитель русского языка и литературы, стал бомжём.

– То есть? Вы не прописаны в городе?

– Да нет, прописан, конечно. Только вот дочь... – он как будто поперхнулся и на несколько секунд замолк, – старшая дочь ... Я ей так доверял, а она...

Опять последовала затянувшаяся пауза.

– Конечно, по-человечески я могу её понять. Видите ли, нас с женой развела теща, сын у неё был из неудавшихся. Пил, жил то с одной, то с другой женщиной. А дочь, когда вышла за меня замуж, переехала ко мне, в однокомнатную квартиру. Родили погодков – старшую Ольгу и младшую Веронику. Пока дети были маленькие, теща нас не слишком беспокоила. Дескать, есть вторая бабка, пусть она и помогает. А что помогать? Я на двух

ставках работал, да ещё читал лекции по педагогике в обществе Знание, с Ильиным его методики внедряли. Денег на жизнь хватало, жена не работала, пока Нике не пошёл третий год. А тут началось. Сначала звонки от тётчи: Мне плохо, доченька, приезжай, переночуй у меня. Сначала переночуй. Потом поживи три дня, потом недельку. Дошло до того, что однажды жена приходит ко мне и говорит: «Игорёша, мамочка очень больна. Она одна не может жить. Надо что-то делать. Может быть, я перееду с детьми к ней, а к тебе буду приезжать иногда ночевать? Да и ты будешь посвободнее». Меня как обухом по голове. Я ей: «Славочка! Её Бронислава зовут. Но у нас же семья, дети. Ты так представляешь себе семейную жизнь? Собачьи случки по расписанию?». Она в слёзы: «Я тебя люблю, но бросить умирающую мамочку не могу». Забрала детей и утром уехала. А «умирающая» мамочка вот уже тридцать лет как прошло, а всё умирает, никак умереть не может.

Я взглянула на него. Он сидел с опущенными глазами, его бледные щёки чуть порозовели, чувствовалось, что ему очень тяжело были эти воспоминания. «Ох, уж эти тётчи, – подумала я. – Не дадут жить ни дочерям, ни зятям. Неужели и меня когда-нибудь зять будет так ненавидеть?».

– Я не ангел, конечно, да и никогда им не был, но ... Впрочем, никогда не жалел, что поступил по-мужски. Не хочешь жить семьёй, хорони свою жизнь под мамочкой. Вот только с детьми так тяжело было расставаться. На суде чуть было не заплакал. Слава-то моя ничего не умела, а у меня мать была педиатром, меня учила, как растить детишек. Я девочек и купал, и подмывал, и молочницу сам лечил... Прошло недели три, я не звоню, она тоже. Потом позвонила, говорит, приду переночевать, соскучилась. А я ей: «Поздно, дорогая, я живу с другой женщиной». Соврал, каюсь. Но раз решил, то вперёд пятками не хожу. Это позже я женился второй раз. Приехал к матери в Вышний Волочок, да и встретил свою школьную любовь, она после школы в Клину работала. А тут проклятая перестройка грянула. Жена без работы, зарплату задерживают, долги по алиментам. Подумали-подумали, да и уехали к ней в Клин, там её взяли воспитательницей в детский сад, где она раньше работала, а я перебивался случайными заработками, то корреспондентом в районной газетёнке, то учителем в вечерней школе. Особенно не разгуляешь, но с голода не умрёшь. Когда моя мать умерла, продал я её квартиру в Вышнем Волочке, рассчитался с долгами по алиментам. Девочки пошли учиться, обе в институт. Сдавали квартиру за двенадцать тысяч, десять им, две мне присылали. А однажды Ольга приехала, говорит: «Папа, давай приватизируем квартиру». Она у меня была прописана, Ника у матери с тётчой в трёхкомнатной. Слава-то от матери не выписывалась никогда. А мы так и договорились, что первого ребёнка я пропишу к себе, а второго – она к себе на площадь. И говорит: «Ты сейчас болен, тебе трудно ездить в город. Ты мне дай доверенность, я приватизирую на двоих в совместное пользование». Я в это время проходил реабилитацию после инфаркта, плохо себя чувствовал, но пошёл к нотариусу. Она уехала и молчок. Ну, и я не волнуюсь. А тут очередная беда. Попали мы с женой в аварию. Ехали на маршрутке, да пьяный водитель врезался на Камазе. Маршрутка

перевернулась. Я-то отделался лёгким переломом руки, да вот шрам на лице на память остался, а у жены переломы позвоночника в шейном и грудном отделе, сотрясение мозга. Помучилась месяца три, да и оставила меня одного на этом свете. Вернулся я в Петербург, устроился на работу в гимназию, посмотрел на квитанции, квартира вроде бы не приватизирована. По телевизору всё время твердят: срок бесплатной приватизации заканчивается. Звоню, теща со мной говорить не хочет: «Ольга здесь не живёт, телефон не знаю». Знает, конечно. Не через милицию же разыскивать собственную дочь! Подумал-подумал, нашёл её в Интернете на сайте «одноклассники», там и мобильный телефон был. Позвонил, а она мне в ответ: «Ты, папа, не беспокойся, я квартиру приватизировала ещё тогда, просто в жилконтору документы не сдавала». Пять лет не сдавала! Я ей и говорю, так нужно сдать, там же квартплата другая, да и вообще, действительны ли они, привези мне документы посмотреть. А она мне в ответ: «А зачем они тебе?». Так и не привезла.

– Так у вас есть или нет документы на приватизацию, Игорь Петрович? В чём проблема?

– Документов нет, но вот месяца через два после этого разговора получаю счёт из жилконторы на имя Павловой Ольги Игоревны, а не на моё. Задумался, съездил в ГБР за выпиской. Получаю, а она там единственный правообладатель! А я, выходит бомж в собственной квартире. Её мне моя матушка выменяла, разменяв свою четырёхкомнатную квартиру на эту для меня и однокомнатную для себя в Вышнем Волочке. А главное, такой удар от дочери! Конечно, подумав, я пытаюсь её оправдать. Может быть, увидела меня больного, решила, что умру скоро. А ей зачем лишние хлопоты, делиться с Никой. Но всё равно простить не могу. Думал-думал, решил обратиться к юристам. Есть шансы, Елена Ивановна? Или поезд ушёл, а следующий ждёт меня. Под поезд, и никаких проблем?

Я посмотрела в глаза этого страдальца, так мне его стало жаль, но как говаривал Дзержинский, адвокат (правда, он говорил про чекистов) должен иметь чистые руки и холодное сердце.

– Игорь Петрович! А какой документ вы подписывали у нотариуса?

– Доверенность.

– Только доверенность? Больше ничего?

– Да одну доверенность.

– А нотариально заверенного отказа от приватизации не подписывали?

– Нет, об этом и речи не было. Оленька говорила про приватизацию на двоих, в совместное пользование.

– А слово «генеральная» случайно не звучало?

– Не помню, плохо себя чувствовал, давление было высоким. По-моему, нет.

– А нотариус вам ничего не разъяснял?

– Нет, ничего. Только спросила, кем приходится мне эта женщина, так как мы на одной фамилии. Я сказал, что дочерью. Она и говорит, что дочери дам доверенность, а жене не дала бы.

«Ну и стерва, твоя доченька, – подумала я. – Заговорила тебе зубы, а ты и раскис, подписал генеральную доверенность». Но убивать его сразу не стала.

– Эти дела о восстановлении права на приватизацию суды обязаны рассматривать в соответствии с Гражданским кодексом. Шансы есть. Для начала напишем заявление в прокуратуру о мошенничестве, заодно прокурор проверит и всё приватизационное дело. Вы не расстраивайтесь преждевременно. Вы в этой квартире прописаны, следовательно, без вашего согласия продать её правообладательница не сможет. А с прописанным жильцом квартиру вряд ли кто купит. Кому захочется иметь лишние проблемы, тем более квартира однокомнатная. Дочь лишила вас только права собственности, то есть вы не можете завещать свою долю, например второй дочери. А в случае вашей смерти (не дай бог, конечно, и дай бог вам здоровья!) ваши родственники не смогут претендовать на долю в наследстве. А божь – это к вам не относится ни в коей мере. Но поборемся в суде. Готовы?

– Всегда готов! Ох, уж эти женщины!

Он первый раз за всё время улыбнулся. Улыбка была у него широкой, открытой и доброй. Я тоже ободряюще улыбнулась ему в ответ.

Прошло два года. Накануне 8-го марта мне позвонил Игорь Петрович, он никогда не забывал меня поздравлять с праздниками. Я вспомнила оба дела. Мои победные дела. Решились они семейно, так сказать «полюбовно». Испугавшись маячившего призрака женской колонии, «Галю моя Галю» «подарила» Борису Сергеевичу его квартиру на Чистых Прудах в обмен на «откупную» в размере пяти миллионов – он купил ей однокомнатную хрущёвку в Бибирево. А Игорь Петрович стал собственником половины доли в своей квартире, якобы «купив её у дочери». По моему совету (зло должно быть наказано) он тут же завещал свою долю младшей дочери Нике.

– Елена Ивановна! Вас ждёт клиент, – позвонила Милочка.

– Что на сей раз?

– Как обычно: отзыв дарственной.

«Ох, уж эти женщины!» – мысленно произнесла я, спускаясь в приёмную.

Калягин Николай Иванович



Прозаик, историк русской поэзии. Родился в 1955 году в Ленинграде. В середине 80-х годов в рамках тогдашней "второй культуры" (К. М. Бутырин, Н. П. Ильин, и др.) печатался в журнале "Обводный канал".

Позже печатался в журналах и альманахах "Москва", "Нева", "Постскриптум", "Странник" и др.

Главные книги: "Сказки и истории" (печатается в «Новом русском Журнале») и "Чтения о русской поэзии" (издана в 2016 г.)

Сказки и истории

Коричневая и красный
(сказка)

Бедный художник (рассказ)

Коричневая и красный

(сказка)

В Москве белокаменной жил-был купец, вышел однажды на базар и купил канарейку за пятьдесят рублей.

Канарейка прожила два года у купца – в золоченой клетке сидела, по жердочкам скакала, песни распевала. Бывало, натрусит ей купец в кормушку канареечного семени, муравьиных яиц, подольет свежей воды в поилку, бросит на дно клетки пучок сочной травы-мокрицы – и сидит, утешается, на свою певунью любитесь.

Канарейка два года прожила у купца и состарилась, петь перестала. Прожила еще год на полном довольствии; тут стали у нее перья падать, начала бедная пташечка лысеть. Полгода еще прожила и околела.

Купец погоревал, потужил, вышел опять на базар и купал новую канарейку, лучше прежней.

Вот что произошло в Москве.

А в городе Ленинграде на последнем этаже проживала семья Князевых из двух человек: Николай Степанович Князев и Люба, его жена. Оба пожилые.

Они жили неплохо. Особенно не болели и материально не нуждались (один Николай Степанович получал вместе с пенсией триста рублей в месяц), единственную дочку выдали замуж за военного, за офицера... Да что там говорить, хорошо жили!

И квартирка была у них чудная – светлая, уютная. А что этаж последний, так это еще и лучше: не так слышны машины с улицы, меньше пыли, верхние жильцы над головой не топают, не стучат, И только одно плохо: замучил потолок. На кухне почти что каждый год случались протечки.

Хорошего очень мало. Приходишь утром ставить чайник, а на потолке вот такое пятно, еще и капля эта висит посередине, набухает – жди, когда она тебе за шиворот упадет.

А с другой стороны, на то она и кухня – здесь и белье сохнет, и все, что хочешь; на кухне, как ни старайся, все равно немножко заводится сырость. Поэтому Люба особенно не страдала из-за протечек, притерпелась.

В 198... году выдалось дождливое лето, в августе месяце произошла первый раз протечка у них в комнате. Люба поставила таз – по ночам капли в этот таз барабанят, на нервы действуют. В воздухе сырость, постель сырая... Не отдохнуть!

Наконец погода наладилась, стало понемногу пригревать. В том углу, где была протечка, побелка высохла в форме большого пузыря, по сторонам от пузыря немножко пошли трещины. Николай Степанович принес с работы алебастр, расковырял пузырь и все замазал алебастром – замазал все трещины. Потолок побелил заново.

Когда в следующий раз пошел дождь, то уже протечек не было. Легли спать, и ночью рухнул огромный кусок штукатурки, практически целый угол обвалился. Николай Степанович полез наверх, посветил в дыру фонариком, голову туда сунул – и махнул рукой. Говорит: дна не видно. Сел на стремянке на верхнюю ступень и закурил с горя. Никогда дома не курил, выходил на лестницу, а тут с горя закурил.

Люба с утра пораньше побежала в жилищное управление, там ей говорят: хорошо. Мы вашу заявку приняли, ожидайте теперь рабочих. Но быстро ничего не будет, потому что очень много заявок. Строения по вашей улице старые, находятся в аварийном состоянии. А у нас кровельное железо лимитировано, и уволились два кровельщика.

Люба говорит: я все понимаю. Но мы же не можем так оставаться. В потолке дыра, течет из нее, дует... А что будет осенью?

Мы все понимаем, говорят ей, но мы сейчас не можем ничего сделать. На этот год вообще еще не поступало кровельное железо. Но мы вас будем иметь в виду, безусловно. Мы вам сделаем, рано или поздно. Но у нас есть и такие, у которых протекает очень давно. Три года есть и даже больше. А вашу заявку мы приняли, не беспокойтесь об этом, – я все записала. Ожидайте рабочих.

Люба поблагодарила. На улицу вышла, смотрит – дождик начинается. Побежала скорее домой, поставила таз на привычное место. Днем зашла соседка. Увидала таз и посоветовала:

– Подавайте на них в суд.

– Да они не отказываются, – Люба ей объясняет. – Они сделают, только у них сейчас нет железа.

– Правильно, – говорит соседка. – Они вам сделают, и сделают бесплатно: они обязаны, только просто так они не станут ничего делать, у них там свой список, они его могут выполнять десять лет. Их зарплата от этого не зависит. А вы подавайте на них в суд. Суд их обяжет, и они сделают.

– Ох, не знаю я, не знаю. Никогда мы клязумами не занимались, а ты мне предлагаешь на старости лет клязу написать.

– Никакую не клязу, Люба. Наоборот, они смогут что-то потребовать от городских властей – железо то же самое, – когда у них на руках будет решение суда. Нет, Люба, тут думать нечего.

Николай Степанович в это время был в бане. И что-то долго его не было на этот раз, и Люба все сидела и ждала его, и все больше ей нравился совет соседки.

Когда Николай Степанович вернулся из бани, то он в первую минуту не захотел даже слушать про суд. Тогда Люба сказала:

– Тебе виднее, но так жить три года под открытым небом, как они сказали, – я этого не выдержу. Я раньше с ума сойду, – и прослезилась даже.

Тогда Николай Степанович уступил.

– Только сначала сходи, – поставил свое условие, – и предупреди людей.

– Но им же ничего не будет! Им из-за нас железо дадут, им только лучше...

– Нехрен исподтишка нападать.

Люба побежала.

– Здравствуйте, – говорит технику, – это опять я. Надоела вам, наверное? Нам тут посоветовали подать на вас в суд – вы ничего не имеете против?

Техник молчит. Достала с полки скоросшиватель, очки надела, перебирает какие-то квитанции, бланки.

– Вы же понимаете, это мы не против вас, а просто нам посоветовали, что так будет побыстрее...

Тогда из-за фанерной перегородки вышел старший техник, мужчина лет тридцати, оглядел Любу с головы до ног, прищурился и говорит:

– Дело ваше.

– Вы-то поймите меня: невозможно три года жить с этим... без потолка. Вы ничего?

– Абсолютно.

– Тогда мы подадим... И вот еще я надумала: написать, может быть, насчёт лифта? Чтобы лифт наконец поставили. Ведь у меня муж с больными суставами, ниже этажом – старушка больная, подниматься совсем не может... Заодно уже, а?

– Как хотите.

– Тогда я напишу. Спасибо!

– И побежала в суд, потом в юридическую консультацию – там ей показали, как правильно составить заявление, – оттуда опять в суд... Закрутилась машина! Наконец все бумаги приняли, на четырнадцатое октября назначили заседание.

В конце сентября зарядили дожди. Люба тряпку из рук не выпускала, тазами гремела; Николай Степанович в это время гостил у тещи в Калининской области. Каждый год туда выбирался на две недели – и отдохнуть, и по хозяйству помочь, и за грибами... Уважал деревенскую жизнь.

И ведь что интересно: сам в Ленинграде родился, и отец его, и дед – все отсюда, все городские, а города совсем не любит, здесь для него «плохой воздух». Любу, наоборот, из городской квартиры калачом не выманишь в деревню – туда, где она родилась. «Что я там буду делать? Комаров кормить? Пусть лучше мама к нам переезжает», – весь разговор. Упрямая ужасно.

Восьмого октября солнышко выглянуло, подул южный ветер, и постепенно установилась погода – наподобие майской, но только в два раза лучше. Благодать, растворение воздушных масс.

В комнате три дня стекла запотевали, шло испарение. Когда потолок подсох, новые куски штукатурки упали – один угодил прямо на обеденный стол, разбил любимую Любину чашку. Уж на что Николай Степанович не хотел суда, все чего-то боялся, а тут сказал:

– Скорей бы. Надоело. Не жизнь это.

В день суда встали пораньше. Николай Степанович побрился и попросил у Любы новую рубашку. «Полагается в новой», – говорит в шутку, а Люба не поняла. «Можно бы и в старенькой», – говорит. – Лишь бы чистая была – и ладно». – «На море когда тонуть собираются, то моряки надевают новые рубахи».

Люба когда поняла, то рассердилась на Николая Степановича. «При чем тут море? – сказала. – Море-то при чем? Тоже мне, моряк выискался». Тут уже Николай Степанович обиделся. Ничего не сказал, оделся поскорее и ушел на лестницу.

Люба тогда заторопилась за ним и, выходя из квартиры, споткнулась. Полетела через порог – разбила руку.

В суд пришли – в приемной секретарь рассказывает какой-то дамочке про своего кота: «Наш Барсик ест одну только свежую рыбу, представляете, какой ужас?» А дамочка печально так отвечает: «Мой рыбу вообще не ест». – «Каков подлец! Чем же вы его кормите?»

Люба покашляла.

– Вот и истица, – секретарь говорит. – Истица и истец. Идите.

Секретарь – девчонка, на вид лет восемнадцати. Конечно, малосерьёзная. Но дружелюбная, неплохая. Люба уж ее достаточно изучила, пока оформляла бумаги.

Повела их в зал: «Вот на эту скамейку. Здесь садитесь».

Сели. Скамейка простая деревянная, жесткая. Неудобно на ней.

С самого начала Люба вся извертелась: то так устроится, то по-другому – рука одинаково болит во всех положениях. Взяла у Николая Степановича платок (свой в спешке забыла захватить, а лежал ведь приготовленный), замотала руку... Нет, не проходит.

Зал довольно большой, людей – никого, и только впереди далеко сидит старший техник из жилищного управления. Голову наклонил на грудь, ноги вытянул уютно и так иногда поклевывает носом. Под ним скамейка поставлена боком, отдаленно от других, и он весь на виду.

– Это что, скамья подсудимых? – Люба взволновалась. – Вот это и есть?

А Николай Степанович застонал немного и говорит:

– Почему они не начинают? Невозможно терпеть. Здесь воздуха совсем нет.

– Сейчас, сейчас, – Люба по руке его поглаживает. – Тут быстро.

Наконец двери распахнулись. Секретарь, девчонка эта, побежала вдоль скамеек: «Встать, суд идёт!» – у Любы от волнения все перед глазами прыгает.

Кое-как скрепилась, начала слушать, смотреть. Что-то читают, но разобрать ничего нельзя, все слова какие-то глупые. И что-то много судей сидят за столом: сразу три судьи – и все трое уставились на Любу! Читают и читают и смотрят, смотрят... И только когда они закончили читать, до Любы вдруг дошло – это же ее заявление читали. Люба от стыда чуть не сгорела, а ей сразу: «Встаньте». Не дают передышки! «Встаньте». Вот мука-то. Да если бы знать заранее, как эти суды у них устроены, что всё тут перед посторонними, перед чужими людьми...

Встала Люба.

– Вы о чем думали, когда писали это заявление?

Там такое возвышение и стол, где эти судьи находятся. Но мужчина только один – морской офицер в красивой черной форме. И одна женщина,

судья, очень красивая: черные волосы и такое лицо... вот как раньше делали у кукол – как фарфоровое. И глаза синие-синие! Очень приятная женщина... И та дамочка, смешная немного, у которой кот рыбу не ест, сидит посередине – она-то и задаёт Любе вопросы.

– Вы думали, что вам после суда лифт поставят скоростной, крышу покроют медью... Да? – Люба молчит. – Как вы думаете, какое у нас государство?

– Господи, да не знаю я ничего, – Люба говорит. – Вам лучше знать.

– Государство у нас народное. Наше с вами. И если бы у государства были лишние деньги, оно бы вам крышу покрыло, я не знаю... золотом покрыло. Но, к сожалению, на все наши прихоти денег у государства не хватает. Существует планирование, существуют четкие приоритеты. Оборона, здравоохранение, защита детства – да? Для обычных граждан – для вас, для меня, для заседателей наших народных – существует обычная, скучная очередь. На очередь вас поставили. Вы согласны? Признаете вы это?

Хоть бы кто-нибудь заступился... Черноволосая женщина села боком, голову рукой подперла и глядит в потолок. Все-таки странные у нее глаза: чуточку стеклянные. Офицер намного живее, приятнее. Такой прямой взгляд, чистый лоб, лицо открытое – настоящий моряк...

– Так вы признаете, что на очередь вас поставили?

Люба помялась, потом говорит:

– Сказали, что не будут сейчас делать. Им не дали железа.

– Другими словами, вас попросили подождать, а ждать вы не хотите. Хотите сразу.

– Сразу... ну, как? Не три же года.

– А вы знаете, сколько стоит сейчас ремонт дома? – судья спрашивает. – Вашему РЭУ дали на год денег вот столько, – тут она отметила на своем мизинце полногтя и показывает это Любе, – где же они возьмут остальное? В Армении землетрясение, вы знаете... Казна-то одна.

– Я все понимаю. Действительно. Но с другой стороны, вот вы сами скажите, только честно: разве можно жить без потолка?

– Принцип распределения вам известен, – судья говорит устало. – Каждому по труду, да? Вы же не космонавт, не Герой Советского Союза. То, что вам положено по закону, вы получите... Вы как, собираетесь чинить им крышу? – к технику вопрос.

Техник головой кивает и сопит носом: фр-р-р, фр-р-р.

– Кто там поближе сидит, толкните его хорошенько.

Но техник уже встал, раскрыл папочку, которая была у него с собой принесена, прочистил горло:

«Коллектив ремонтно-эксплуатационного участка номер шесть за истекшее полугодие... бу-бу-бу... на два рационализаторских предложения больше, чем за весь предыдущий период... бу-бу-бу... несмотря на объективные трудности, отмеченные выше... бу-бу-бу, бу-бу-бу... вручением переходящего знамени!»

– Все ясно, – судья говорит. – Садитесь. У кого-нибудь ещё будут вопросы?

Черноволосая женщина тут встрепенулась.

– Если позволите, я бы добавила несколько слов.

– Конечно. Мы вас слушаем.

– Просто пришло в голову, пока вы тут... пока вы дискутировали. Не знаю, может быть это и не относится впрямую к теме нашего сегодняшнего заседания, но я бы так сформулировала: деньги – да, пусть это будут деньги и так далее, но не в этом ведь самое главное. Традиции нашего великого города, вот эта Культура Ленинградская – вот это мы обязаны сохранить любой ценой. Просто сохранить. Этот город и его культуру. В этом всё.

– Понятно. Вопросы к истице будут у вас?

Черноволосая женщина мягко так улынулась, чуть-чуть, и говорит с грустью в голосе:

– У меня нет вопросов к истице.

– Тогда...

– Вы знаете, у нас в Пушкинском работает замечательная совершенно девочка, Миля Хусаинова, – она приехала Бог знает откуда в Ленинград, она устроилась простым дворником сначала, – но этот человечек пишет такие стихи, пытается лепить... Да она просто счастлива, что присутствует при этом пиршестве, ходит по этим камням.

– Немного мы отвлеклись?

– Потерпите чуть-чуть, я скоро закончу. А этих людей, которые приезжают к нам, чтобы быть, извините, поближе к колбасе, – их я не считаю своими земляками. Разве они могут понять, что значит Ленинград? Да они плюют на все эти уникальные традиции, Я бы так сформулировала: для них один продуктовый магазин важнее трех наших революций. И все это идет от них, я вас уверяю: это бескультурье, в котором мы тонем, эта грязь на наших улицах, эти семечки, эти...

– Все ясно, спасибо. Вопросов больше нет у вас? Заканчиваем?

– А мне ясно, что вы не до конца поняли мою мысль. Партия и правительство всё делают для сохранения ленинградской культуры, последнее отдают, – но ведь никаких средств, вы меня извините, не хватит, когда эти люди считают себя вправе ломать скамейки в исторических парках. Или вот довести свое жилье до вопиющего антисанитарного состояния, как это сделали наши сегодняшние горе-истцы, а потом еще рыскать по судам, искать виноватых...

– Может быть, у вас будут вопросы? – на другую сторону поворачивается судья.

Светлолобый моряк вздрогнул, потом весь напряжился, потом вдруг выпалил по-военному:

– Работать надо! Тогда все появится: дворцы, фонтаны, золотые унитазаы. А клюзы строчить – самое последнее дело. Вопросов у меня нет.

Двойного нападения Люба почему-то не ожидала. И так ей стало обидно, прямо до смерти. «Этому-то я что сделала? Зачем он так?»

– Может быть, – говорит дрожащим голосом, – вы живете без крыши сами, поэтому вы к нам так строго... Но мы привыкли с крышей, извините, – и всхлипывать начала. Рукой махнула, села.

А моряк свысока так усмехнулся и сказал:

– В войну люди жили в землянках. А нам теперь очень понравились золотые унитазаы – жить без них не можем.

Николай Степанович весь затрясся, вскочил на ноги и говорит:

– Ты кто такой? Расселся, гад.

Моряк удивился ужасно, даже переспросил:

– Я кто такой? – и свою черную форму потрогал на груди. – Народный заседатель. А еще – офицер советский, коммунист.

– Бобик ты, а не коммунист.

– Вы что, против советской власти?

– Против! Я против тебя.

– Ну, знаете... – этот черный к судье повернулся.

– Всё, всё, – судья говорит. – А вы, в самом деле, успокойте своего супруга.

Люба Николая Степановича потащила, усадила на скамейку... женщина эта черноволосая, уходя, посмотрела на Любу стеклянными глазами, головой покачала и говорит: «Хорошо было – вам паспортов не давали». А техник совсем проснулся и разгулялся: причесал волосы, высморкался, газетку развернул...

Опять двери распахнулись, опять вдоль скамеек промчалась секретарша: «Встать, суд идёт».

– Иск отклоняется.

Домой возвращались медленным шагом.

Люба идти совсем не может – ослабла, слезы сами текут. «Это я во всём виновата». И действительно, двадцать лет назад им никто не советовал брать последний этаж, но Люба тогда настояла: «Берём! Наверху воздух чище». Главное, хотелось поскорее выбраться из подвала, зажечь по-человечески, а, кроме последнего или первого этажа, им ничего тогда не предлагали. Еще и намекали: «Не хотите брать? Дело ваше. Желаящие найдутся...» И переехали, и двадцать лет жили хорошо.

Идут медленным шагом.

– Зачем ты меня послушался тогда? – Люба говорит. – Ты муж, ты должен был мне запретить, а не слушать глупую бабу. Подождали бы мы тогда год, даже два года – но получили бы в конце концов? Получили. Так это ты во всём виноват.

– Ну хорошо, ну виноват.

Пришли домой. Люба, как посмотрела на дыру в потолке, на испорченные обои, заревела в голос и сразу легла. А Николай Степанович достал пилу-ножовку и начал мастерить.

(Матерьял-то он давно уже начал заготовливать, но молчал об этом – Любе ничего не говорил.)

Промерил в разных местах высоту от пола до потолка; брус, который был у него, рассортировал – подрезал, где надо, где надо нарастил – как раз

хватило на четыре стойки. Выпил из фанеры круг, под размер круга вырезал поролоновую прокладку и начал заводить под дыру заплату, типа пластыря. Здесь подстругает, там подколотит... Справился, начал укреплять стойки.

Глядя на него, и Люба поднялась. Обрезки, опилки подмела – все-таки занятие. Потом пригляделась:

– А давай, – говорит, – я эти столбики обоями поклею.

– Ну, поклею.

Порылась Люба в кладовке и нашла кусок старых обоев. Нарезала полоски, начала варить клейстер.

Николай Степанович минуты не отдохнул после стоек: схватил ведро, отправился за песком на улицу. Нашел где-то песок, принес в ведре, промыл... Старая пленка была у него припасена, полмешка цемента, опилок мешок. Набрал всего в обе руки и полез на чердак.

И что-то долго его не было. Люба свои столбики сверху донизу оклеила, сварила обед – Николая Степановича все нет.

Наконец является. Довольный! Таким довольным Люба давно уже его не видела. Поел супа. Люба ни о чем не спрашивает, знает уже его характер.

Когда поел, подошел к столбикам, рукой их покачал – куда там! Стоят как вкопанные. Брови сдвинул и говорит: «На год хватит».

И правда, как-то веселей стало жить: нигде ничего не протекает, не дует. Стоят эти столбики ближе к углу, ходить совершенно не мешают. И даже выглядят интересно и аккуратно. Конечно, на самом верху не так красиво получилось – там эта несчастная фанера как заплатка на белом потолке. Но дуть перестало. И подтекать, главное, перестало.

И вовремя, надо сказать, уравились.

В воскресенье, в пять часов утра, вдруг звонок в дверь. Дочка приехала! Без предупреждения, без телеграммы – безо всего... Внучку с собой привезла, Юленьку. И только через неделю пришло письмо: встречайте, мол, с такового вокзала... Встречайте! а они уже неделю живут – двадцать три дня шло письмо.

Так что вовремя заделали дыру, избавились от сквозняков и от сырости. Ребенку много не нужно, чтобы простудиться. И сам-то по себе организм слабенький, неокрепший, а после такой дороги – вдвойне. А что фанера на потолке, то это взрослому непривычно, а ребенку это все равно. Ему даже интереснее. Юленька, когда отдохнула с дороги, сразу играть приладилась среди этих столбиков, а через неделю это уже стало считаться ее место. «Шалаш» там у нее, устроила себе «шалаш» – такую палатку из старой скатерти. Вход закрыла диванным валиком, натащила кукол...

А у дочки дела неважные. Ведь их оттуда выгнали, где они жили, там это правительство новое – не поймешь, – короче говоря, сделали им такое заявление: «Где хотите, там и живите». Просто выгнали. Зять получил новое назначение, но только очень далеко, на Севере, и жить пока будут в вагончике – с ребенком невозможно.

Дочка говорит: «Я так рада, что мы выбрались оттуда. Насколько здесь лучше. Здесь люди совсем другие. А насчет вагончика не беспокойся, в вагончике мы не останемся. Будем строить квартиру в Санкт-Петербурге или сразу купим готовую. Вот увидишь, скоро и здесь разрешат продажу жилья».

Деньги дочка привезла с собой, порядочную сумму денег; от греха подальше отнесли их в тот же день и поместили на срочный вклад. Неделю пожила дома, отдохнула, через неделю уехала к мужу – помогать ему на новом месте устраиваться. Только и посмотрели на дочку.

«Читайте объявления, – сказала им на прощание. – Изучайте... ищите варианты. Юльку не очень балуйте», – и поехала к мужу в вагончик.

Зажили втроем: Юленька, Николай Степанович и Люба. И так они хорошо зажили втроем, что лучше не надо. Все эти стариковские переживания, тяжелые мысли – они теперь как через толстый слой ваты стали доходить. Тот же самый суд: раньше Люба валидол принимала, как только вспомнит о нем, от обиды горело сердце, зато теперь... Тьфу и ещё раз тьфу. Бывало, Николай Степанович с Юленькой начнут играть, завозятся, намусорят где-то или воду разольют, а Люба станет убирать и заворчит на них, Николай Степанович тогда скажет ей в шутку: «Ладно, мол, притворяйся. Какая тебе чистота – это же вы, приезжие, весь город запакоостили и все скамейки переломали», – Люба и замолчит. Отойдет в сторону, руками разводит, сама ухмыляется втихомолку.

Хорошо жили. Но стали вдруг замечать: с соседями хуже. Как-то zdороваются не так, не так смотрят... Что-то делается прямо с соседями. Люба, когда заметила, сразу же рассказала Николаю Степановичу – тот не поверил. Даже отругал ее сначала:

– Совсем одичала! Отвыкла от людей!

– Но мне кажется...

– Кажется – перекрестись!

Вот и дождались того, что Толька Полупанов (с их же лестницы сосед, со второго этажа) напугал Юленьку. Люба во дворе гуляла с ней, а Полупанов там же сидел на скамейке. Люба еще и поздоровалась с ним... А он вдруг встает и начинает прямо орать на Любу: «Это вы! Это всё вы! Из-за вас из-за одних страдает столько людей!» – и с такой ненавистью это, буквально криком. И непонятно, что ему надо. «Это вы! Это вы!» – только и слышно. Всегда был с придурью и пошуметь любил под пьяную руку, но чтобы до такой степени...

Люба ему отвечает по-хорошему: «Прекрати орать! Отойди, ты мне сейчас напугаешь ребёнка! Я кому сказала: прекрати орать!» – он только хуже наступает. Глаза шальные, веселые, зубы оскалены: «Здолбали всех! Суляжничаєте, отрываете людей от работы! Не ремонтируют нам крышу из-за ваших кляуз!» – и тра-та-та, и такую мать, и все это при ребенке.

Люба видит: делать нечего. Уже и народ начал собираться на его крик. Схватила Юленьку в охапку и бегом к себе на шестой этаж – так этот черт не отстает, тащится сзади и все матом поливает, все матом... Остановился на

четвертом этаже, гаркнул последний раз: «Не хотите жить с людьми, тогда выселяйтесь!» – и спускаться начал по лестнице. Не спеша так идет, отдувается – как будто дело сделал хорошее.

Самый дурак, классический, и с самого детства был таким – небось у Любы на глазах вырос. Крыша ему понадобилась, главное, очень это нужно на втором этаже.

Николай Степанович с утра отоварил талоны на сахар и теперь дома находился, отдыхал. Люба все ему и выложила сразу, не подумавши. Да и как скроешь? Ребенок плачет, заходится, у самой руки-ноги дрожат, платок на сторону съехал...

«Это же больной человек, – говорит. – Ненормальный, это точно, нормальные так себя не ведут. Как он орал! Так орал... Где теперь с Юленькой гулять? Придется ходить за насыпь – там, знаешь, сделали эти посадки, теперь там хорошо стало гулять».

Николай Степанович, слова не сказав, ребенка ей назад в руки сунул, а сам – шмыг на лестницу. Пока она Юленьку успокоила, пока спустилась на второй этаж, там уже все закончилось. Уже дело было сделано. Николай Степанович туда позвонил, Тольку на лестницу вызвал, о чем-то они там поговорили, в точности неизвестно, но, может быть, и поспорили, может быть, Николай Степанович и оттолкнул его разик от себя, руками так, – и тут такое пошло совпадение, что Толька в эту минуту повернулся или наклонился зачем-то, и Николай Степанович случайно угодил ему кулаком прямо в висок. Толька упал сразу. Всегда был вертлявый, дерганый, еще с мальчишек, – вот и довихлялся наконец на свою голову... Прямо свалился на лестнице и лежит. Весь побелел, посинел – ужасно смотреть. Шурка Полупанова выскочила на лестницу: «Убивают! Караул!» – но из соседей никто не выглянул на ее крик. Привыкли уже, что такая квартира, где постоянно скандалы, ругань, и не хотят связываться.

Тогда Шурка схватила мужа за воротник, приподняла одним рывком и потащила в квартиру. Когда перетаскивала через порог, Толька вдруг замычал и немного помог, подтянул ноги – живой, значит, слава Богу! Еще Люба хотела помочь, как-то поддержать под колонками, но Шурка ее не допустила. «Только через суд! – закричала на нее. – Учитесь вас буду! Вот вас я обязательно буду учить! Обоих посажу!»

Потом слухи ходили по всему дому, что Толька три часа пролежал без сознания. Якобы. Но это сколько угодно можно выдумать и потом распространять: хоть сто тридцать три часа. На самом деле, ровно через сорок минут после этих событий он уже опять был во дворе, и Люба сама его видела из окна, своими глазами. Ничего ему не сделалось, встал таким же дураком, каким и был. Шагает себе по лужам, одно плечо выше другого, шапка кроличья мокрая и рыжие сапоги, – хоть бы раз в жизни почистил. Все как обычно.

Люба сразу кинулась успокоить Николая Степановича: мол, жив-здоров наш драгоценный сосед, уже куда-то отправился со двора, и Шурка с ним... Все в порядке, живой!

А Николай Степанович вяло так отвечает:

– В травмапункт они отправились. Обследоваться-то ему надо?

– Обследоваться?..

– Справку-то ему надо? Какие повреждения, какой синяк... Если есть шишка – шишку обмеряют, выпишут справку. А там уже суд посчитает, – лежит на спине, руки поверх одеяла выложил и тихо так рассуждает, спокойно, размеренно так...

– Какой еще суд? – Люба ему говорят.

– Обыкновенный. В котором судят.

– Понятно. Угу. А я тебя, Николай Степанович, почему-то считала умным человеком.

Николай Степанович сильно поморщился, но смолчал.

– Нет, ты мне скажи, ты умный человек?

Глаза закрыл Николай Степанович. Притворяется спящим.

– За что тебя судить? За Тольку? За гопника этого? Тебе премию должны выдать за то, что ты его приструнил, а не судить. Если таких судить, как ты, которые на производстве сорок восемь лет: ни разу не прогулял, не опоздал, грамоты имеешь...

Но тут Николай Степанович подушку бросил – не в саму Любу, а чуть в сторону от нее, нарочно, и рукой начал отмахиваться: уходи, мол, отстань, не доводи до греха.

И все. Перестал разговаривать после этого.

День не разговаривает, два дня не разговаривает и только злее становится от молчания. И лицом похудел. Люба на цыпочках ходит по квартире, а про себя думает: обойдется. Не тронут нас. Разберутся, кто чего стоит.

На третий день звонок – утром, в девять часов. Люба подошла, постояла, открывает дверь... Дочка приехала! Оказалось, она в Москве лежала на обследовании – у зятя там родная тетка работает в Областной больнице.

Заболела дочка на Севере. Солнца мало, мало витаминов, питалась почти что одной тушёной, при переезде понервничала – ну и начались проблемы с желудком. Так сильно прихватило, что впору было на стенку лезть. Две недели пролежала на обследовании. Серьезного ничего не нашли, слава Богу! И подлечили, болеть стало намного меньше. Родителям ничего не сообщала – не было ясности, не хотела напрасно пугать.

Наспех все это обрисовала, начала спрашивать про их жизнь. И первый вопрос: «Что с квартирой для нас? Удалось что-нибудь сделать?» – Люба начала ей по порядку рассказывать здешние новости, дочка послушала минуту и взялась за голову: «Какой Полупанов? При чем тут Полупанов? Деньги наши пропали».

А действительно, цены последнее время росли так, что почти что каждый день все дорожало на несколько рублей.

И так хитро было сделано, что в сберкассе нельзя было получить свои же собственные деньги. Пожалуйста, пятьсот рублей в месяц, а больше нельзя. И в газетах пишут, что это незаконно и не должно быть, а они все равно делают.

Люба-то сняла, а Николай Степанович два раза снимал по пятьсот рублей – и бегали по магазинам поочередно, искали, во что вложить эти деньги. И очень многие так бегали, но мало что можно было купить хорошего. И все-таки кое-что удалось достать: достали для дочки зимнюю шапку, очень хорошую, норковую, Николай Степанович на Кондратьевском рынке купил с рук золотое кольцо... Нет, а что было делать? Возраст все-таки не тот, чтобы бегать по магазинам, высунув язык, а тут еще внучка маленькая на руках, еще и Полупанов этот, зараза... И ничего же не было ясно, никто же не объяснял, что происходит и насколько это продлится... Да, купили еще пылесос! Николаю Степановичу дали по записи как жителю блокадного Ленинграда. Пылесос удалось купить.

Дочка слушала ее, слушала... Потом села в прихожей прямо на подставку для обуви, головой покивала и говорит:

– Зарезали вы нас.

В тот же день пробежали с дочкой по магазинам – и правда, цены уже совершенно другие, чем даже неделю назад. На эти деньги, что у них были, фактически уже ничего серьёзного не купишь. Фактически все эти деньги сторели, удалось купить только шапку для дочери и пылесос. А денег было немало: дочкина квартира с обстановкой, сбережения, которые у Любы лежали на книжке, – ничего этого не сохранилось. Только пылесос и шапка. И еще кольцо, но кольцо можно не считать – никудышное, 585-й пробы. Были деньги, короче говоря, и сплыли.

(На следующий год уже Николай Степанович все сбережения снял до последней копейки и купил сто двадцать пачек папирос – шесть блоков. Люба уговаривала его не торопиться: «Пусть лежат на книжке. Подождем. Хуже уже не будет». – «Нехрен тут ждать».)

Дочка уехала к мужу. Нехотя уезжала, томилась. По дороге на вокзал раз десять спросила у Любы: «Что я ему скажу? Ну что я ему скажу?» – Люба наконец не сдержалась.

– Говори, как есть, – отрезала. – Не одна ты такая, многие пострадали, почти все. Такая власть, нечестная.

Поплакали на вокзале, дочка села в свой вагон и уехала.

Стали жить дальше. И странное дело! Раньше, случалось, из-за какой-то ерунды не находили себе места, переживали из-за протечек, а теперь, когда все это обрушилось, спокойнее стало на душе. Нет, правда, спокойнее стало жить. Люба готовит, стирает. Гладит. Николай Степанович с Юленькой занимается – устроили аквариум, рыбки у них, ездят на Кондратьевский рынок чуть ли не каждое воскресенье. Так все хорошо, тихо – и к ним никто не ходит, и они ни к кому.

Как-то вечером сидят они на кухне, Юленьку уже уложили, отдыхают. Порядочно времени прошло после дочкиного отъезда. Люба гречу перебирает – назавтра кашу варить. Николай Степанович включил радио, ждет новостей. Вдруг звонок в дверь.

Переглянулись. Николай Степанович начал уже вставать, но Люба руками и ногами замахала на него: «Сиди здесь! Я кому сказала – сиди!» – побежала сама открывать.

Полупанов-сосед на пороге.

– Здесь вам повестки на девятнадцатое число. Просили занести. Бедная организация, едрит её в корень, – на курьера нету денег у них. “Занеси” да “занеси...” – «Ладно, – говорю им, – давайте сюда ваши повестки. Все равно ведь не отвяжетесь». – «Вот и чудненько, – они мне говорят. – Спасибо вам большое». А я им знаешь что ответил? «Это не разговор – “спасибо” ваше. Спасибо, – я им говорю, – не булькает...»

Вот так паясничает, несет какую-то чушь, а Николай Степанович уже близко. Уже он в шею дышит Любе.

Вышла Люба на лестницу, дверь придерживает спиной.

– Иди, – говорит, – от греха подальше. Сделал свое дело? И молодец. И давай отсюда, давай.

Но тот, правда, сам все понял – заторопился, начал пятиться ...

– Я, – говорит, – от себя ничего. Только по закону. То, что закон требует.

На повестках чернилами проставлено девятнадцатое число. Через четыре дня, значит... И все. И делай тут, что хочешь.

Наутро Люба сходила в церковь, поставила свечки. Потом целый день стирала. Дочке не стала писать – зачем огорчать раньше времени? К вечеру совсем ослабела: сидит на кухне и думает: один день прошел, осталось три дня... Слезы сами текут. Утром проснулась – не хочется вставать.

Зато Николай Степанович держится молодцом. Расхаживает по квартире, бодритя, чуть ли не насвистывает. У него ведь и на работе начались неприятности, началось непонятно что; всегда было образцовое производство, о котором и в газетах писали, и по радио была передача, что здесь собирают точнейшую механику, – и вдруг за одну неделю все это развалилось. Вызвали всех работников в конференц-зал и объявили: заказов больше не будет, если хотите получать зарплату, – ищите сами заказы... Непонятно. Это что же, Николай Степанович должен искать заказы? Бегать по улицам и спрашивать у прохожих: вам станочек не нужен в тридцать шесть тонн? Кто это выдумал? Половину участков закрыли сразу, новое здание заводского профилактория, которое своими же рабочими строилось по кирпичику одиннадцать лет, сдали в аренду малому предприятию “Дульча кабомба”... А возмущаться бесполезно. «Пожалуйста, – отвечают. – Увольнитесь».

Николай Степанович только ходит по квартире и приговаривает: «Все нормально, все хорошо. Все отлично! Суши сухари, Люба».

Люба каждый раз в слезы: «Перестань! Прекрати сию же минуту! Да кто посмеет тебя тронуть – такого работника, такого...»

«Работника? Так и хорошо, что работника. Это здесь они не нужны стали, а на лесоповале – в самый раз. Там требуются. Суши сухари, Люба!»

Вот и разговаривай с ним.

На другое утро Люба, как обычно, пошла за молоком к бочке. Заняла очередь. И что-то долго не было машины на этот раз, и Люба, чтобы зря не стоять, завела разговор с одной женщиной в этой очереди. Пожилая женщина, но с хорошей осанкой, приятной наружности и одета так... Видно сразу, что не из простых.

Разговорились, и та отвечает Любе, что да, я в прежнее время вела научную работу, неплохо зарабатывала, но теперь я уже восьмой год на пенсии, так что сами понимаете... «Да уж», – Люба говорит. «Денег хватает только на хлеб и на молоко...» – «Да уж». – «Муж умер в прошлом году...» – «Ой-ой-ой», – Люба говорит.

– А вы представляете, – начала рассказывать в свою очередь, – что делается у моего мужа на работе. Рабочим платят буквально копейки, да еще и насмеются, говорят: вы и этого не заслуживаете. А директор сам себе назначил оклад четырнадцать миллионов рублей! Представляете? Вы мне скажите, когда-нибудь такое было?

– Да, такое возможно только у нас, больше нигде. Ни в одном порядочном государстве. Жалко народ.

Новая знакомая Любина помялась так, поморщилась, потом говорит:

– Народ... Понимаете, народ сам в какой-то степени виноват в том, что у нас произошло. Вы вспомните, сколько лет мы давили другие страны, вводили войска, куда хотели, – ведь это же было! Вы не станете отрицать. И всем это очень нравилось, никто не протестовал. Стоит ли удивляться тому, что сегодня мы пожинаем эти плоды.

– Так обманывали нас. Говорили, что людям нужна наша помощь – мы и верили...

– Не надо было верить.

– ...А оказалось, хуже нас никто не живет. Ничего себе! У самих ничего не было, а строили этим, как их... целые города им построили. Заводы построили, Фабрики. Для них все построили – у самих ничего нет. Вот так. И мы же еще виноваты. Мою дочку, я вам сейчас расскажу...

– Вот не надо было строить! Никто нас не просил.

– Да. Это они теперь так говорят: мы не просили. А тогда небось не отказывались.

– Да как они могли отказаться, когда мы к ним на танках приезжали помогать! Благодетели... Столько зла наделали людям, что дальше некуда. Вот и расплачиваемся теперь. И еще долго будем расплачиваться.

– Не то что-то вы говорите. Мой муж работал всю жизнь, не разгибаясь, а заработал шиш: тридцать лет ходит в одном пальто. Вот он почему-то расплачивается; последние сбережения потерял. А директор почему-то не расплачивается. Выписывает себе по четырнадцать миллиончиков каждый месяц.

– Ваш муж протестовал против ввода войск в Чехословакию?

– А кто протестовал? Директор не протестовал, это я вам совершенно точно могу сказать. Сами-то вы протестовали?

– Конечно, нет. Я не хотела сидеть в тюрьме. Но я и не жалею, в отличие от вас. Я считаю, что мы свою гадкую жизнь заслужили полностью.

– А я так не считаю. Поглядите: если мой муж всю блокаду провел здесь, имеет сорок восемь лет трудового стажа, – так неужели он не заслужил немножко лучше к себе отношения?

– Господи! они все про свой стаж, про свою блокаду... Да очнитесь вы,

женщина, поглядите по сторонам: ваш муж сорок лет получает зарплату, другие получают зарплату, – а где же продукция? Простого молока не можем дожидаться.

– Мой муж молока не делает.

– Очень жаль. А что он делает? За что им вообще начисляют зарплату? Только не увильвайте, называйте конкретно. Можете назвать?

– Отстаньте вы от меня, – Люба говорит. – Что вы набрасываетесь?.. Помешались на своей Чехословакии. Ближе не нашли, кого пожалеть?

– Кого мне жалеть, женщина?

– Свой народ. Народа вам не жалко?

– Абсолютно нет.

– Ну и ехали бы тогда в свою Чехословакию. Очень вам обрадуются там. Просто ждут не дождутся, когда вы приедете.

В очереди перед ними стоял незнакомый парень – этот все книгу читал в потемках. Светит на страницу карманным фонариком и читает. Высоченный такой, лохматый... Вдруг он голову поворачивает к ним и говорит Любиной соседке:

– Что вы разговариваете? Неужели не видите, с кем?

Любина соседка сначала засмеялась, но как-то невесело, а потом уже ответила ему:

– Обозналась! Понимаете, в темноте они бывают до ужаса похожи на людей.

Любе даже страшно стало. Нечего сказать, отвела душу, побеседовала с ученой женщиной... Просто поругались, как две бабы на базаре. И главное, из-за чего? Хотела уже заговорить опять, как-то объяснить людям, что Николай Степанович всю жизнь собирал точнейшую механику, что шестой разряд просто так не дадут никому и персональную надбавку к окладу тоже.

Но тут объявили, что машины сегодня не будет, и вся очередь быстро разошлась.

Наступило девятнадцатое число. Утро этого дня Люба запомнила плохо, застряли в памяти какие-то клочки: вот Николай Степанович бреется перед зеркалом – лицо желтое, измученное. Сестра приехала с Юленькой посидеть – суетится и ахает, лицо доброе: «Ничего не будет! Вот увидишь». А чего – “не будет”? Одного срама...

Пошли пешком в суд, дорога знакомая. Но плохо запомнилась на этот раз. Какая, например, была погода? Николай Степанович идет не спеша, руки заложил за спину, так дышит привольно, по сторонам смотрит – как будто и вправду прощается с родными местами. Люба крепится, молчит.

Секретарь в суде засмеялась, когда увидела их:

– А-а, старые знакомые...

– Ну ничего, – говорит потом. – Проходите. Не съедим вас.

Смолтит Люба на нее – и эту жизнь не пощадила. Была тоненькая

девчушка, а теперь погрубела так, потемнела лицом. Главное, глаза нехорошие стали – то ли боится чего-то, то ли скрывает.

Проводила их до места, как и в прошлый раз. Постояли так, поулыбались друг другу... Все-таки приятней, когда знакомый человек. Люба, глядя на нее, прошлое вспоминает, нормальное время, да и той, похоже, интересно посмотреть на старше знакомых.

Только стала Люба садиться – эта ее вдруг придержала за локоть: «Нет-нет, вы уж отдельно садитесь. Вот здесь где-нибудь и садитесь», – показывает.

У Любы все похолодело внутри. Сел ее Николай Степанович, руки положил на колени и глаза прикрыл. Был ее, а стал... Только жилка над глазом набухла и так дергается: то меньше станет, то вдруг потолще.

И дрянь эта заходит, Толька Полупанов. Весь вихляется на ходу – и задницей вихляет, и всем... «Привет честной компании!» – кричит с порога. И тут паясничает, без этого уже не может.

Шурка сразу к Любе подседа.

– И ты здесь? – говорит. – Уф, духотища... Воздуху совсем нет.

Секретарша кричит со своего места:

– Встать! Суд идет!

Судья, прежде чем сесть, на Любу поглядела – узнала ее, улыбнулась, потом сразу села и в бумаги свои уткнулась.

Быстро все пошло на этот раз.

– Так вы его ударили? – спрашивает судья у Николая Степановича.

– Обязательно.

– А может, вы его не били? Свидетелей-то нет.

– Русским языком вам сказано: ударил.

– А что так?

– Говорил пошлости. Ребенка напугал.

– Ну, и вы бы ему в ответ загнули... Обязательно, что ли, драться? Ругнули бы его хорошенько.

– Отроду не ругался и вам не советую.

– Смотрите: вот он вас обругал, да? Вы его за это ударили кулаком. А он вас – ножом. Тогда вы берете ружье и бьете в него сразу из всех стволов. Да? Все время по нарастающей... Улавливаете мою мысль?

– Ерунду вы говорите. Не меня обругал, а выражался при ребенке. Меня он вообще не ругал.

– Так... – судья говорит. – У кого-нибудь будут вопросы?

Заседатели переглянулись; черноволосая женщина рукой махнула по воздуху и говорит слабым голосом: «Я, может быть, потом дополню».

– Закономерный финал! – говорит бывший светлолобый моряк (Люба с трудом его узнала, настолько человек изменился: лицо стало в полтора раза шире, волосы обстрижены, а вместо военного платья – розовый пиджак). – В прошлый раз он от суда потребовал золотой унитаза, теперь на соседей начал бросаться. Это же Шариков! «Все поделить», да, дед? Сталина часто вспоминаешь?

– Если бы был Сталин, – Николай Степанович отвечает, – твоего бы духа не было через двадцать четыре часа.

– Вот видите? Классический, можно сказать, экземпляр совка. Ну что, дед, плохое ты выбрал время для правонарушений. Если бы вы победили, ты бы нас ставил к стенке, а так, извини...

– Всех не перестреляете.

– С какого года в партии?

– Не был никогда. Ни с какого.

Стали тогда спрашивать Тольку Полупанова.

– Может, вы врете, – судья говорит. – Никто не видел, откуда взялось у вас это повреждение. Свидетелей нет. Должен же быть мотив! Неприязненные отношения хотя бы... Имели они место?

– А как же? Обязательно. Такая неприязнь, что хоть не выходи на лестницу. Скрипит зубами при виде меня.

– В самом деле? И у вас есть свидетели, которые могут подтвердить, что он это делает? И именно при виде вас? Сомнительно что-то... И все равно это не мотив: “скрипит зубами”. Я не вижу мотива! Пожилой человек, блокадник, по месту работы аттестуется положительно – зачем ему вас колотить?

– Сам удивляюсь. Выйдем, говорит, на лестницу... Ну, я послушался его, выхожу: «Что ты хотел, дедушка?» А он мне, слова не говоря...

– Князев утверждает, что вы завели привычку выражаться при его ребенке. Нецензурными словами – было такое?

– Я не знаю, где он там нашел ребенка. Нас всего двое и было на лестнице. Я не то что выругаться – я рта раскрыть не успел.

– Вот именно, что вы вдвоем находились на лестнице. Князев одно показывает, вы – другое. Свидетелей нет. Кому я должна верить?.. У вас будут вопросы к потерпевшему?

– Да, я спрошу, – бывший моряк говорит. – Как же ты так спасовал перед дедом, который в два раза тебя старше? И не стыдно тебе?

– Вот именно, – судья оживилась. – Этот вопрос, я считаю, по существу. Как он мог вас побить? Пожилой человек, блокадник...

– Так я же говорю: от неожиданности больше. От внезапности. Или он что-нибудь держал в кулаке – железку какую-нибудь, гирьку. Я же не знаю.

Теперь моряк оживился:

– Думаешь, гирькой тебе попало? Может быть, может быть. Коммуняки – народ дотошный. Да, не повезло тебе – с таким ихтиозавром на одной лестнице жить.

И Толька, гад, подпекает ему с серьезным лицом:

– Да, уж эти у нас самые советские. И детей воспитали. Зять офицером служил в оккупационных частях...

– Объявляю перерыв, – судья говорит.

Люба к мужу бросилась – охранник в пятнистой форме вырос как из-под земли и ни пустил ее: «Нельзя! Стоять!» Глаза совершенно дикие, на щеке

царапина, на носу другая, автомат за кушаком. «Пропусти ты меня, – Люба тихонечко заныла, – сделай милость». Тот не слушает ничего: «Стоять! Я сказал: стоять!» Плюнула Люба ему под ноги и отошла.

Шурка и та возмутилась. «Барбос самый настоящий, – сказала Любе про охранника. – Развонялся тут... Они только с бабами и могут воевать, бандитов-то они за версту обходят настоящих».

В это время бывший моряк спрыгнул в зал, быстро развернулся и руку подставляет черноволосой даме – чтобы ей тоже спуститься. Та уже одета для улицы, стоит на краю и красуется перед моряком: шуба на ней до пят, шапка высокая, муфта – все это из отличнейшего меха, все это блестит. Спрыгнула тоже и так прилегла на моряка, грудью прямо... Моряк ее обнял за талию, повел, перчатки свои тащит на ходу из кармана – отличные тоже перчатки, с раструбами на запястьях.

– Мы пошли, – кричит на ходу судьё.

Судья не смотрит на них. Роемся в своих бумагах с несчастным видом, копошится – на курицу похожа растрепанную.

– Мы пошли!

– Как это – «мы пошли»? Ничего себе... А кто будет решение подписывать?

– Надо ехать, ничего не поделаешь. Миля сказала: такой случай бывает раз в жизни.

– Пусть Раиса одна поезжает.

– Ты же понимаешь, Раиса одна не справится.

– Ладно, проваливайте, – судья говорит. – Барбоса своего заберите.

Тронулась к выходу эта парочка. Черноволосая Раиса ни на кого не глядит, плывет, как пальма в кадке. Моряк, когда проходил мимо, внимательно посмотрел на Любу.

– Куда же вы?.. – Люба к нему так и кинулась. – Как же нам-то?.. – Она, когда услышала первый раз, что Николая Степановича могут расстрелять, совсем потеряла голову.

– Не знаю, мать, не знаю, – моряк ей отвечает, но не грубо, не отрывисто, а сочувственно так... Остановился перед Любой. И чего-то ждет.

– Научи, миленький. Нельзя так оставлять.

– Будто сама не знаешь?

– Что я знаю, старуха глупая.

– Прощтрафился, значит, надо платить, – моряк ей объясняет (негромко, но очень спокойно и отчётливо). – Нужны деньги.

– Миленький, все заплатим, Я заплачу. А сколько надо?

Моряк лоб наморщил, пошевелил губами... Потом повернулся к судьё и закричал:

– Раиса! Какой тариф на этот месяц? Тридцать?

Судья ворчит, не поднимая головы: «Идите, идите. Нечего тут мешать». С остервенением роется в бумагах.

И эта Раиса. Та Раиса и эта... Может быть, нарочно у них? Ничего не понятно.

Моряк к Любе повернулся, улыбнулся ласково и говорит:

– Тридцать.

– Ты понятнее говори, милый человек. Неужели тысяч? Тридцать тысяч?! Или чего?

– Лимонов, конечно. Тысяч... За тридцать тысяч пойдешь – штаны своему мужу купи. И штанов-то порядочных не купишь.

– Где ж мне взять столько денег? Ты сам подумай...

– А ты как хотела? За три рубля в рай въехать? Так не бывает. Продай что-нибудь. Ту же самую квартиру.

– Квартиру – муж не разрешит, – Люба ему начала объяснять. – Ты что, миленький?! Квартира для внучки. Да он скорее в землю живой ляжет, чем разрешит от нее взять.

– А ты на всех хочешь угодить: на деда, на внучку... Смотри, пожалеешь потом. У внучки свои родители есть, как-нибудь обеспечат ее. Не пропадет твоя внучка.

– Продадим, а где потом жить? Да как же ты предлагаешь?.. Нет, миленький, надо сбавить – ведь это же невозможно. Возьми сорок тысяч, ну шестьдесят...

Моряк только плечами пожал и двинулся дальше, а черноволосая Раиса вдруг выпустила его рукав, осталась с Любой. Стоит и смотрит блестящими глазами.

– Хотите попрощаться? – спрашивает. – Прощайтесь.

И моряку своему говорит:

– Алеша, пусть она попрощается с мужем. Почему вы ее не пускаете?

– Кто ее не пускает, – моряк говорит. Повернулся к охраннику: – Ты что здесь околачиваешься? Вообще... Погреться захотелось? Марш на улицу!

Люба к Николаю Степановичу бросилась – он ее не допустил до себя. Обхватил за плечи, руками-то сжал и смотрит в лицо ее, смотрит... И начал ей говорить:

– Поезжайте в Калининскую к матери. Здесь ты не сможешь жить. Вези Юлию в Калининскую.

На Любу тут как будто озарение нашло.

– А если так, – говорит, – тогда, может, и квартиру продадим? Продадим, Николай Степанович! Все равно ведь уезжаем, не бросать же ее. Давай, а? А за эти деньги, слышишь, они тебя выпустят. На что нам в деревне деньги? Пропадут, так же как и те. Договорились? Продаем?

Николай Степанович ощерился, словно волк, руку одну поднес к Любиному лицу, пальцы растопырил и говорит раздельно так:

– Ни-че-го им не давать. Ни копейки. Ишь они, какие умные: квартиру нашу захотели. Смотри у меня, если только ты... – и так пальцы сжал, добела.

И в ту же минуту на весь суд – новый крик.

– Это что такое? – судья вскочила и кричит на секретаря. – Вот это?! – Машет по воздуху какими-то бумагами.

– А что вы на меня кричите? – секретарь огрызается со своего места.

– Кто бумаги принимал? Ты их читала?

– Всё я читала. Хватит уже ко мне придирааться. Если я выполняю чужую работу, которую не обязана выполнять, то пусть мне за это платят. А вы только кричать можете. Надоело.

– Выполняет она работу... Тебя гнать надо в три шеи за такую работу. Вот эту справку ты же принимала – ты хоть заглянула в неё?

– Всё я смотрела. Если я выполняю чужую работу – между прочим, вашу, – то пусть мне платят за нее. А если бесплатно, тогда вы не имеете права на меня кричать. Тогда сами делайте.

– Смотрела она... Полупанов!

– Ась?

– Вы, во-первых, перестаньте паясничать. Во-вторых, послушайте, что написано в вашей медицинской справке – вы в нее тоже, кажется, не заглядывали. Гематома, так... Сотрясение мозга не диагностируется. Вот, слушайте внимательно: «Состояние алкогольного опьянения средней тяжести. Содержание алкоголя в крови соответствует семи...» Это что такое? Вы появляетесь на улице в нетрезвом виде, вам медицинское учреждение выдает соответствующую справку – и у вас хватает наглости обращаться с этим в суд? Да вы что, в самом деле? Вы в своем уме?

– Интересно вы рассуждаете! А как бы я встал после такой травмы, если бы не принял сто грамм? Вы, может быть, исторических книг не читаете, а при профессоре Пирогове так руки-ноги резали: дадут человеку стакан анисовой – и на стол. Тот же наркоз, сразу боли не слышно. Вот когда Князев меня покалечил, тогда я был трезвый, не беспокойтесь, и мне компенсация полагается за испорченное здоровье, а то, что было потом, это сюда не относится.

– Князев! – судья говорит. – Посмотрите на этого гражданина и скажите суду, наконец, правду: били вы его, или же вы его не били, поскольку не имели ни физической возможности, ни мотива, ни... ничего не имели.

– Вы уже спрашивали.

– Ну так что же?

– Бил.

– Нет, вы его не били. Этот гражданин гулял пьяный по лестнице, бился головой о стены, а потом, на почве алкогольного бреда, обвинил вас. Да?

– Нет.

– Как это – «нет»?

– Так. Выдумываете то, чего не было.

– Ах, так... Ну, я вас оштрафую за ваше упрямство. Будете знать. Вы сколько зарабатываете за месяц?

Николай Степанович молчит.

– Восемьдесят тысяч, – Люба отвечает за него. – Разве это зарплата для мужика? Вот он и стесняется сказать.

– Я вас оштрафую на двадцать... на пятьдесят тысяч. Будете знать, как распускать руки. Полупанов! Вы будете платить судебные издержки. Мы вам потом посчитаем, во сколько это выльется, но хорошо заплатите, очень хорошо... Всё! Заседание закрыто.

Николай Степанович обмяк, Люба его поддерживает, а за спиною у них бывший моряк хохочет оглушительно громко.

– Нет, вы только посмотрите на эту рожу! – кричит на весь зал.

И Толька Полупанов идет к выходу и огрызается:

– От меня вы ничего не получите. Квартира записана на жену, мы с ней в разводе. Ищите меня. Присылайте повесточки.

– Ну, молодцы... – моряк отдувается. – С этим народом никакого цирка не надо. Всё, Раиса, поехали.

А та опять подходит к Любе:

– Хотите, мы вас подвезем? Вас и мужа вашего?

– Конечно. Давайте, – моряк говорит вполне радушно.

– Большое вам спасибо, – Люба им отвечает. – Мы лучше пешочком. Там одна улица перерыта у нас, на машине никак не проехать. А пешком идти пять минут. До свидания, спасибо вам огромное.

Про себя-то думает, что Николай Степанович, когда начнет приходить в чувство, может опять с моряком затеять ссору. Лучше уж развести их поскорее – от греха подальше. Николая Степановича крепко держит за руку.

Вышли на улицу. У края тротуара машина дожидается – двухэтажный броневик. Надпись “ТОО Блистательный Санкт-Петербург” горит на борту. Полупановы тут же стоят, глазают.

Моряк подошел, откатил тяжеленную дверцу. Охрана с автоматами забегала. Раиса подплыла, придерживая шапку... Заработала сирена.

– Во поехали! Ну, поехали... – Шурка восхитилась, – Когда мы с тобой так будем ездить, Толя?

Пошли домой вчетвером.

– Дядя Коля, – Полупанов бубнит, – предлагаю мировую. Значит, так: прямо сейчас заваливаемся ко мне. Сколько возьмем? Давай – три. Нормально будет? Закуску можно не брать, у меня есть помидоры соленые, батон есть... Хватит у тебя на три? Раз в жизни посидим, поговорим по-человечески.

– Со мной согласуй сначала, а потом приглашай, – Шурка говорит. – Я в принципе не против, но ты должен сначала согласовывать со мной.

– Да пошла ты в принципе... Дядя Коля, знаешь, что-то я стал уставать от такой жизни. Такая жизнь тяжелая! Кто-то на «Мерседесе» ездит, а нам с тобой, чтобы это купить, сто лет надо работать и всю зарплату откладывать до последней копейки. Нам этого не купить никогда в жизни!

Николай Степанович молчит, ноги переставляет, не слушает Тольку. Люба его ведет.

Поравнялись с жилищным управлением, навстречу выходит младший техник. Знакомая Любина – та, что сидит на аварийных заявках. Как раз у нее обед.

– А я вам звонить собираюсь, – кричит Любе еще издали. – А вы вон где. Здравствуйте! Ну что, рады? Кончилась ваша эпопея?

– Здравствуйте, здравствуйте, – Люба ей отвечает. – Давненько мы с вами... – а про себя думает: ничего себе! Когда она успела узнать?

– Дня три-четыре, конечно, придется вам потерпеть. Может быть, и семь дней. Но это такие мелочи по сравнению с тем, сколько вы ждали! Мне уже неудобно было ходить мимо вашего дома. Иду и каждый раз думаю: вот где,

наверное, ругают меня... Но я вам сразу же сказала: быстро ничего не будет. Скоро мы вам не сделаем.

– Вы про что говорите? – Люба наконец не выдержала. – Не пойму я вас.

– Да я про вашу крышу. Что же вы, до сих пор ничего не знаете? Вы где были с утра?

– Там... – Люба рукой показывает назад, за спину себе. – Вот только сейчас домой идем.

– А-а-а, то-то я смотрю. У вас уже делают! С утра работают у вас, перестилают вам крышу.

– Дядя Коля, – Полупанов говорит. – Тетя Люба! Бутылка с вас. Тут уже – никаких. Бутылка.

Вот такая история произошла в Санкт-Петербурге, бывшем Ленинграде.

Не такая, как в Москве, где досужий купец вышел однажды на базар и купил канарейку за пятьдесят рублей.

В остальных городах Российской Федерации – в Белгороде, в Рязани, в Юрьеве-Польском – ничего особенного не происходило. В городе Глазове выловили было шайку разбойников, да потом поглядели на них хорошенько, плонули и отпустили всех под залог. В Ростове Великом открылся пивной фестиваль.

В городе Муроме семеро грузин мухоморов объелись.

1996

Бедный художник

В некотором Драматическом театре был художник; вернее, выражаясь языком песни, «жил-был художник один». Только про этого никто не знал, что он художник. Он был художником у себя в квартире, где писал картины маслом, а в театре работал электромонтером по четвертому разряду тарифной сетки.

Всем известно, что электромонтер в театре отличается от электромонтера в каком-нибудь другом месте – на заводе или в бане. Одно общее название ни о чем не говорит, они не похожи. В театре меньше платят. В других местах бывает зарплата, премия, иногда дополнительное питание; в театре электромонтер получает культуру. У себя на рабочем месте он видит народную актрису, народного актера, сюда стекается сок умной интеллигенции, и звучат заветные звуки слов: катарсис, Брехт... В обычном случае театральный электромонтер не так твердо помнит, с какого конца ввинчивают в патрон лампочку, но зато он любит искусство.

В нашем случае все было по-другому. Художник не любил искусство и попал туда случайно – в трудную минуту жизни прочел объявление ну и польстился на то, что предлагаемая работа было от дома близко: четыре остановки на метро, прямая ветка. Сверх этого ему больше ничего не понравилось на новом месте, и он оставался в театре второй год по причине деликатного свойства – здесь он повстречал актрису Татьяну Вечерину.

Она недавно, всего пять лет работала в Драматическом театре, ролей у нее пока не было.

Она ошибочно думала про художника, что он и вправду – электрик, и стыдилась своего чувства.

У них был одно время роман; скоро в театре начали про них говорить и смеяться: мол, Вечериной надоело любить сцену платонически, она нашла себе солидного «дядю Васю» и теперь рыщет по комиссионкам – скупает хрусталь, кастрюли и ковры на стену... И все это было вранье, нахальное и циничное, но актриса до слез обиделась на художника за эти сплетни и захотела порвать с ним.

Художник мог бы отнестись легко – в конце концов, он был у этой актрисы не первым и даже, скорее всего, не последним на данный момент времени, притом у него имелось занятие поинтересней любовных шашней, занятие живописью, – но он был благородный человек, он огорчался не за себя.

Больше всего художник огорчался тому, что она не понимает своего положения и думает, что там, где чёрное, – это белое и наоборот. Он пытался с ней спорить, но она ему отвечала: катарсис, Брехт – и это были не слова для обмена мыслями, а каменный забор, из-за которого эту актрису нельзя было достать. Даже в его благородстве актриса видела одну мужскую назойливость, покушение на свою свободу и независимость.

Наконец она ему сказала:

– Ты даже не любишь театр!

– Правильно, не люблю. За что его можно любить?

– Тебе не понять.

– А ты растолкуй. Наверное, раз тебе – понять, то и другому – понять?

– Вот и нет. Ошибаешься.

– Выходит, опять ваша любимая теория – два сорта людей?

– Извини, но это так и есть. Это не значит, что вы хуже нас – вы, наверное, лучше, но вы просто не художники.

– Художники бывают разные, – говорит художник, – бывают плохие художники. Во-вторых, они все пишут картины. А ты почему художник?

– Мой друг, я актриса.

– Актриса и есть актриса, ничего общего с художником. Ваша профессия во все времена, у всех народов считалась подлой... В основе лежит ложь – вы изображаете то, чего не чувствуете.

– Браво, великолепно! Какие глубокие мысли! Где ты их вычитал, милый, в “Крокодиле”?

– Во-вторых, актриса должна играть. А что ты играла за пять лет, кроме Снегурочек?

– Если мне не дают играть, это не значит, что я не могу.

– Да что это за работа такая, Господи, что какой-то болван может тебе дать или не дать?

– Это работа актёра.

– В таком случае, работа уборщицы – свободнее, и чище, и более творческая.

– Менее.
– Перестань. Ваше творчество – это «чего изволите?» Прикажут – голый разденусь, прикажут – Ксению Годунову изображу.
– Именно! Именно так! В этом и есть ремесло актера.
– Такого ремесла не нужно.
– Оно нужно людям.
– Здравьете! Теперь о людях вспомнила... Да у вас все людское, вечное – пеленки, похлебка, палец в носу – называется мещанством. Вы с этим боретесь.

– Именно, мы поднимаем людей из обыденной жизни на вершины духа.
И тогда художник не выдержал и зарычал на актрису:
– Как ты смеешь говорить про вершины духа, когда сущий болван решает за тебя, что ты будешь делать завтра – догола разденешься, Ксению Годунову изобразишь или опять ни черта не будешь делать?!

И актриса ответила:
– Когда ты в первый раз изрёк эту чудовищную пошлость, я промолчала. Но ты её повторил, и это конец. Сам виноват.

Она ушла, а художник только сжимал и разжимал кулаки, повторяя ей вслед: «Пожалуйста. На здоровье», – так он разозлился, но потом он подумал: «Что, если я поступаю нехорошо? Непорядочно? Ведь я ещё не использовал одну возможность».

Художник имел в виду тайну своей настоящей профессии. Он предполагал, что любой актёр (пускай даже народный) в глубине души знает себе цену. Как бы страшно ни заносился он перед человеком безвестным, так же полно и страшно сробеет он, уничтожится перед авторитетом – конечно, если на авторитете будет иметься ярлык с разборчивой надписью.

Поэтому план его был прост. Пойти в художественную лавку, продать какую-нибудь картину – её там вывешят, – а потом сообщить Татьяне или молча заманить её в эту лавку. Узнав, что он художник, актриса выслушает каждое его слово и захочет изменить свою жизнь. Так он предполагал.

Но у художника не было готовых картин для продажи. Вот уже четыре года он писал большую картину под названием “Сон Иакова” и не мог никак оторваться. Поэтому художник нарисовал одной рукой Петропавловскую крепость, просто так, из головы, и понёс в художественную лавку.

Приёмщик сказал: «Что там у вас, ничего не вижу», – тогда он развернул свою картину. Приёмщик посмотрел и за сердце схватился. Потом спрашивает:

– Что это, неужели Пиросмани?
А художник свободно так:
– Нет, это работа моя.
– В таком случае, скажите, как вас зовут?
Художник представился.
– ...Нет, не помню. Вообще, покажите ваш документ, что вы художник.
– Какой документ? У меня есть паспорт, паспорта достаточно?

Приёмщик видит: наивный человек, как будто малый ребёнок или с Луны упал, но он ему понравился, и стал объяснять:

– Допустим, если бы вы были Куницын, то я бы вас оценил... – называет вполне порядочную сумму с двумя нулями, – а раз это вы, то заберите.

И художник не возмущился, ничего, сразу же стал скручивать свою картину и спрашивает с таким искренним любопытством:

– Почему это так, объясните.

Приемщик сперва нахмурился: мол, долго объяснять, и почему это я должен первому встречному что-то объяснять, – но, глядя на художника, быстро успокоился. И говорит ему:

– Вот вы представляете, сколько даже у нас в одном городе принимают людей в Союз художников? Раз в пять больше, чем нужно. Но из тех, у кого есть диплом художника, принимают в Союз тоже одну пятую часть. Вот и посчитайте: у нас выпускают художников в двадцать пять раз больше, чем нужно.

– А сколько нужно? – художник спрашивает.

– Вот именно, потому и набирают с запасом... Сами-то вы где заканчивали?

– Я художественную школу заканчивал, посещал курсы... Одно время я посещал художественную студию на Гончарной улице – слышали про такую?

– Нет, не слышал.

– Ясно... Но вы понимаете в этом, неплохая ведь картина?

Тогда приёмщик объяснил, что картина ничего не значит сама по себе. Сейчас повсеместно люди безо всякого образования подделывают манеру Рафаэля – и нельзя отличить. Красивой картинкой никого уже не удивишь в наши дни; важно то, чего нельзя подделать – личное “Я”, пусть даже совсем кривое и страшное, но чтобы до тебя его не было. Правда, отличить, личное у тебя “Я” или с кого-то срисованное, никому не под силу, и даже если два критика по отдельности разбираются, то, сойдясь вместе, не могут договориться. Поэтому в Америке – там конкуренция, самореклама, и если какой-нибудь один нашёлся настырный, всех забил, распугал, нашёл кучу покупателей, – тот у них и художник. Сразу же критики находят у него личное “Я”. А у нас это по-другому.

– А как это у нас? – художник спрашивает.

– Ну, как вообще везде, как в науке... Собственно, это германская система у нас, заведена ещё Петром I.

– И тут напортил, – говорит художник.

– То есть вы поступаете на государственную службу, берёте место – сначала маленькое. Если вы добросовестно служите, ничего не нарушаете, то лет через двадцать появляется резолюция, что вы обладаете личным “Я”. И действует уже до конца, до вашей смерти.

Художник выслушал его с улыбкой, приёмщик тогда спрашивает:

– Вы, случайно, не надо мной смеетесь?

– Нет, я смеюсь, что я этого ничего не знал и надеялся у вас продать картину. У меня была своя причина – впрочем, это долгая история. Ну, до свидания? Счастливо оставаться.

– Решили бросить это дело? – спрашивает приёмщик. – Жалко, у вас талант.

– Как можно, нет. Просто не буду продавать.

– А знаете что? Вы подождите, – приёмщик говорит. – Вы мне понравились, я бы хотел взглянуть на ваши картины. Вы сегодня можете?

– Да, конечно, – художник говорит.

Вдвоём они закрыли художественную лавку, всё там заперли, свет потушили и поехали к художнику.

В автобусе приёмщик ещё крепился, а как начали смотреть картину “Сон Иакова”, говорит:

– Нет слов!

Сам сел поодаль, настольную лампу поставил... Долго любовался.

Так вообще – сидят, беседуют. Приёмщик разные вопросы задаёт, художник ему отвечает. И так всё толково, разумно – приёмщик даже растерялся. Спрашивает у художника:

– Наверное, вы много хороших книжек читаете?

– Да, люблю.

– Вот видите, я же и говорю вам... А жизни не знаете.

– Нельзя же всё сразу... – художник руками разводит.

Выпили ещё по чуть-чуть, посидели – художник не выдержал, рассказал про актрису. Приёмщик ему говорит:

– А вот это вы зря затеяли с самого начала. Вы поглядите в театре – сколько там уверенных мужчин, цветущих, с утра и до ночи совершенно свободных, – и вы посмотрите на себя. Она сколько зарабатывает?

– Рублей девяносто, я думаю.

– Вот видите! А воображение, как у актрисы: всего хочется, яркой жизни... Простите, а у вас какой заработок?

Художник назвал.

– Ну, вот... Чего же вы хотите? Вам самому надо есть, пить, да у вас на одни краски уйдёт половина зарплаты. А тут молодая женщина, актриса – на такси любит ездить, любит цветы. А у нас три розочки купить, даже в августе месяце – девять рублей. Разве вы можете?

– Всё правильно... – художник вздыхает. – Ваша правда... – А сам подсел ближе к картине.

Долго молчали после этого. Вдруг приёмщик стукнул себя кулаком по колену и говорит:

– Вы мне нравитесь я не знаю как! Попробуем вместе – смотрите, у вас нет допуска. А у меня есть один телефон, одного человека. Если вы ему нравитесь, этот человек сможет вывести вас на Куницына. Сейчас я вас научу, как ему понравиться. Вы любите Рериха?..

Поглядел, а художник его не слышит и шевелит в воздухе пальцами, воображая золотую лестницу,

И приёмщик, глядя на это, сам почему-то улыбнулся,

– Знаете, я вам завидую! – произнёс с облегчением. – Только уж забудьте про свою актрису.

– Про какую актрису? – спросил художник.

IV. ЛИКИ. ЛИЦА. ЛИЧИНЫ
(литературная и философская критика)

Александр Медведев

ВСЯКОЕ СОМНЕНИЕ – НАЧАЛО ГИБЕЛИ



В 2013 году Военная историческая библиотека Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации выпустила репринтное издание – «Памятка русского офицера». Издание входило в серию «Патриотическая библиотека» и увидело свет между двумя русскими революциями начала XX века. Любопытно ознакомиться с ним столетие спустя. Есть возможность несколько расширить представление об умонастроении части российского общества того времени, а также взглянуть на него сквозь призму сегодняшнего дня.

«Памятка» начинается с утверждения, что жизнь – это борьба отдельных людей и народов между собой. Она ведётся в социальных и государственных формах. Рост человеческой активности делает обе формы борьбы особенно напряжёнными. «Торговля, промышленность, наука и искусство, вместе с умножившимися международными сношениями, не ослабили борьбы между людьми и народами, как думают иные, а наоборот, усилили её» – пишет автор. Исторический период с середины 1980-х гг. по настоящее время аналогично иллюстрирует данное положение. С падением «железного занавеса» и наметившимися воодушевлёнными перспективами жизни в «открытом обществе», в мире без каких бы то ни было границ – таможенных, культурных – граждане России стали беспрепятственно посещать зарубежные страны, осуществлять торговые, производственные, научные и культурные контакты с иностранными партнёрами. Действительно, «иных», думавших, что открытие границы, отказ от идеологии, одностороннее разоружение, свободный доступ иностранных компаний к российским ресурсам сделают мир более безопасным, чем он был начиная с окончания второй мировой войны, – таких «иных» в российском обществе нашлось немало, ещё больше их обнаружилось в тогдашних властных структурах. Последующие события выявили иллюзорность надежд на добрососедское, по-настоящему партнёрское существование «обновлённой, свободной» России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Эти иллюзии до сих пор не изжиты полностью, – часть общества считает, что мы недостаточно открыты миру, не явили по-настоящему своё миролюбие, что пора отказаться от «вбитой ещё больше вилами» идеи, будто Россия есть осаждённая крепость среди зарящихся на её богатства соседей. История неизменно показывает, что Россия и в самом деле была и остаётся лакомым куском для ближних и дальних соседей, которые не только не отказываются от известных форм борьбы за обладание этим куском, но изощряются в поисках новых.

В «Памятке» сказано, что даже наука и искусство служат усилению внутренней социальной и внешнеполитической борьбы. Они могут, «как слуги известных народов и государств в деле развития знаний и идей, послужить в укреплении и развитии чувств патриотизма, с другой – в отрицании его, если принимать в соображение некоторые формы ложной и вредной социальной борьбы». Вновь и вновь современность даёт множество подтверждений этому заключению. С одной стороны, последние четверть века показали, что Министерство культуры РФ более чем лояльно к деструктивным процессам в искусстве. Это подтверждается государственным финансированием кино- и театральных проектов, демонстрирующих низменные стороны человека, искажённо отображающих прошлое нашей

страны. Об этом можно судить, не вдаваясь в перечень свидетельств, хотя бы по поддержке Министерством культуры частной премии «Иновация» в жанре современного искусства 2011 года, которой были удостоены участники арт-группы «Война». Их «произведение» – похабный рисунок на Литейном мосту Санкт-Петербурга, направленный на дискредитацию ФСБ, государственной организации, выполняющей задачи национальной безопасности. С другой, министр культуры выступил с инициативой создания Военно-исторического общества, чья деятельность направлена на патриотическое воспитание молодёжи – составной части той же национальной безопасности. Далее. Премьер-министр высказывается в защиту прав художника трактовать образ исторической личности так, как тот считает нужным, не учитывая мнений специалистов-историков, духовенства. Он защищает, таким образом, самочинное право режиссёра творить *свою* историю, в частности, глумиться над канонизированным Церковью царём-страстотерпцем. На этом фоне патриотически настроенные деятели искусства неустанно указывают, что подобная благосклонность власти к «художественному» произволу превращает культуру и искусство в опасное антигосударственное оружие, в подспорье силам, расшатывающим духовные, патриотические и гражданские устои.

Здесь уместно процитировать вопрос из «Памятки», вновь встающий перед обществом современной России, и ответ на него. «Разумные существа, борясь *за всё лучшее* (курсив мой – А. М.) для себя как в социальной, так и в государственной форме, должны и могут бороться за него только тогда, когда уверены в своей правоте, уверены в том, что борются за благое, правое и лучшее, а не за злое, ложное и худшее. Отсюда возникает вечный вопрос, что же добро, и что зло, и что считать их критерием». Автор брошюры отвечает так: «У человека и народов есть только один критерий этого, это – разум».

Всякий знакомый с мировой историей невольно вспомнит о «верховном разуме», велением которого деятели Французской революции вершили красный террор. Сегодня люди, движимые разумными, по их понятиям, побуждениями, ратующие *за всё хорошее против всего плохого*, также рискуют свергнуть Россию в кровавый хаос. «Перестройка» середины 1980-х - начала 1990-х годов СССР - России, Киевский майдан 2014 года показали следующее: упование на разум сводится к желанию мгновенного получения в пользование немереного количества «общечеловеческих ценностей». Химера оборачивается обнищанием значительной части населения, научно-технической и культурной деградацией, имущественным и идеологическим расслоением, гуманитарной катастрофой и гражданской войной. Со времени Февральской и Октябрьской революций 1917 года ничего в этом смысле не изменилось, и опыт подсказывает, что иной сценарий невозможен. Ответственная власть может и должна предвидеть последствия упования на эфемерный разум, когда дело идёт о государственном строительстве и безопасности, иметь чёткое представление о норме и здоровье всех страт общества. Автор написанной более века назад, «Памятки» обращает внимание на следующее. «За последнее время спутанный, взволнованный множеством влияний разум русского человека и русского государства помрачился. Он уже не мыслит ясно, справедливо и едино. Он полон противоречий и заблуждений, он весь под влиянием страстей, – он болен». Такой вывод несложно сделать,

вспоминая поздравительные телеграммы японскому императору в ходе Русско-Японской войны 1904 года от продвинутой части российских интеллигентов. Не оставляет сомнения в помрачении разума и циничная шутка, забавлявшая этих же прогрессивных людей, дескать, «московский генерал-губернатор наконец-то пораскинул мозгами» – это о Великом князе Сергее Александровиче, взорванном в феврале 1905 года террористом И. Каляевым, Поэтом, как называли его товарищи. Подтверждением истины, что «сон разума рождает чудовищ», следует назвать, случившийся гораздо ранее революционных потрясений, восторг общественности по поводу блестящей защиты юристами П. А. Александровым и А. Ф. Кони террористки Засулич, которая в 1878 году стреляла в петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова. Возбуждённый этой победой, общественный разум не замедлил благословить бомбы в руках Халтурина, Желябова, Перовской, провозгласил их героями, на долгие годы идеалом для подражания.

«Кипит наш разум возмущённый...» Безусловно, автор «Памятки» был осведомлён о волне немотивированного хулиганства, о грабежах и терроризме, охвативших Россию в период 1905 и в последующие годы, что в глазах либеральной интеллигенции было проявлением революционного подъёма масс. Отсюда он делает вывод. «Только часть русского общества и народа ещё сохранила здоровье разума. По всем признакам, этого здоровья осталось больше всего у половины русского неиспорченного крестьянства и русской армии». Вывод этот не вполне утверждение, скорее, надежда, апелляция к пошатнувшемуся порядку вещей: армия, защищающая государство и народ, должна пользоваться их уважением и доверием. «Эта аксиома ещё не признана таковой, – пишет автор. – Хотя одной только своей армии обязан русский народ своим существованием и спасением, он не только не понимает этого, но, как истинный невежда и варвар, не уважает и не доверяет своей армии и даже иногда обвиняет её за все свои несчастья».

Мощнейшая армия России оказалась бессильной воспрепятствовать Февральской и Октябрьской революциям 1917 года. В 1991 году Вооружённые Силы СССР также не встали на защиту государства. Россия слиняла в два дня, высказался В. Розанов о февральских событиях 1917 года, трагическим фарсом повторившихся в августе 1991 года, когда слинял Советский Союз. Нельзя однозначно определить истоки безразличия, нарушения присяги, как угодно можно назвать явление отказа «офицерства защищать благо известной страны и народа» в критические моменты истории, выражаясь языком рассматриваемого издания. Но одно можно сказать с уверенностью. Циничное заявление нерадивого чиновника инвалиду воину-афганцу – «Я вас туда не посылаю!» – становилось для строевого офицера сигналом-предупреждением: «Ты потенциальная обуза государству, рассчитывай только на себя!» Ложь под видом разоблачения зверств российских войск в Афганистане, произносимая академиком Сахаровым с трибуны съезда Верховного Совета также сигнализировала – «Офицер, тебя презирает российская интеллигенция!» Воинство воспринимало такое отношение к себе общенародной неприязнью. Это восприятие привело одних к морали «после нас хоть потоп», других – к отчаянному решению свести счёты с жизнью.

Разумеется, не весь народ невежда и варвар по отношению к своей армии.

Небывалое для постсоветской России по людскому охвату явление «Бессмертный полк» – это свидетельство глубокого народного уважения и любви к армии. Иная картина, когда дело касается кино, ТВ, литературы и СМИ. Здесь, наряду с достойным освещением исторической и современной роли российской армии густо разлито очернительство, возведён ложный гуманизм, принижение великих подвигов творцов Великой Победы – всё, как ни странно, на деньги государства или госкорпораций.

В перестроечные годы публицистика внедряла в общество новые нормы морали, одна из них – не верь, не бойся, не проси. Она перечёркивала глубинные русские упования на Веру, страх Божий, то есть, совесть, на незыблемое – стучите и вам отворится. Оскудела вера народа в героическую историю предков, в свои силы... И как следствие – обострение искусственно вызываемого комплекса национальной неполноценности, транслируемого рядом СМИ, на грани призыва к современным «варягам» – «Придите, владейте нами...» Не случилось тогда издания брошюры, повторившей бы слова «Памятки» вековой давности: «Верьте, русский офицер, в великое ваше призвание. Не сомневайтесь в его величии потому, что всякое сомнение начало гибели».

Впрочем, и в рассматриваемой брошюре начала XX века, наряду с благородными званиями – «Русская армия призвана покорить мир и насадить в нём высшее благо, высшую силу, высшую культуру людей» – есть странные противоречия. «Просвещённый офицер отлично понимает, что лучших, более разумных форм жизни на земле можно достигнуть не уничтожением культуры, не отрицанием её, а её утверждением и совершенствованием, *как бы ни была бедна и молода эта культура, как например, русская* (курсив мой – А. М.)».

О «бедности» русской культуры странно слышать. Именно просвещённые офицеры явились гордостью отечественной литературы, музыки, искусства. Художники – П. Федотов, В. Верещагин; музыканты – Римский-Корсаков, М. Мусоргский; писатели – М. Лермонтов, Л. Толстой – и это только вершины колоссального айсберга отечественной культуры. На Руси, в России испокон веку культуру творил человек, служивший государству. Он же составлял основу духовенства, неиссякаемого источника и хранителя культуры, назовём только святых Игнатия Брянчанинова и Даниила Ростовского, бывших офицеров. Истины ради не стоит забывать и то, что среди этих же высокоодарённых умов и талантов находились активные противники государства как такового, и русского в частности. Полковник Павел Пестель, бывший поручик артиллерии Лев Толстой, несостоявшийся артиллерист Михаил Бакунин, бывший есаул Амурского казачьего войска князь Пётр Кропоткин... Пехотный подпоручик Александр Куприн в 1905 году написал повесть «Поединок», социальный заказ, в которой тенденциозно показан армейский быт и вослет тип пассивного мечтателя в офицерских погонах. Впоследствии Куприн пересмотрел своё отношение к русской армии, но... что написано пером, не вырубишь топором. Полтора десятка экранизаций этой повести свидетельствуют, что полуправда, талантливо поданная, всегда востребована для активного смущения умов на счёт российской армии.

В 1917 году «Революция пришла в Армию с тыла» – заключил

Б. В. Никитин, начальник контрразведки Петроградского военного округа с марта по июль 1917 года (Никитин Б. В. Роковые годы. Новые показания участника. Москва, Айрис-Пресс, 2007). В это время в Петрограде и окрестностях расквартировалось около 300 тысяч войск. Они заведомо не предназначались к отправке на внешний фронт, привлечённые к участию в политике, «как бы на случай междоусобной войны». Что это за война, и за какие политические программы, они узнали через восемь месяцев. Перед тем, 2 марта 1917 года, был выпущен приказ № 1, а 14 марта – полуофициальное издание декларации прав солдата. Эти документы отменили власть начальников, ввели комитеты, уничтожили дисциплину. «Без идеи, без дисциплины перед нами были не войска, а вооружённая толпа, для всех одинаково опасная» – писал Б. В. Никитин. «Среди тыловых офицеров, в некоторых местах пригорода и столичных командах, сразу появляются революционные коменданты из старых и убеждённых противников дисциплины. Нельзя также обойти молчанием другой тип, правда – немногочисленный, но знакомый армии. Обыкновенно – это поручик, обязательно со скверной боевой репутацией, митингующий, посылающий делегации и добывающийся выборным порядком должности командира полка. Уже в конце марта в Петрограде трудно было найти стоящих на часах солдат: все часовые сидели на стульях и табуретах, а около них стояли прислоненные к стене винтовки. К этому надо добавить, что идя на пост, солдат никогда не забывал запастись семечками и папиросами».

«Памятка русского офицера» вышла за десять лет до описываемых Б. В. Никитиным примеров разложения армии. Но и в то время некогда твёрдая почва русской культуры и государственности, уже не была надёжной. Примеры тому уже в самой «Памятке». Кажется, из благих побуждений автор взял эпитафией к тексту следующие слова: «Мы должны воспитывать в нашем солдате мужество. Это величайшая способность». Сложно не согласиться со сказанным. И всё же, уместны ли эти слова в патриотическом издании? Их автор – Декарт. Оставим вопрос, безоговорочно ли мы принимаем Декарта-мыслителя, остановимся на другом. Неужели на данную тему не размышляли отечественные умы? «Дух укрепляет в вере отеческой, православной. Безверное войско учить, что перегорелое железо точить», – на века изрёк А. В. Суворов, ярчайший представитель нашего воинства, непобедимый полководец. Почему бы не взять его слова? Отчего предпочтение французу? Как, позвольте узнать, русскому офицеру, с детства помнившему «Бородино» Лермонтова – «постой-ка, брат мусью!» – прикажете воспринимать наставления, пусть и учёного, «мусью»?

Дело, конечно, не в том, что сказанное иностранцами, нередко врагами в разные периоды истории, не может стать эпитафией к наставлениям русским воинам. Может. Мнения противника о героизме и мужестве русских, вероятно, были известны автору «Памятки», написавшему её вскоре после Русско-Японской войны. Японцы, ценившие воинский боевой дух, не-однократно подмечали героизм русских моряков и солдат. Известна история рядового Василия Рябова, задержанного японцами во время разведки. Рябов выдержал допрос и не выдал военной тайны. Перед расстрелом вел себя достойно.

Восхищённые мужеством русского рядового, японцы отправили нашему командованию записку. *«Наша армия не может не высказать наших искренних пожеланий уважаемой армии, чтобы последняя воспитывала побольше таких истинно прекрасных, достойных полного уважения воинов»*. Японская записка, пожалуй, была бы более уместной для эпитафии, говорящего русскому офицеру о мужестве, чем «общечеловеческая мудрость» Декарта, если уж речь зашла о непременном привлечении иноземного авторства.

Не менее странен выбор второго эпитафия.

«Каким должен быть мужчина у себя дома, готовым, если понадобится, защищать свой семейный очаг от растления и погрома, таким же он должен быть, но в ещё более самоотверженной мере, на границах своей страны и для того, чтобы до конца выполнить этот важнейший долг свой, в этом случае он должен быть готовым, если понадобится, отдать дом свой на разорение».

Это принадлежит Джону Рёскину, искусствоведу, учителю изысканного Оскара Уайльда, идеологу прерафаэлитов – предтеч символистов и декадентов в целом. Кстати, декор оформления обложки «Памятки русского офицера» – орнамент в духе прерафаэлиты Уильяма Морриса. Украшение приятно, но всё же подобная пикантность более уместна на коробочке пудры, а не на обложке воинского издания. Такое впечатление, что автор брошюры не видел (или не счёл нужным заметить?) удивительный подъём отечественного книжного оформления начала XX века в лице И. Билибина, В. Васнецова, Нарбута, А. Бенуа, Добужинского?.. И ещё. Текст Рёскина вызывает смех сквозь слёзы, заставляя вспомнить закадровую сентенцию фильма «Семнадцать мгновений весны» о том, что Штирлиц знал – последняя фраза запоминается отчётливее всего сказанного. Получается, русский офицер должен был запомнить это – «...отдать дом свой на разорение»?

Цитаты из французских и английских авторов эпитафиями на документе, призванном мобилизовать дух русского офицера?.. Впрочем, что в том странного, если вспомнить, что в это время (1904–1907 гг.) сформировался военно-политический блок России, Великобритании и Франции – Антанта (фр. Entente – согласие). То же название носил и англо-французский союз 1840-х годов, который вместе с Османской империей воевал с Россией в Крымской войне 1853–1856 гг. Этот же союз участвовал в интервенции четырнадцати государств против России в Гражданскую войну 1918–1921 гг. О случайности выбора «союзных» лиц для эпитафий рассматриваемого исторического документа говорить не приходится. Можно рассуждать об авторе «Памятки», как об агенте влияния или как о *полезном русском*, что почти одно и то же. Вся разница, вероятно, в том, на «союзном» ли бюджете он находился или действовал на безвозмездной основе, по зову сердца прогрессивного человека?

Кто же он, автор любопытного издания, отражающего смятение российского общества в предчувствии надвигающейся катастрофы 1917 года? Над составлением «Памятки» потрудились писатель и публицист, скульптор – Лев Львович Толстой, сын великого русского писателя графа Льва Толстого. В юности увлекался идеями отца, был вегетарианцем, но вскоре перешёл на противоположные позиции. В книге «Правда об отце и его жизни» (Прага,

1923 г.) Лев Львович писал: «Никто не сделал более разрушительной работы ни в одной стране, чем Толстой... Не было никого во всей нации, кто не чувствовал бы себя виновником перед суровым судом великого писателя. Последствия этого влияния были прежде всего достойны сожаления, а кроме того и неудачны. Во время войны русское правительство, несмотря на все свои усилия, не могло рассчитывать на необходимое содействие и поддержку со стороны общества... Отрицание государства и его авторитета, отрицание закона и Церкви, войны, собственности, семьи, – отрицание всего перед началом простого христианского идеала; что могло произойти, когда эта отравляющая сила проникла насквозь в мозги русского мужика и полуинтеллигента и прочих русских элементов... К сожалению, моральное влияние Толстого было гораздо слабее, чем влияние политическое и социальное».

Действительно, моральное – «Надо жить, надо любить, надо верить» – из «Войны и мира», ключ к самосовершенствованию, не могло и, к сожалению, и сейчас не может даже на короткое время повернуть полуинтеллигента на благое дело незаметного подвижничества во благо России. Зато несравненным возбудителем к его решительным, вернее, безрассудным, часто противозаконным действиям была и есть публицистика отрицания общественных, культурных, религиозных и государственных устоев графа-анархиста. Разум полуинтеллигента, всегда готовый закипать по любому поводу, легко воспринимал Толстого всегдашнего протестанта, не желал видеть Толстого-художника, философа, бережно касающегося сложнейших вопросов бытия, не имеющих простых решений. В делах, упомянутых ранее, Перовской, Желябова, террористов-народовольцев, убийц Александра II, Лев Толстой принял активнейшее участие. Его письмо Александру III, сыну убитого государя, ходило по рукам. Из текста выходило, что казнить императора и убить вместе с ним полдесятка ни в чём не повинных людей – можно, но казнить террористов – нельзя. Убийц нужно было простить. Явная глупость. Однако если её назвать непровлением злу насилем, тогда другое дело. Тогда о непровлениии злу – о толерантности – гуманизме – ценности человеческой жизни... – можно бесконечно, вплоть до сегодняшнего дня и далее говорить, невзирая на творимые террористами преступления.

Оппонент своего отца – убеждённого анти-государственника, пацифиста Льва Толстого, Лев Львович Толстой всё же странен в качестве автора «Памятки русского офицера». Он не нашёл на русской культурной и патриотической почве соков, которыми напиталось бы данное издание, ограничился внешне верными, но бескровными, общими положениями. Виктор Шкловский утверждал, что Л. Л. Толстой лишь «формально принадлежал к искусству и, будучи плохим писателем, плохим скульптором, сгорал от зависти к отцу и в своих дневниках, перебивая изложение, писал о том, как он ненавидит своего отца» (Шкловский В. Б. «Лев Толстой»). В 1896 году Л. Л. Толстой женился на Доре Вестерлунд, дочери шведского врача, в 1918 году эмигрировал из России.

Рассматривая этот странный документ эпохи, начинаешь сознавать, что неформальная «Памятка русского офицера» написана другими людьми и другому. Её – стихами и песнями – создавали не сторонние наблюдатели, увлечённые французской философией и английским искусствоведением,

сетующие на бедность русской культуры, а настоящие офицеры. Это Николай Гумилёв (*Словно молоты громовые / Или волны гневных морей, / Золотое сердце России / Мерно бьётся в груди моей. 1914*). Это Иосиф Каллиников (*Тебя не тронет Смерть, с тобою Небожитель, / Сестра страдания, святая красота! / Горит в тебе любовь, светла её обитель – / Тебя она хранит под знаменем креста. «Сестра милосердия». 1915*). Это Юрий Лисовский (*Русская культура – это очень многое, / Что не обретается ни в одной стране.*) и многие другие, находившие для воинов слова прямого действия.

Свой вклад в поэтическое и песенное творчество, укрепляющее боевой дух русских воинов, внесли не только офицеры-монархисты или приверженцы построения республиканской России. Нередко на один и тот же мотив складывались разные слова в Белой и Красной армии, но объединяла их преданность Родине, готовность отдать жизнь за други своя. В 1941 году издательство «Искусство» выпустило плакат «Суворовцы–чапаевцы» со словами: *«Бьёмся мы здорово, / Рубим отчаянно, – / Внуки Суворова, / Дети Чапаева»*. Невозможно представить, чтобы в то опаснейшее для страны время подобный плакат содержал бы слова иностранных мудрецов – будь то Декарт, Шопенгауэр, Ницше или кто другой. Но иностранное влияние вполне представимо оказалось впоследствии. На излёте 1990-х годов можно было лицезреть на российском ТВ подразделение ВС РФ, samozабвенно горлянившее на плацу песню In The Army Now («Теперь ты в армии») британской группы Status Quo. В этом, конечно, нет вины Л. Л. Толстого, усомнившегося в начале XX века в силе вековой русской культуры, не имевшего веры в талант и самостояние русского народа, питающего эту культуру. Не с него началось безверие, сомнение в себе, как в неполноценном представителе просвещённой и высокотехничной Европы.

С огульным отказом от советского прошлого, когда бытовало осмеянное позже выражение «у советских собственная гордость», в нашем обществе вспомнили и стали утверждать пагубную мысль о безусловном преимуществе всего западного во всех отраслях человеческой деятельности, об отсталости всего отечественного. Правда, в мире не может быть всё одинаково устроено, это нормально. Ненормально, если локальные преимущества иностранцев в тех или иных областях техники, социума вселяют тотальные сомнения относительно природы всего и вся отечественного. Об этом много сказано русскими писателями, мыслителями, общественными деятелями прошлого и современности. И мы не имеем права сомневаться. Для тех же, кому последней инстанцией в укреплении всякого суждения всё же служит благословенный Запад, приведём слова одного из авторитетнейших его умов:

Сомнения – предатели: они
Проигрывать нас часто заставляют
Там, где могли б мы выиграть, мешая
Нам попытаться.
В. Шекспир. Мера за меру.

ЛЮДМИЛА БУБНОВА

КРИТИК

Зал ждал Критика. Критики у нас есть? Значит – литература есть, теплится, может быть, рыдает, но определённо существует...

Так есть литература? Или её критики делают? Спорят, сомневаются, надоело... кризис. Да где кризис? В нашем союзе выходят в год сотни книг. Да в другом союзе сколько, а в теневом издательском производстве вообще не учтено – так разве литературы нет? Как нет? Везде полно!

Критик пришёл, сел за стол. Папку перед собой разложил – сейчас начнётся...

Серо-белыми волосами до плеч закрыты затылок, лоб, уши... рукой прикрывает глаза – лица почти не видно. Нетерпеливым жестом, медлительной рукой он вынимает из жёлтой прозрачной папки ничтожный на вид сборник – так теперь часто выглядят сборники стихов. Он говорит:

– Время сейчас сосредоточилось и уходит в премии... – Он стал прочитывать в предисловии к сборнику название каждой именной литературной премии, наградившей поэта. Было расписано 17 или 23, или 50 премий.- Знаем мы этого автора (он прочитал ФИО)?.. А его инфантильную поэзию?..

– Ну бабахнул! Это что, последний анекдот? – голос из зала.

– О! Проснулись! – в воздухе весело зазвенело.

– Не анекдот! За год больше семисот премий, литературных, именных, выдают, – другой голос из зала.

– За литературу?

– Кич! Безвкусица! Дурное тщеславие! – яростный голос из зала.

– Ты уже премию получил?

– Нет. Но надеюсь. – Зал весело смеялся долго, самозабвенно. Смех слоями затихал и снова оживлялся.

Критик ещё что-то говорил, но слушали плохо, гомонили сами с собой – мысль была задана в приятном русле. Критик наслаждался оживлением.

Прошли два часа: говорили много, сказали мало.

"Что за лица – смазанные, одинаковые... Не то что в шестидесятые годы – одухотворённые были люди! У нас был тогда Космос – наше вдохновенное богатство. Прекрасная Земля маленькой оказалась, зато Вселенная Космоса – романтически великой! Космос спасал от всего: от бедности, от войны, от беды... А литературу обновили ребята шестидесятых – дети победителей в Великой Отечественной принесли юмор, иронию, самоиронию, живость слога, внутреннюю наполненность слов... Городов, домов настроили по всей стране: люди из коммуналок получали бесплатно отдельные квартиры... Тут нет людей – ни одного лица, сплошные майки..."

Он встал, бросил в портфель свою папку – вид был усталый, как после трудной работы, – и побрёл вон из зала.

О первого ряда вскочил мальчик, забежал ему навстречу;

– Я – есть!! Я – есть!

– Ты – есть. Как ты сюда попал?

– Я с бабушкой.

– Беги к бабушке. А то потеряешься... – Довольный мальчик побежал вприпрыжку, светлый хохолок на макушке взлетал от прыжков, мальчик на первом ряду самостоятельно сидел и слушал спокойно.

Критик забеспокоился: ведь он думал про себя и не говорил вслух. но если мальчик услышал, значит, может быть, сказал? Или не говорил? Вспоминал – не мог вспомнить: подумал или сказал?

Быстро шёл по улице. «Так сказал или только подумал?.. Думать можно, вслух говорить такое нельзя! Убить могут – и правильно сделают! – за оскорбление чувств людей: на лицах "пишутся" чувства, всегда готовые оскорбиться».

Беспокойство, как наваждение, подгоняло домой.

«Кажется, вслух я не говорил... А вдруг нечаянно вырвалось, не уследил за собой?.. Кроме мальчика, кто-нибудь мог услышать?.. Нехорошо получилось. Что со мной происходит?..»

Настроение было неотчётливо скверное.

Критик, твой век прошёл – не верится? Неужели так быстро? Обрывки века заметны в хаосе твоей неуверенности. Ты "взял" публику теперешней её современностью – браво: нет цены твоей лекторской сообразительности. Ты верно понял: теперь критика заменяется комментарием и премиями. Кто теперь знает, кто такой профессионал? Такие здесь теперь не ходят. Ты не сказал ничего существенного. Это и есть ответ твоего века: говорить можно было многое, но всегда опасаться сказать главное. Фраза века тогда определённо выкристаллизовалась: думать одно, говорить другое, делать третье... думай что хочешь, говори что можно, делай что-нибудь – не работать нельзя, сочтут тунеядцем, осудят...

Ты не виноват, век виноват... хотя как посмотреть: найдётся на критика критик, и более злой, чем хотелось бы... приспособленец, конформист... начал разбирать произведения классиков XIX века в подражание старым послереволюционным критикам-литературоведам, их много пришло в литературу после Октябрьской революции, собственно, тогда они и командовали литературой и на разборе произведений "критического реализма" делали себе внушительные карьеры.

«Ну что эти смазанные лица – девяностые годы зло прошлись, прокатились по сознанию людей. Люди сами не виноваты. Или виноваты? Революция – социалистические, демократические, глобальные, толерантные, оранжевые, тюльпановые, орхидеевые и всякие другие – елозят по миру: никому не уберечь СВОЕГО лица, всё прежнее под корень режут... всё призрачно. Перепутано относительно здравого смысла и всего другого... – теория относительности выведена не зря. Она работает и в положительном и в

отрицательном смысле. В конце концов, я советский человек – весь в норме и жёстких рамках. После ужасных девяностых я должен сразу переделаться... во что? Было бы во что!.. За что бы зацепиться... И у меня на лице написаны слабость, неуверенность. У кого бы спросить, что у меня на лице? Спрошу жену – она у меня хорошая! Лицо милое, доверчивые глаза. Почему у неё слишком доверчивые глаза?..

В девяностые её НИИ закрылось, она сутками дежурила на автобазе, самоотверженно выручала семью, не было других заработков... Она замечательная жена! Спрошу, что у меня на лице, она скажет: «Написано " дурак"». А больше ничего не написано? «Сам знаешь. Сто лет живёшь с женой и никогда не знаешь, что от неё можно ждать...»

Что не успел сказать на лекции, снилось ему во сне. Будто вольно расхаживает перед слушателями. Их лица сливаются и растягиваются в одну линию: сначала с востока на запад, потом с запада на восток.

Говорит:

«Айфоны, смартфоны, контенты, сайты, аккаунты и другие электронные игрушки – функция добавленной реальности, портал в другой мир. В Америку? В Англию? Или далее?.. На публику, как попугаи, твердят: Пушкин, Толстой, Достоевский... Кого обмануть хотят? Два века прошло: мысли мёртвых гениев не оживят современность... Русский язык уже потеряли. Слова родного языка нагло заменяют сленгом или лягушачьими на слух англицизмами. Всё – "который", "который" через два-три слова: который на котором; родного отца зовут "человек, который ...жил, который учился, который работал..." Говорят так образованные люди, не какие-нибудь оборванцы: те как раз в своём глаголе точны. Но литературу ВАШЕГО века не Пушкин будет делать – как потомки узнают в конце света о ВАШЕМ веке без литературы? А всесущая электроника оглушает ваши лица: на вас противно смотреть. Старые женщины с распущенными по плечам волосами, по канону Яги, что ли? Мужики с длинными волосами – как бабы – впадают в докультурно сказочный примитив?

Тугое слово родного языка должно быть навечно впечатано в лист белой бумаги, сделанной из многолетнего дикорастущего под солнцем и ветром дерева. Ваши электронные экраны следов не оставят – их выключит время, они и сейчас работают на пределе энергетических возможностей Земли и Солнца. От себя в Америку не убежишь, а уважать себя за преодолённые трудности – НАДО...

– А я люблю США! – раздался голос из зала.

– Люби – не разочаруйся! – злой голос из зала...

Критика разбудил мощный грохот. Сон прервался: гроза гремела и сверкала в городе.

«Опять, что ли, не то говорил!» – беспокойно вскочил с постели Критик и поглядел в окно: струи дождя залепляли стекло и смазывали свет фонарей на улице.

«А я мечтал посмотреть метеорный поток персеид. Вечно что-нибудь мешает тому, на что рассчитывал. Затрёпанные критиками классики и люди со смазанными лицами, чёрт побери, даже в сон бесцеремонно лезут».

Дождь мрачно рокотал по металлическому откосу подоконника.

«Персеид мне сегодня не будет».

Наутро, выспавшийся после грозы, Критик выбросил из рабочей папки сборник стихов утяжелённого многими премиями лукавого поэта на стол и приготовил книги для следующей лекции.

Он вышел на улицу, сходил в парикмахерскую – гладко побрился и коротко постригся.

Жена взглянула:

– Ты знаешь: тебе к лицу!

Он на это не рассчитывал, думал, опять вернёт что-нибудь крайне ироническое и парадоксальное, как всегда. Миг лёгкости бытия объял было душу.

Но так бывает по логике классической гармонии, а здесь не хватает осторожности, недоверия и вздора.

Туг в сознании всплывает отвратительное постмодернистское ругательство: "Женщина – инструкция по эксплуатации".

Вслух он, конечно, этого не сказал, но лёгкости сразу как не бывало. Снова стало сомнительно и тревожно на душе, Так неустойчиво мы теперь живём...



В. И. Чернышев

Перечитывая прошлый номер журнала

/

В. Овсянников

Авангард

Два стихотворения Тютчева

Два стихотворения Фета



Зинаида Серебрякова (Лансере)

В. И. Чернышев: **Перечитывая прошлый номер журнала**

«Художественный Авангард – значительное явление в искусстве по крайней мере с начала 20-го века, включающее в свою орбиту живопись, зодчество, ваение, поэзию, театр, музыку, литературу» – писал я в прошлом номере журнала, откликаясь на брошюру Е. Антипова «Век авангарда: подытожим» и на критический отклик на эту брошюру Л. Л. Бубновой.

Брошюра изобиловала намеками (или наветами?) на русский авангард революционной эпохи в духе статей о продающем родину Солженицыне («Оптом и в розницу») или даже о его дружбе с Бандерой (был такой пропагандистский советский фильм в начале восьмидесятых годов) и я не мог отличить мучеников русского искусства Малевича и Хлебникова от революционных комиссаров Троцкого и иже с ним; да, впрочем, даже соединение русских авангардистов начала двадцатого столетия с преуспевающими западными бизнесменами типа Пикассо и Дали оскорбительно для русской культуры! Надо исходить из аксиомы: «У нас мученики, у них дельцы!» – и эту аксиому я пытаюсь навязать вам, дорогие друзья», ибо хватит и вас угваривать, топор на обложке так может и притупиться!

Авангард неизмеримо шире, чем «Черный квадрат», в него входит и творчество Скрябина, Стравинского, Прокофьева, «к нему относятся несомненно гениальные Велимир Хлебников, Маяковский, ... помимо Малевича, в гениальности которого сиюминутные критики сомневаются». «Насмешки и оскорбительные намеки так же *неуместны!* и по поводу деятелей искусства, творчество которых, возможно, *«народу непонятно»* (по мнению партийных лидеров недавнего прошлого)» – писал я тогда, и «отрадно, что Л. Л. отдаёт должное «веку Авангарда» и даже намекает на то, что искусство по существу было всегда авангардным», и хотя она начинает свою статью с панегирика Е. Антипову, который, якобы, «мужественно, толково, с чувством – досадой и страстью, ... взял на себя смелое, своевременно неизбежно выстраданное в течение полувека, беспощадное суждение об этом художественном направлении», заканчивает она свои откровения неожиданно:

«Мой авангард я не предаю. Он начинался как искусство отчаянных индивидуалистов, а я вижу, как теперь не хватает индивидуального зрения, воли, характера ... у писателей, артистов и, естественно, у обывателей, – и везде в мире: удручающий всеобщий стандарт».

Традиция, традиция...

... Наизобретали мифов о богах – надо было изображать их в виде людей как можно величественнее для особой демонизации...

Навязали миру христианское единобожие – веками художники писали библейские легенды об аде, о рае, об апокалипсисе, чтобы люди боялись клерикалов, молились, слушались и подчинялись. Диктат церковного заказа был тотальным, таким образом дурили людям головы.»

Перечитываю статью Л. Бубновой – она словно ветер, ежесекундно меняющий направление – да она сама авангардна! И не зря же пишет: «Авангардный стиль – мой стиль, мне с ним до сих пор хорошо. Абстрактный

экспрессионизм состоялся ярко, звучно, агрессивно и закрепился на целый век – просто так его со счёта не скинешь.»

«Авангард разрушил школу? Как это могло быть?» ... – пишет она далее.

«Русские художники 20–30-х гг. были под запретом, хотя хорошо помню, в Эрмитаже над деревянной лестницей висела одно время вопиюще смелая абстракция В. Кандинского – откровенные яркие краски играли своей открытостью на большом полотне. Мне нравилась картина – я много раз ходила специально посмотреть её ещё раз: любование художника красками, цветом, свобода выражения завораживали.»

«... живопись стала сама собой, не зависимой от заказа, от диктата «реальной действительности». Живопись будто опомнилась: вышла из состояния прикладной дисциплины, перестала быть иллюстрацией псевдо-истории, социальной жизни, сумела вдруг избегнуть назойливо влезавшей во всё политики, религии с архаикой средневековых библейских легенд.»

«Авангардный стиль – мой стиль, мне с ним до сих пор хорошо!» – так заканчивает свою несколько пуганую, но страстную и убедительную статью Л. Бубнова – пусть же читатель хотя бы наспех перечитает ее в прошлом номере (а составил ли он труд ее все же прочитать? – ибо у меня иногда создается впечатление, что мы уже не только «ленивы и нелюбопытны», но давно уже явные и закоренелые мертвецы.)

Это не читатели перестали читать нас, писателей – это мы, писатели, перестали читать друг друга!

Ну, я вам еще покажу! Вы еще у меня поплачете! Вы еще пожалеете, что избрали меня редактором – но будет уже поздно! Придет, придет к двери вашей демон ЧК, подъедет «черный воронок» или карета Великого инквизитора – и будете вы давать показания чистосердечно, ничего не утаивая – и тогда-то наконец сбудется ваша затаенная мечта: читать вас будут вдумчиво и тщательно, почти под микроскопом (как, впрочем, и меня самого) – не так, как мы читаем других...



Артур Владимирович Фонвизин (1883, Рига - 1973, Москва).

Портрет певицы, поэтессы и мемуаристки Т. И. Лещенко-Сухомлиной (1903-1998).

В. Овсянников

Авангард

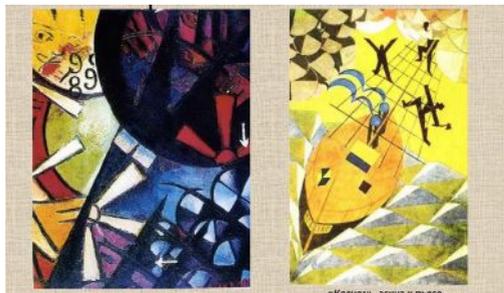
Авангард, идущая впереди часть войска, первый авангардист мира Адам, он же Казимир, несет стяг, на стяге – черный квадрат, древний знак: символ Земли, и космической земной силы. Или это, может быть, символ потерянного рая? Квадратный нимб Солнца, Эдемский сад, зиккураты Шумера и Вавилона, военные лагеря римлян, македонские фаланги, душа Пифагора, его тетрактис, мистический союз четырех стихий и четырех сторон, Венера плодородная мошь, черный квадрат женского каблучка Инь и увенчанная квадратной башней голова Кибелы. Знаем, знаем: Земля квадратна! Путь Земли – квадратный путь! Засеянное драконьими зубами поле, шахматное, шаманские карты и бубны, мандала индусов и священные квадратные танцы североамериканских индейцев. Квадратное сердце мусульман, терзаемое непримиримой войной четырех сил: божественной, ангельской, человеческой и сатанинской. Сердце нашего Достоевского, разрываемое борьбой Бога и Дьявола. Трон, храм и алтарь по всему миру стоят на квадрате. Разве нам уже не нужна целостность и устойчивость, разве мы враги себе, и у нас на стяге нашего впереди идущего, вместо квадрата с вписанным в него крестом (древнеславянский магический талисман, охрана своей родной земли) – чернень дракон? Может быть, авангард – это та самая «вещь в себе» Канта? Правильнее было бы перевести: «вещь как таковая». Или квадратный арзамасский ужас Льва Толстого в забытом Богом гостиничном номере? Черная дыра физиков в черном космосе, квадратная дыра небытия, антимира. Ведь квадрат, как известно – энергия в себе, а не из себя. Вот она в себя и затягивает, как чудовищный водоворот, воронка. Так сказать, квадратная точка в конце кремнисто-тернистого пути к звездам. Точка-то апокалипсическая. В нее-то и заглянул Казимир Малевич, авангардист номер один. И что же он там увидел? «... кто он и что в нем есть, никто над этим не думал, и поэтому я, занятый вглядыванием в тайну его черного пространства... сам возведу его, в дух творящий... вижу в этом то, что когда-то видели люди в лице Бога...». Пишет Малевич в одном из своих писем.

Только вот первый ли он, Казимир Первый в квадратной короне супрематизма? Были, были предтечи, как им не быть. Предвзятое мнение – что авангард непременно отрицание и разрыв с традицией. Истинные мастера не могут не быть авангардистами. Настоящий мастер всегда авангардист, всегда новатор. То есть – экстремален. Экстремист в своем искусстве. А какой же подлинный мастер порывает с традицией? Да куда ему от нее деться? От Земли-матушки? Манифесты? Что манифесты! Мистификация, игра. Почему бы и не посмеяться, не подурочить публику. Нет, Роберт Фладр, алхимик и герметист семнадцатого века навряд ли может быть заподозрен в смехе. Он первый в Европе (насколько нам известно) в 1617 году нарисовал черный квадрат, как картину, и назвал ее «Великая тьма». Мистично, символично, мрачно, англичанин. А вот французы через два столетия веселей. Пол Билход,

поэт, в Париже 1 октября 1882 года на выставке «Искусство непоследовательных» показал свою картину с изображением черного квадрата под названием «Ночная драка негров в подвале». А Альфонс Алле, писатель и художник-карикатурист, глава сфумистов, пошел дальше и сотворил не только полноценный черный квадрат за тридцать лет до Малевича, назвав это произведение по-сфумистки, то есть, пустив пыль в глаза: «Битва негров в пещере темной ночью», но и создал целую серию, всего семь квадратов разного цвета, каждый со своим названием. Белый квадрат: «Первое причастие бесчувственных девушек в снегу». Красный квадрат: «Уборка урожая помидоров на берегу Красного моря апоплексическими кардиналами». И т. д. Альфонс Алле также прославился тем, что почти за 70 лет предвосхитил «минимализм» в музыке, сочинив свой «Граурный марш на смерть великого глухого» (Бетховена). Это сочинение не содержит ни одной ноты, пустой нотный лист, и исполняется молчащим оркестром, не издающим ни единого звука. Своего рода музыкальный черный квадрат.

Но, само собой разумеется, эти шуточные эксперименты и казусы не могут умалить величие Казимира Малевича, который, в отличие от оккультных толкований и карикатурных клоунад, возвел черный квадрат на недостижимый космический трон.

Малевич своим черным квадратом замкнул электричество конца и начала, озарив пророческими искрами катастроф наш скорбный путь то ли по кругу (вечный уроборос), то ли по неведомой спирали, осветив и свою собственную и мировую ночь. Но авангард бессмертен. Ясно, как день. Кто-то ведь должен же быть впереди, зрячий, вести за собой слепых. Только бы он не оказался лжезрячий, такой же слепой, как и те, кого он за собой ведет, как на картине другого великого авангардиста своего времени, Брейгеля.



Картины В. Маяковского: Рулетка, 1915
Эскиз к пьесе «Мистерия-Буфф», 1919

Юрий Анненков, портрет В. В. Маяковского

Два стихотворения Тютчева

Стихотворение Тютчева «Я знал ее еще тогда...» написано в 1861 году. Кому посвящено – неизвестно. Предположение: либо Амалии фон Лерхенфельд (баварская красавица-аристократка, «младая фея» из стихотворения Тютчева «Я помню время золотое...»), либо жена Николая Первого Александра Федоровна. Существуют два тютчевских автографа с текстом этого стихотворения. Первая публикация, издание 1868 года, ориентирована на первый автограф. Остальные публикации (если не считать издание 1913 г. со вступительной статьей Брюсова) ориентированы на второй, более поздний автограф, в котором Тютчевым осуществлена правка первоначального текста. Вот эти два варианта по первому и второму автографу:

Я знал ее еще тогда
В те баснословные года,
Как перед утренним лучом
Первоначальных дней звезда
Уж тонет в небе голубом.

И все еще была она
Той свежей прелести полна,
Той дорассветной темноты,
Как бы незрима, неслышна,
Роса ложилась на цветы.

И жизнь ее тогда была
Так совершенна, так цела
И так среде земной чужда,
Что мнится, и она зашла,
А не погибла, – как звезда.

(Первый вариант)

Я знал ее еще тогда,
В те баснословные года,
Как перед утренним лучом
Первоначальных дней звезда
Уж тонет в небе голубом.

И все еще была она
Той свежей прелести полна,
Той дорассветной темноты,
Когда незрима, неслышна,
Роса ложится на цветы.

Вся жизнь ея тогда была
Так совершенна, так цела
И так среде земной чужда,
Что мнится, и она ушла
И скрылась в небе, как звезда.

(Второй вариант)

Сравнивая эти два варианта, мы видим работу Тютчева над стихотворением. Во второй строфе, девятая и десятая строки «как бы незрима, неслышна, роса ложилась на цветы», измененные во втором варианте «когда незрима, неслышна, роса ложится на цветы» дают совсем иной смысл. Это таинственное, неуловимое состояние, равно присущее и природе, космосу, и душевной жизни человека, воплощено в единственно верных словах. Разница между этими двумя смыслами в том, что в первом варианте свежая прелесть юной души одной природы со свежестью дорассветной темноты и проявилась она так, словно бы натурально, осязательно, «незрима, неслышна, роса ложилась на цветы». Во втором варианте акцент смещен: роса ложится на цветы именно в дорассветной темноте, и этот образ соединяется с образом свежей прелести души не так явно, опосредованно, через «когда», а не через «как бы», «ложится», а не «ложилась». Тютчев предпочел более тонкое решение.

В третьей строфе, одиннадцатая строка «и жизнь ея тогда была» сделана казалось бы ничтожная поправка: «вся жизнь ея тогда была». А на самом деле этой вроде бы пустишной поправкой достигнуто принципиально важное уточнение и даже целый переворот смысла, его взрыв, беспредельное расширение. Вместо инертного «и» – всецелое и могущественное «вся». Еще более радикальное редактирование произведено в концовке стихотворения, четырнадцатая и пятнадцатая строки: вместо «что мнится, и она зашла, а не погибла, как звезда» – «что мнится, и она ушла и скрылась в небе, как звезда». И опять смысл получается иной. В первом варианте «зашла, а не погибла, как звезда» – то есть то особое, бесценное состояние душевной жизни только зашло, не может быть, чтобы оно совсем погибло. Оно вечно, оно драгоценность природы. И не то, что бы – звезды-то гибнут. А акцент на «погибла». То есть не погибла, как звезда, а зашла, как звезда. Но этот смысл оказался для Тютчева недостаточен, недоразвит, незавершен. Потребовалась дальнейшая работа, уточнение и углубление смысла, что и было достигнуто во втором варианте.

Та первоначальная душевная жизнь, состояние таинственной чистоты, целостности, совершенства, вместе с тем чрезвычайно хрупкое, неустойчивое, недолговечное и потому-то так ценное, несовместимое с земным, небесное, духовное – ушло, скрылось навсегда. Но навсегда для этой конкретной человеческой души, этой жизни. А в мире оно повторяется для каждой новорожденной жизни, для каждой человеческой души. Оно природно, космично и потому вечно. Смысл воплощен полностью и совершенно.

И еще: искажение смысла зависит и от искажения звучания, фонетической формы, иногда от одного единственного звука. Смысл строки «вся жизнь ея тогда была» совсем не тот, что «вся жизнь ее тогда была», как теперь пишут в современной орфографии. Подлинный тютчевский смысл искажен. Ухо Тютчева не так слышало, не так чувствовало, не так мыслило. Оно слышало «ея» и только, неотменимо «ея» и никак не «ее». «Ее» для уха Тютчева было совершенно невысказано, невозможно. В поэзии, как и в музыке, смысл настолько слит со звуком и ритмом, то есть с формой, настолько одно целое, что даже малейшее искажение рушит этот смысл. Рушит на том уровне слуха, которым слышит поэзию истинный поэт.

Не мешает вспомнить по этому поводу известное высказывание Фета: «Поэзия и музыка не только родственны, но нераздельны. Все вековые поэтические произведения от пророков до Гете и Пушкина включительно – в сущности музыкальные произведения – песни. ... Гармония также истина. Там, где разрушается гармония – разрушается и бытие, а с ним и его истина».

Другое стихотворение Тютчева, знаменитое «Silentium» («Молчание»). Написано в конце 1829 или в начале 1830 года. Впервые опубликовано в газете «Молва». (Уже в этой первой публикации было допущено искажение автографической редакции). Второе издание – в 1836 году в пушкинском «Современнике». (В этом издании сохранена автографическая редакция, то есть, как в автографе Тютчева). Третье издание – в 1854 году (переиздание в 1868 г.) уже в «Современнике» Некрасова и Панаева, в редакции Тургенева и Сушкова.

Авторский текст Тютчева:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои –
Пускай в душевной глубине
Встанут и заходят оне,
Безмолвно, как звезды в ночи, –
Любуйся ими и молчи.

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, –
Питайся ими – и молчи.

Лишь жить в самом себе умей –
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, –
Внимай их пенью – и молчи!..

Редакция Тургенева и Сушкова:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои!
Пускай в душевной глубине
И всходят и зайдут оне,
Как звезды ясные в ночи:
Любуйся ими и молчи!

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи:
Питайся им и молчи.

Лишь жить в самом себе умей:
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их заглушит наружный шум,
Дневные ослепят лучи:
Внимай их пенью и молчи!

Редактирование Тургенева-Сушкова, как мы видим, коснулось 4-й и 5-й строки первой строфы и 4-й и 5-й строки последней строфы, а также пунктуации. У Тютчева в трех из этих строк нарушается ямбический размер. Они амфибрахические. Сделано это Тютчевым специально: перебой ритма создает особую выразительность, диссонанс, сдвиг, неустойчивость, шаткость, ненадежность конструкции, что символизирует структуру мира, всего космоса, которому причастен и внутренний мир человека. Тем самым возникает необходимый здесь, воплощенный посредством ритма, духовный и эстетический смысл высказанного. В 4-й строке последней строфы тютчевское «Их оглушит наружный шум» исправлено на: «Их заглушит наружный шум». Смысл «оглушит» – более сильное и динамичное действие, чем «заглушит». По той же причине Тютчев предпочел динамичную пунктуацию, силу тире, вместо двоеточия, и суровую точку, вместо пафосного восклицания. Но редактора Сушков и Тургенев не поняли авторского намерения и его поэтической смелости, решив, что Тютчев допустил небрежность, «исправили», нарушающие ямбический размер, строки и заменили тире на двоеточие. Стало гладко и «правильно». Могучий тютчевский смысл искажился, да что там – полностью утратился.

Тютчев в этом своем шедевре гениально применил прием ритмического перебора, который стал чуть ли не основополагающим в творчестве Велемира Хлебникова, в поэзии другого столетия.

Да и насколько поэтически слабее, менее выразительно звучит «И всходят и зайдут оне», чем: «Встают и заходят оне»; или «Как звезды ясные в ночи» в сравнении с тем, как у Тютчева: «Безмолвно, как звезды в ночи». Насколько плоско «Дневные ослепят лучи» рядом с мощным тютчевским: «Дневные разгонят лучи»!

Два стихотворения Фета

«Над озером лебедь в тростник протянул...». Написано в 1854 году. В тургеневской редакции изменена 5-я строка, вместо «И в воздухе чутком усталая грудь...» – «И в воздухе чистом усталая грудь...»

Автографический текст Фета:

Над озером лебедь в тростник протянул,
В воде опрокинулся лес,
Зубцами вершин он в заре потонул,
Меж двух изгибаясь небес.

И в воздухе чутком усталая грудь
Дышала отрадно. Легли
Вечерние тени. – Вечерний мой путь
Краснел меж деревьев вдали.

А мы, – мы на лодке сидели вдвоем,
Я смело налег на весло,
Ты молча покорным владела рулем,
Нас в лодке как в люльке несло.

И детская челн направляла рука
Туда, где, блестя чешуей,
Вдоль сонного озера быстро река
Бежала, как змей золотой.

Уж начали звезды мелькать в небесах...
Не помню, как бросил весло,
Не помню, что пестрый нашептывал флаг,
Куда нас потоком несло!

Итак, у Фета: «И воздухом чутким усталая грудь / дышала отрадно...». Тургеневская редакция: «И воздухом чистым усталая грудь...». «Чуткий воздух» – это вовсе не то, что «чистый воздух». И дышать «чутким воздухом» совсем иное, чем дышать «чистым воздухом». Совершенно иная атмосфера чувства, душевного состояния. «Чуткий воздух» – то есть все в нем чутко, отзывчиво, резонансно при малейшем колебании, чутко, как и в душе человеческой, в его сердечной глубине. Вот почему Фет взял именно эту краску чувства – «чуткий». Образ чуткости чуть ли не основной в лирике Фета. В другом его шедевре «Сияла ночь. Луной был полон сад...» гениальный образ этой душевной чуткости, резонансности: «Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, / как и сердца у нас за песню твоей...». Так и здесь Фету понадобилось ввести нас в атмосферу тонкой воздушной чуткости, вибрации, дрожи. Тургенев, к сожалению, этого не понял, заменив «чуткость» на «чистоту». Должно быть, решил, что дышать чутким воздухом звучит как-то

необычно, вычурно, вот – «чистым воздухом» – это понятно и просто. «Чистота» – также важнейший образ фетовской лирики. И все-таки здесь «чуткий» имеет более глубокий поэтический смысл, чем «чистый». Грудь – чуткая душевная глубь, и дышит ответной чуткой глубиью воздуха-мира. Усталой груди хочется дышать не столько чистотой, сколько чуткостью. Чуткость и означает чистоту. Только чистота способна на чуткость.

Этот смысл усиливается и звукописью на созвучии гласной «у». «И воздухом чутким усталая грудь...». Четыре «у» создают ощущение глубины вечернего воздуха и неба.

В этом стихотворении также присутствует тема воды и отражения. Два неба – два мира, между ними, изгибаясь, дрожит и мерцает зыбкий мост – земля, лес. И лодка-люлька, туда – озеро, река. Противопоставлены два состояния воды: озеро – неподвижность, сон; река – текучесть, движение, змей золотой. Змей – древний образ воды, природной стихии, первоосновы мира, стихийной мудрости. Лодка – опять же постоянный символ у Фета, средство переправы в чудесное, в «родной край», «цветущий берег», туда, где «цветет весна и красота». Смотри стихотворение «Вдали огонек за рекою...» (1842 г.), «Одним толчком согнать ладью живую...» (1887 г.).

Древняя традиция этого символического образа, у Жуковского в романтическом духе: «Лодку вижу... где ж вожатый?... Нам лишь чудо путь укажет / в сей волшебный край чудес». У Тютчева: «Уж в пристани волшебный ожил челн...».

И – «детская челн направляла рука...». Детская – чистота, истинность. Лодка-люлька – младенчество. Вернуться к началу, к истоку. Первозданность, единение с природой. Забыться, отдавшись потоку.

Вариант «Вдоль сонного берега быстро река...» слабее, чем «Вдоль сонного озера быстро река...». Тут создается загадочная картина: река бежит вдоль неподвижного озера. А река бежит вдоль берега – обыкновенное дело, разумеется – вдоль берега. Все реки бегут вдоль берега. А тут – вода бежит мимо воды. К тому же – утрачивается и красота звукописи, музыка, магия. Аккорд трех строк: «блестя чешуей, вдоль сонного озера быстро река бежала, как змей золотой...». Перезвон звуков б-л-с-з-о-е-р. А вот «берега быстро река» – грубое нагромождение звуков.

Еще одно стихотворение Фета «Я тебе ничего не скажу...». Написано в 1885 году.

Я тебе ничего не скажу,
И тебя не встревожу ничуть
И о том, что я молча твержу,
Не решусь ни за что намекнуть.

Целый день спят ночные цветы,
Но лишь солнце за рошу зайдет,
Раскрываются тихо листья,
И я слышу, как сердце цветет.

И в больную усталую грудь
 Веет влагой ночной... Я дрожу.
 Я тебя не встревожу ничуть,
 Я тебе ничего не скажу.

Опять образ чуткости и усталой груди. Это уже вещая, тончайшая чуткость, способная чувствовать другую душу, чувствовать, как цветет сердце. Это чуткость больной усталой груди. «Больной» усиливает смысл чуткости: чрезмерная чуткость, обостренная до болезненности, или обостренная болезнью (Фет страдал астмой). И – «веет влагой ночной... Я дрожу...». Влага, вода – важный для Фета духовный символ, также как и ночь, ночное. И – дрожь. Воплощение все той же обостренно чуткой отзывчивости, резонансности. «И я слышу, как сердце цветет...». Это ведь он слышит, как цветет сердце мира. Сердце всего живого, цветущий Центр. Он завид вещей, про него Тютчев написал: «Великой Матерью любимой, / Стократ завидней твой удел: / Не раз под оболочкой зримой / Ты самое ее узел». Сравнивая свой дар, инстинкт пророчески-слепой, с его даром подлинно вещего, зрящего само сердце природы. И это стихотворение Фета на ту же тютчевскую тему молчания, «Silentium», «мысль изреченная есть ложь», но в отличие от Тютчева – не прямо, в лоб, а – косвенно, навевая, вскользь, музыкой неувлимого, тем тонким током слова - не слова, который и обнажает сердце всего живого: «И я слышу, как сердце цветет... И в больную усталую грудь веет влагой ночной... Я дрожу,,,». «Дрожу» – дрожь души, дрожь этого «цветущего сердца».

Рукописи Тютчева и Фета



Геннадий Муриков

Истоки большевизма
(Полемика с Н. Бердяевым)

ДНЕВНИК КРИТИКА. 2017
О Соло Моно Александра Потёмкина

ДНЕВНИК КРИТИКА. 2017 - 3
Великий Октябрь и современность



Истоки большевизма

«Уроки Октября» – так назвал свою знаменитую статью, написанную к 10-летию октябрьского переворота, Л. Троцкий. Она вызвала ожесточённую полемику в партийных кругах. Троцкий отстаивал иезуитские формы борьбы, потому что якобы без них невозможно было бы прийти к власти в 1917 году. Он писал: «Совершив переворот, мы как бы решили, что повторять его нам все равно не придется. От изучения Октября, условий его непосредственной подготовки, его совершения, первых недель его закрепления мы как бы не ждали прямой и непосредственной пользы для неотложных задач дальнейшего строительства.

Однако, такая оценка, хотя бы и полусознательная, представляется глубоко ошибочной, да к тому же еще и национально-ограниченной. Если нам не предстоит более повторять опыт Октябрьской Революции, то это вовсе не значит, что нам нечему учиться на этом опыте. Мы – часть Интернационала, а пролетариат всех других стран только еще стоит перед разрешением своей «октябрьской» задачи. И мы имели за последний год достаточно убедительные доказательства того, что наш октябрьский опыт не только вошел в плоть и кровь хотя бы только наиболее зрелых коммунистических партий Запада, но и прямо-таки неизвестен им с фактической стороны». Вот об этой «фактической», а точнее идеологической стороне мы и поговорим.

Так называемое революционное движение состояло в некоем духовном вероучении, которое замещало собой традиционные верования. Вот что пишет русский философ и писатель Н. А. Бердяев: «Русский коммунизм трудно понять вследствие двойного его характера. С одной стороны он есть явление мировое и интернациональное, с другой стороны – явление русское и национальное. Особенно важно для западных людей понять национальные корни русского коммунизма, его детерминированность русской историей. Знание марксизма этому не поможет» (Н. Бердяев «Истоки и смысл русского коммунизма» стр. 7). Бердяев убеждён, что революция в России развивается как бы из духа русского народа. Дальше он излагает следующие мысли: «Ленин был марксист и верил в исключительную миссию пролетариата. Он верил, что мир вступил в эпоху пролетарских революций. Но он был русский, и делал революцию в России, стране совсем особой» (стр. 102). Для своего времени исследование Н. Бердяева было поразительным, он, может быть, впервые показал, что коммунизм, особенно в его ленинском виде, является специфическим религиозным вероучением, настолько овладевшим его сторонниками, что они сознательно шли за него на смерть. Н. Бердяев считал, что истоки и смысл русского коммунизма скрыты в подсознании русского народа. Но мы постараемся показать, что это не так.

Хотя время уже ушло, но юбилей так называемой Октябрьской революции позволяет мне рассмотреть статью **Н. Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма»** с современных позиций. Рассуждения Н. Бердяева о будто бы русском национальном смысле русского коммунизма, о том, что марксизм как бы прижился в России, породив Ленина, мне всегда казались весьма любопытными, особенно с учётом его статьи «Философская истина и

интеллигентская правда», впервые опубликованной в 1909 году в сборнике «Вехи». Н. Бердяев считал, что русская интеллигенция должна каяться перед царской властью, чтобы та её защитила от гнева народа.

И вот теперь рассмотрим некоторые исторические параллели.

Часто сравнивают большевистскую революцию 1917 года с французской революцией 1789 года, особенно подчёркивая тот факт, что новый слой «вождей» (Дантон, Робеспьер, Сен-Жюст и др.) вёл себя по отношению к старым как палачи, намекая, что большевики объявили террор по отношению к дворянам и представителям царской власти – военным, жандармам, полицейским и т.д., – а Сталин – по отношению к «ленинской гвардии».

Французская революция отличалась от российской революции 1917 года. Однако как французская, так и российская революции были подготовлены масонами. Как сообщают источники, во Франции в 1770-х годах существовало около шестисот масонских лож, которые находились в подполье. Во время революционного взрыва все они вышли, как говорится, в «авочное состояние». Сразу же были образованы клубы жирондистов и якобинцев (они же якобисты, – общеизвестные деятели масонских шотландских лож святого Якова). Когда Наполеон пришёл к власти, он решил вопрос о масонстве по военному просто, назначив верховным гроссмейстером масонских лож своего брата принца Жозефа Бонапарта. Таким образом, масонство было как бы легализовано и получило официальный статус. В России всё пошло по-другому. Поскольку масонство с момента организации является тайной подпольной организацией, оно не спешит высвечиваться, и русская революция организовывалась масонами исподволь, потихоньку, как я об этом уже писал¹, подпольно обсуждались масонские истоки февральской революции. Корни же ленинской революции лежат значительно глубже. Разумно предположить, что Ленин, получавший соответствующие субсидии, и был агентом германского генштаба, в котором в это время весьма сильны были масонские влияния. Об этом, хотя и намёками, пишет С. П. Мельгунов. Перед нами встаёт вопрос – Керенский – агент северо-американских, а Ленин – немецких масонов – кто из них победит? Победил, конечно, Ленин.

Истоки и смысл русского коммунизма, о которых говорил Н. Бердяев, находятся вовсе не в природе русского народа, хотя они отчасти и переработаны психологией этого народа. Эти истоки даже глубже еврейского учения марксизма-ленинизма, а подлинный их исток в деятельности религиозных реформаторов начала XVII века во главе с Мартином Лютером. Нельзя забывать, что в момент перехода Карла Маркса из иудейской веры он принял крещение как член лютеранской церкви. («Лютерская ересь» – так называл её Иван Грозный).

Реформация породила множество ересей, так называемых религиозных сект, каждая из которых считала себя правоверной, но мы выделим только одну – анабаптистов. Они существовали не только на западе, но и в России,

где их называли «перекрещенцами». Суть этого вероучения сводилась к тому, что окропление младенца якобы святой водой или его погружение в купель не могло быть для него путём к истине, а человек, идущий к богу, должен принять второе крещение уже в сознательном возрасте. Деятельность анабаптистов и так называемой Мюнстерской коммуны обсудим позже. Пока отметим одну очень интересную историческую параллель. В отличие от К. Маркса В. И. Ленин не считал, что пролетарское сознание является врождённым и свойственно рабочему уже с момента его появления на свет. Наоборот, оно должно быть внесено в пролетарские массы в сознательном возрасте путём революционной пропаганды. Так называемое «перекрещенчество» здесь налицо. И это не просто аналогия.

Обратим внимание, что один из основоположников так называемого научного коммунизма Ф. Энгельс в своей статье «Крестьянская война в Германии» указывал на совершенно очевидные аналогии революционного анархизма с тогдашним движением анабаптистов, которое Ф. Энгельс очень одобрял.

О деятельности анабаптистов писали ещё наши дореволюционные историки. Самое главное, что было выявлено в этом движении – это внешний аскетизм, с помощью которого верующие приобщались к своего рода «святости». Об обычаях Мюнстерской коммуны известно следующее: «Вино у них воспрещалось. Было предписано самое простое одяжание: дьяконы ходили по домам и отбирали всё, кроме самого необходимого платья. Монета употреблялась только для иностранцев: в городе дозволялась лишь меновая торговля. Были запрещены всякие книги, кроме Библии, уничтожены музыкальные инструменты, а также всякие предметы забавы. (...) В знак всеобщего братства повелено было, чтобы двери домов оставались открытыми день и ночь» (А. С. Трачевский «Крестьянская война в Германии и Мюнстерская коммуна» СПб, 1906 г., с. 32).

Однако показной внешний аскетизм у анабаптистов сочетался с такими явлениями, как многожёнство и распутство. И то и другое оправдывалось текстами Св. Писания, особенно Ветхого Завета. Так сложилось учение о новом социальном строе, знаменитое «уложение о новой коммуне или народной общине», под именем *Царство Израиля в новом Сионе*.

По этому уложению, Правление вручалось двенадцати старшинам «двенадцати колен Израиля» (там же, стр. 33).

Здесь мы обращаемся к опыту так называемой Мюнстерской коммуны, о которой поговорим в дальнейшем, а пока нужна небольшая историческая справка.

После реформации М. Лютера 1517 года лютеранство, приобретая всевозможные сектантские оттенки, быстро распространилось по Европе. Об учениях М. Лютера, Ж. Кальвина я уже писал, а сейчас важно подчеркнуть общность вероучений крайних сект протестантизма с большевизмом, равно как и с современным исламским терроризмом.

¹ См. Журнал «На русских просторах» №2 (29) за 2017 год.

Именно первый опыт не просто религиозного или идейного движения, а социальной, даже можно сказать партийной самоорганизации даёт нам Мюнстерская коммуна. Для того, чтобы глубже понять организацию этого сообщества, следует иметь в виду, что среди анабаптистов (читай «коммунистов») той эпохи была очень влиятельна мысль о том, что «царство Божие должны строить сами люди, тем самым помогая Богу». Если убрать слово Бог, то это ключевой символ коммунизма.

Под влиянием реформаторского учения Мартина Лютера, отменившего многие католические заповеди, особенно касающиеся индульгенции, в разных областях Германии образовалось множество сект с самыми разнообразными формами, причём некоторые из них приняли государственное обличье. Таковой была так называемая Мюнстерская коммуна, образовавшаяся в 1533 году в одном из крупнейших городов тогдашней Германии. Она основывалась именно на вероучении анабаптистов со связанными с ними понятиями о многожёнстве, общности имущества и учением об избранных. Программа анабаптистов была изложена в «Символе веры» («Апологии», эдикте и «Правилах внутреннего распорядка в Мюнстере»). Теология – 144.000 избранных должны собраться в Мюнстере, чтобы разойтись из него, покорить весь мир. В царстве божьем нет места социальному неравенству, все имущество должно быть общим, эксплуатация человека человеком исключалась, все имущество находилось в ведении диаконов, покупка, продажа, взимание рент, работа по найму за деньги и т.п. вещи упразднены. Иоанн Клорис на допросе показал, что анабаптисты добиваются введения полной общности имущества, в том числе и на землю, тем не менее, у них все трудятся, но без оплаты. Но практическое осуществление этих постулатов растянулось на несколько этапов и сопровождалось рядом отступлений от изложенных принципов. После установления власти анабаптистов общность имуществ стала вводиться постепенно, сначала конфисковали имущества беглецов, церквей, монастырей. Затем было проведено у всех жителей города изъятие денег и драгоценностей. Мера эта встретила сопротивление. Жители утаивали, проповедники читали проповеди о нестяжательстве. Жителям был дан двухмесячный срок для выполнения этого решения, после этого смертная казнь следовала, если добровольно не расстанутся с добром. Драгоценности и деньги были нужны для связей с внешним миром, так как в городе была введена специальная, не имевшая ценности и чисто символическая монета.

Сами лидеры Мюнстерской коммуны так же, как и деятели большевизма, отличались крайней жестокостью. Особенно это относится к деяниям Иоанна Лейденского, который был объявлен царём этой коммуны: «Сам царь поддерживал дух Израиля пылкими пророчествами о чудесном избавлении избранных Богом» (с. 36). «Так усердно трудился Израиль. А рядом шли пирушки, которые перемешивались со всенародными молитвами и проповедями под открытым небом в жестокую стужу» (стр. 37). «По разным углам города слышались стоны “святых”, которые от голода выползали из своих тайников. По словам очевидца, город походил на чумное кладбище: не хватало рук погребать трупы» (стр. 41). Это отчасти похоже на блокаду Петрограда в 1918-19 гг., как это описано в дневниках З. Гиппиус.

Мюнстерская коммуна – прототип организации дальнейших коммунистических обществ, которые, так или иначе преобразуясь, существуют и до сих пор, в том числе под видом так называемых «демократических сообществ». Об этом иронически, и вместе с тем с глубоким пониманием вопроса написал Дж. Оруэлл в книгах «1984» и «Скотный двор».

Примерно так же рассматривает эту проблему академик И. Р. Шафаревич в своих основных сочинениях, посвящённых социально-политическим вопросам, и особенно в книге «Социализм как явление мировой истории». С удовлетворением отмечу, что издаётся его полное собрание сочинений и разбросанные по разным изданиям его труды, наконец, предстанут перед читателем в виде единого целого.

Опора на древнееврейские понятия, поиски нового Израиля – вот что стало истоком нового демократического движения, а также русофобии как принципиального мировоззрения современного либерального сообщества. Между социализмом в его марксистско-ленинском исполнении и современной интернациональной либеральной демократией большой разницы нет. Известен так называемый «шведский социализм», который, не исключая частную собственность на средств производства, как бы разрешает так называемую «шведскую семью», то есть полигамные браки.

Все эти явления появились ещё в период Мюнстерской коммуны и движения анабаптистов. Вот что пишет об этом И. Шафаревич, цитируя книгу историка Буллингера: «Свободные братья, которых многие анабаптисты называли грубыми братьями, были в начале движения немало распространены. Они понимали Христову свободу плотски. Ибо хотели быть свободны от всех законов, считая, что их освободил Христос. Поэтому они полагали себя свободными от десятины, от обязанностей барщины или от крепостной зависимости. Некоторые из них, отчаянные распутники уговаривали легкомысленных женщин, что они не могут стать духовными, не расторгнув брак. Другие считали, что раз все вещи должны быть общими, то и жёны тоже» (И. Шафаревич, Полное СОБР. соч., М., 2014, т. 1, с. 226). И. Шафаревич отмечает, что среди анабаптистов участников Мюнстерской коммуны «члены некоторых групп на своих собраниях ходили голыми и, чтобы быть как дети, ползали по земле и играли шишками» (с. 228). Это весьма напоминает движение общества «Долой стыд» в 1920-х годах в послереволюционной России, о чём я писал в предыдущей статье.

Особенно важным было введение многожёнства. О распространении гомосексуализма в те времена почему-то не задумывались. Вот что пишет об этом И. Шафаревич, излагая некоторые опыты Мюнстерской коммуны: «Затем перешли к самому, пожалуй, радикальному нововведению – учреждению многожёнства. Такого духа идеи встречались и раньше в проповедях анабаптистов. Их подкрепляли ссылками на образ жизни патриархов в Ветхом Завете. Новому закону благоприятствовало то, что после изгнания безбожников в Мюнстере оказалось в 2-3раза больше женщин, чем мужчин. Введение многожёнства было дополнено законом, согласно которому все женщины, возраст которых этому не препятствовал, были

обязаны иметь мужа. Начался делёж женщин» (там же, с. 276). Дальше события развивались почти со сталинским размахом: «Улицы города и все известные здания были переименованы. Новорождённым давали вновь изобретённые имена.

Почти каждый день происходили казни. (...) Казнят то строптивых жён, то женщину, осуждавшую новые порядки. Одна женщина не захотела стать женой царя (т.е. вероучителя Иоганна Лейденского – *Г.М.*), несмотря на его неоднократные предложения. Тогда он сам отрубил ей голову на площади, а другие его жёны пели “Слава Богу Всевышнему”.

Вся эта картина производит впечатление патологии, массового безумия, жертвой которого, в конце концов, стали и сами пророки» (там же, с. 278).

Эпизод с отрубанием головы женщине для разжигания революционных чувств больше всего напоминает аналогичную ситуацию с казнью принцессы де Ламбаль по приказу Мирабо в начале французской революции 1789 года именно для того, чтобы опьянить кровью возмущённую толпу.

Однако Игорь Шафаревич писал, что именно «взгляд на социалистические учения как на путь к захвату власти оставляет необъяснёнными именно основные положения социализма» (там же, с. 515). Он абсолютно прав, потому что социализм – это вовсе не тактика, и даже не стратегия, это своеобразное вероучение, основанное на отрицании всех принципов существования человечества. Первое: должна ли существовать при социализме семья? И Маркс, и Энгельс считали, что семья – буржуазное явление, приводящее к эксплуатации женщины и своего рода узаконенной проституции – должна быть устранена в процессе классовой борьбы (Ф. Энгельс «Происхождение семьи, частной собственности и государства»). Нам в точности неизвестно, разделял ли эти взгляды В. И. Ленин, но среди большевиков эта идея была весьма популярна, в частности в сочинениях А. Коллонтай, о чём написано в предыдущей статье².

Теперь рассмотрим ещё один важный вопрос: учреждение многожёнства (в Мюнстерской коммуне). Это особенно важно в наши дни в связи с нашествием в мире исламской идеологии и пропагандой гомосексуализма. Вот что было в те времена: анабаптисты считали, что многожёнство необходимо. Идейным пророком анабаптистов и Мюнстерской коммуны был некий Томас Мюнцер, который учил о создании Церкви избранных: «Никогда этого не случится, и за это, слава Богу, чтобы попы и обезьяны представляли церковь Божию, – но избранные Богом проповедовать его слово».

«Чтобы проповедовать это учение, я готов отдать свою жизнь». «Бог сотворил чудеса для избранных им, особенно в этой стране. Ибо здесь возникнет новая церковь, этот народ будет зеркалом всего мира» (цит. по И. Шафаревич, стр. 251).

Томас Мюнцер действительно отдал свою жизнь за своё вероучение,

² Г. Муриков «Великая октябрьская сексуальная революция», журнал «На русских просторах», 2017, №2(29), с. 33-46..

поскольку был казнён в 1525 году, ещё до появления Мюнстерской коммуны, которая как бы воплотила в жизнь его учение. И далеко не случайно, что Маркс и Энгельс считали его одним из предшественников коммунистического учения. После разгрома Мюнстерской коммуны появился в конце XVI века новый проповедник «избранничества» – апостол анабаптизма Клаус Шторх, который на основе всего опыта анабаптизма и Мюнстерской коммуны создал своего рода кодекс: «1. Что никакой брачный союз, был ли он тайный или явный, не следует соблюдать. (...)

3. Но наоборот, каждый может брать жён, коль скоро его плоть того требует и подымается его страсть, жить с ними по своему произволу в телесной близости.

4. Что всё должно быть общим, ибо Бог всех людей равно послал нагими в мир и так же он дал им всем равно то, что есть на земле, в собственность – и птицу в воздухе, и рыбу в воде.

5. Поэтому надо все власти, и светские, и духовные, раз и навсегда лишить их должностей или же убить мечом, ибо они лишь привольно живут, пьют кровь и пот бедных подданных, жрут и пьют день и ночь...

Поэтому все должны подняться чем раньше, тем лучше, вооружиться и напасть на попов в их уютных гнёздышках, перебить их и истребить» (цит. там же, с. 229).

Согласимся – в этих лозунгах пятисотлетней давности есть нечто актуальное и сегодня, исключая, разумеется, призыв к убийству попов. Но это, как говорится, *à part*.

В заключение вновь обратимся к книге Н. Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». Философ уверен, что «Ленин был марксист и верил в исключительную миссию пролетариата. Он верил, что мир вступил в эпоху пролетарских революций. Но он был русский и делал революцию в России, стране совсем особой» (стр. 102). Может, это в определённых кругах считалось правдой, но теперь с точки зрения исторического опыта мы видим, что русская революция была далеко не русской, её корни находились в идеологии еврейского Ветхого Завета. Это вероучение, возникшее в эпоху Реформации, как плесень разошлось по разным странам и народам и воплотилось в гнилом прыще учения Маркса и Энгельса, а потом охватило и Россию, последствия чего мы осознаём и поныне. Бердяев был прав в одном: в каждом народе, в том числе и русском, есть некоторые слабости, на которых паразитирует еврейское, ветхозаветное коммунистическое учение.

Опыт Германии (Мюнстерская коммуна), Швейцарии (кальвинизм), даже многих восточных стран только подчёркивает опасность этой заразы. Проникновение иудейской ветхозаветной идеологии, подкреплённой мировым финансовым капиталом под разными названиями – социализм, демократия и т.д. – это всего лишь две дороги к одному обрыву, как пронизательно заметил И. Шафаревич ещё 50 лет тому назад. В год столетия октябрьского переворота надо об этом помнить и думать. В этом и состоят «уроки Октября»..

Геополитика

Новая книга одного из наших крупнейших востоковедов Семёна Багдасарова «Ближний Восток: вечный конфликт» (М., 2016) посвящена событиям в Сирии и вокруг неё, особенно в связи с решением президента РФ о военной поддержке руководителя Сирии Башара Асада в его конфликте с ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта) и в разгоревшейся там гражданской войне, которая длится уже несколько лет. Нам хорошо известны многочисленные выступления С. Багдасарова по радио и телевидению на эту тему, поэтому ясно, что эта книга – своего рода обобщение авторской позиции в связи с упомянутым военным конфликтом.

Книга написана в популярном жанре и адресована самой широкой аудитории, тем более, что затронутая тема поистине касается всех граждан России – слишком часто, увы, в нашей истории случалось так, что, казалось бы, локальные конфликты оборачивались глобальными катастрофами. Такое вполне может случиться и сегодня. Наступившее сейчас в Сирии перемирие легко может обернуться возобновлением боевых действий, итог которых сегодня едва ли предсказуем. Как поведёт себя Турция в лице своего национального лидера Эрдогана? Сможет ли Путин преодолеть непонятный нейтралитет к курдам и поддержать их в борьбе за независимость?

Сегодняшняя сирийская война – это не какой-то исключительный эпизод в мировой истории. Автор показывает, что Ближний Восток – это постоянный источник военных столкновений на протяжении нескольких тысячелетий. Слишком много разных и противоположных культур, народов и цивилизаций сконцентрировались на этой, вроде бы небольшой территории.

Между прочим, следует заметить, что террористическое псевдогосударство ИГИЛ, активно ведущее боевые действия не только в Сирии, но и в Африке, а также в Средней Азии, – это яркий пример возрождения большевизма с его лозунгом: «Если враг не сдаётся, его уничтожают» (М. Горький), разве что с исламским уклоном. Принцип насилия, террора, поставленный во главу идеологии и вероучения и в том, и в другом случае остаётся неизменным. К тому же образчик бандитско-террористического «государства» под названием Ичкерия мы не так давно имели и на российской земле.

Ещё один очень важный момент рассматривает автор – это проблема Ирана как региональной «сверхдержавы». «Меня особенно настораживает то, что многолетний санкционный марафон в отношении Ирана закончился именно тогда, когда США и их союзники начали обкладывать Россию со всех сторон. Не получится ли так, что они используют ресурсы Ирана, в первую очередь нефтегазовые, для вытеснения нас с рынка энергоносителей? Заменят нашу нефть и наш газ иранскими? И что мы тогда будем делать?» (с. 229).

Вот именно что «обложили» со всех сторон. А ведь США и Иран раньше были как «две вещи несовместные». И Россия ведь там строила атомную станцию – и даже в Турции начали строить... Много проблем затронуто в книге: здесь и турецкий вопрос, и постоянная боль С. Багдасарова – проблема с курдами – и многое другое. Завершает книгу автор несколько неожиданно –

он проводит параллель между современной Россией и древней Византией. Говоря о возможном распаде Турции примерно в 2020 – 2025 г. (в случае отделения Курдистана), он заключает, «что настоящий мистический центр для каждого православного человека – это как раз Константинополь» (с. 285 – 286). Сообразно с этим выводом и надо строить нашу внешнюю политику. По-моему, сильно сказано!

Санкт-Петербург

О том, что сегодня важно. Раздумья о будущем.

Мишель Уэльбек «Покорность» (М., 2016 г.)

Всемирно известный писатель Мишель Уэльбек свою новую книгу (фр. издание 2015 г.), почти мгновенно переведённую на русский язык, в жанре антиутопии посвятил грядущей, по его мнению, судьбе Франции после президентских выборов 2022 года. По мысли Уэльбека на грядущих выборах 2017 года снова победит Олланд. Здесь он ошибся – Олланд отказался баллотироваться в президенты ещё раз. Но зато М. Уэльбек полностью прав, излагая, как «прокатят» Марин Ле Пен, против которой объединятся и так называемые «левые», и так называемые «правые» партии, демонстрирующие собой стабильность Евросоюза. Франция под угрозой нашествия арабов, – так думает автор романа «Покорность». Самое печальное, на его взгляд то, что вся так называемая европейская демократия идёт на поводу у арабов и исламистов. Само название романа «Покорность» – это перевод на русский язык слова «ислам». И вот что будет.

После того, как скочырнут Марин Ле Пен (действие романа происходит в 1922 году), к власти придут мусульмане (а для Франции это опасность и сейчас), будут введены обязательные хиджабы, брюки и длинные юбки для женщин, а мужчин будут принимать на государственную службу только после обязательного принятия ислама. Вспомним в связи с этим «1984 год» Оруэлла, хотя сдвинута дата и Англию заменяет Франция. Но общий смысл такой же: вместо коммунизма шествует исламизм.

Герой романа профессор Франсуа, специализирующийся в исследовании творчества Гюисманса, после ссоры с женой уезжает на некоторое время на юг Франции. А в это время происходят коренные государственные изменения: все так называемые официальные партии Франции объединяются вокруг арабов, чтобы не дать Ле Пен прийти к власти. В итоге к власти приходят исламисты. Вернувшись в Париж, Франсуа узнаёт, что в Сорбонне могут преподавать только люди, принявшие ислам. Сорбонна полностью финансируется Саудовской Аравией, а Оксфорд – Катаром. После колебаний француз Франсуа принимает ислам и только после этого возвращается в университет. Очевидна аллюзия с финалом романа Оруэлла «1984», в котором герой тоже смиряется с существующей структурой, хотя Оруэлл предвидел пришествие коммунизма, а теперь на повестке дня стоит агрессивный исламизм.

Юрий Баранов – человек эпохи

В отличие от невесёлых пророчеств М. Уэльбека наш отечественный писатель Юрий Баранов, автор трилогии «Русские хроники» (М., 2013 г.) и многих других книг обращается к нашему прошлому. В этот трёхтомник вошли повести и стихи автора разных лет: «Оскал истории»:

Кто сказал – история в архивах?
Гриф «секретно» тайну не спасёт.
Очевидцев, прежде молчаливых,
Говорить настанет свой черёд. (т.2, с.217).

Если кто-то подумает, что Ю. Баранов обличает сталинизм и вслед за современными демократами прославляет рыночную экономику, то глубоко ошибётся. Вот цитата из ещё одного стихотворения:

Видение гауляйтеру Хрущёву из далёкого будущего.
Осетрина под коньяк стала под горилку –
Щедро выставил ГУЛАГ блюда и бутылки.
Хватанул стакан Хрущёв – что-то замутилось,
Хряпнул вскорости ещё – странно засветилось.
То ли спьяну, то ль в бреду, в непривычном виде
В пятьдесят шестом году он себя увидел.
(...)
И придумали вдвоём так подать эпоху,
Чтобы лишь в тридцать седьмом становилось плохо.
(Т.2, с.231-232)

Читатель спросит, а с кем это «вдвоём» советовался Н. С. Хрущёв? Может быть, с «кровавым палачом» Лаврентием Берией? Или с Кагановичем, Молотовым? Нет. Ответ автора неожиданный: Хрущёв якобы советовался с неким партийным работником по имени Пospelов Пётр Николаевич (Фогельсон). Он является автором концепции борьбы с культом личности. По трудам этого якобы историка литературы, к слову, и я воспитывался в годы застоя.

Работа таких вот Пospelовых - Фогельсонов по мысли автора продолжается и дальше:

Песня для наркома.
Вариация на тему Михаила Светлова (Шейнкмана)
«Он хату покинул, пошёл воевать,
чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать».
Вернее языка: Григорий Кац
Печатает беседы с ветераном.
Читает молодёжь и узнаёт,
Как Перельман боролся с произволом,
С ужасным зверством в сталинской ЧК,

Как он сражался с антисемитизмом
 Все годы, что служил секретарём
 В горкоме нашем: он туда был сослан
 За «пятый пункт», а сам-то он хотел
 Податься в токаря и слесаря
 И скромно жить в общаге при «Тяжмаше».
 Но Сталин! Сталин жёстко приказал:
 Вторым секретарём в горком, и баста!
 Попробуй-ка послушаться в те годы. (там же, с.276)

Это мне напоминает карьеру кинорежиссёра Марка Донского, четырежды лауреата Сталинской премии, который по словам его сына был «сослан» из Москвы в Киев на Киностудию им. Довженко в 1955 г. Какое горе! Миллионы людей сидели в концлагерях, а Марк Донской пребывал в «ссылке» режиссёром в Киеве! Вот что делал «злодей» Сталин!

Теперь поближе к современности:
 Тут им [Хрущеву и Горбачеву] на стол поставил штоф горилки
 Их общий родственник Мазепа и сказал:
 «Надеюсь, ты теперь-то выпиваешь,
 Товарищ Минеральный Секретарь?»
 (...)

Сознание у меня уже мутилось,
 Но краем глаза я успел заметить,
 Как Александр Яковлев скликал
 Зондеркоманду из «интеллигентов»
 И торопил: «Товарищи, пора
 Нам вновь писать историю России;
 Сегодня, наконец, из-за бугра
 Мне привезли роскошную шпаргалку».
 Заплодировали Дмитрий Лихачёв,
 Жозеф де Местр и Михаил Покровский;
 Им Горький задницы умильно целовал.
 (Из кн. «Почти всё», М. 2012 г., с. 221 – 222.)

О творчестве Ю. Баранова можно писать много, он необычайно интересен и как прозаик, но в жанре поэта-публициста ему просто нет равных. Могут спросить, а как же Всеволод Емелин – острейший поэтический публицист нашего времени? Отвечаю: это как двуглавый орёл – символ нашей Державы значение и смысл передаются по преемственности. Можно ещё написать и о прозе Юрия Баранова, но она несколько слабее его стихотворных памфлетов и укладывается скорее в жанр социально-бытовой прозы.

ИСПОВЕДЬ СОВРЕМЕННОГО

*С кем о спасении условиться
В стране, где властвует лишь тать?
Судьба моя – как крестословица,
Что не под силу разгадать.*

Игорь Елисеев (Из книги «Во свете живых»)

Разгадать «крестословицу» сам автор предлагает читателю во всех проникновенных стихотворениях своего сборника. Я могу предложить только свой вариант возможной разгадки. Может быть, читатель и автор со мной не согласятся, но думаю, что какую-то долю сказанного в подтексте мне удалось уловить.

Почти двести лет тому назад один русский поэт, конечно, не такой знаменитый, как его современники Пушкин или Лермонтов, но всё же оставивший по себе память, – В. Печёрин – написал печально знаменитые строки:

Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать её уничтоженья!
И в разрушении отчизны видеть
Всемирную десницу возрожденья.

И этими строками он вошёл в историю отечественной литературы как отрицательный пример: дескать, так думать и говорить не следует. К тому же и сам уехал куда-то в Ирландию, принял католичество и расстался с отчизной навсегда. Был ещё и другой «клеветник России» – П. Чаадаев, – так того и вовсе официальное правительство (то есть Николай I) объявило сумасшедшим, хотя то т же Пушкин считал его одним из умнейших людей. А ведь тогдашнее время-то какое было – теперь его называют «золотым веком». Сегодняшний век – век грязи?

Теперь это всё прошлое выглядит какой-то далёкой мечтой, а на дворе чуть ли не блевотина:

Будь трижды проклят детства страшный дом,
Где радости я никогда не видел,
Где каждый проживавший прежде в нём
И рядом с ним хоть раз меня обидел.
Будь трижды проклят город мой родной,
Кипящий адом выхлопного газа,
Стяжательства зловонною смолой,
Дикарством «представителей Кавказа».
Будь проклята безумная страна,
Своё же разрывающая тело.
И жизнь моя, которую она
В холодный пепел превратит успела.

Так пишет автор этой книги и, ей-богу, трудно с ним не согласиться, потому что пишет он от души, – как человек нашей эпохи, познавший её плоть и кровью, а не какими-то отвлечёнными размышлениями.

Подлинной вдохновительницей Игоря Елисеева стала муза отчаяния, и если таковой раньше не было, – разве что у Георгия Иванова, – то она появилась в наши дни, что бы нам ни твердили сегодняшние правители о снижении инфляции, росте благосостояния, уменьшении безработицы и т.п. Каждый, живущий ныне в России, твёрдо знает, что корень зла именно в структуре власти, а точнее, – в тех, кто ею обладает. Я уже отмечал политический характер многих стихов И. Елисеева, но часто он бывает просто беспощаден:

Смотри сюда – ты видишь эту мразь,
похожую на высушенных мумий,
которая сегодня собралась,
как в пирамиде каменной, в Госдуме?
Что думают истлевшие мозги?
Мой дух понять их и принять бессилён.
В их кулуарах не видать ни зги,
и в коридорах власти нет извилин. («Мертвецы»)

Не только читатель этих стихов, но и рядовой избиратель может справедливо спросить и сам себя, и государственную власть: чего же стоят эти выборы. Для того, чтобы считать выборы хотя бы опереточной игрой, надо сначала понять, чем живёт народ. Об этом ясно пишет Елисеев:

Назовёт ли жизнь игрой // Вася или Гриша? //
У шофёра – геморрой, // У грузчика – грыжа. //
По Садовой по Большой // Гриша рассекает, //
А Василий день-деньской // Тяжести таскает. //
«Так и будешь за рулём // Ты всю жизнь, Григорий?» //
«За рулём – не под хмелём. // Это разве горе?» //
«Тяжело шкафы тягать, // Правда ли, Василий?» //
«Невозможна благодать // В жизни без усилий». //
Зашибают так деньги, // Раны и болезни //
И не мыслят на бегу, // Что чего полезней. //
Да и я вот не пойму, // Что всё это значит //
И порою почему // Сердце горько плачет?

Здесь уже не просто полемика со всемирно известным: «Что наша жизнь? Игра» (Пётр и Модест Чайковские) – уж слишком по откровенному, а не по оперному это звучит. Сейчас времена пошли другие – не до игр и игрушек. Всё рушится, всё гибнет, – впереди пропасть. Автор это прекрасно понимает. Наверное, такое же ощущение было после «великого Октября».

Остаются от жизни
Только горечь и боль,
Что саднят мое сердце,
Как с утра – алкоголь.

Но боль по утраченной, казалось бы, родине живёт в сердце.

Мне не найти единоверца.
Куда идти, к какой святыне?
Россия — справа, слева – сердце,
И я – ничей – посередине.

Так могли бы сказать Блок или Есенин, это же прозвучало и у Максимилиана Волошина: «А я стою один меж них (...)// Молюсь за тех и за других».

Самая сильная сторона стихов И. Елисеева – это их беспощадная обнажённость, исповедальность, которые становятся жгучей публицистикой и открыто хлещут сознание и душу читателя, как, впрочем, и самого поэта.

Давно во мне смешались, как в сосуде,
запой и упоение. Я груди
стеклянные нетрезвою рукой
сжимал, не правды – нежности взыскаю,
в которой мог бы утопить тоску я
и обрести ненужный мне покой. (Из цикла «Запой»).

Как это ни покажется странным, но мне представляется, что после эстетических экзерсисов постмодернизма стихи И. Елисеева – своего рода глоток свежего холодного воздуха, от них веет свежестью. Но это свежесть боли, тоски, отчаяния. Сборник завершается поэмой, которая так и называется «Поэма отчаяния». Это произведение буквально пропитано сердечной болью, болью души, обречённой на муки и невероятные испытания.

Бессмертия, увы, не существует.
И жизнь дана для каждого – одна.
Душа моя об этом повествует,
Поскольку жить отчаялась она.
Но я не отпущу её на волю, –
И воли тоже в целом мире нет.
Рабы себе не выбирают долю –
Таковыми появились мы на свет.

Рабами русский народ считали все так называемые «революционные демократы». Вспомним знаменитое: «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу – все рабы» (Н. Чернышевский). Или добрый совет А. Чехова выдавливать из себя раба по капле. Почему «по капле» до сих пор остаётся неизвестным. А главное – откуда же это само по себе «рабское» самосознание? Это очень важно для творчества Игоря Елисеева. Но откуда взялось само понимание русской души как воплощение рабской сущности? Не с запада ли дуют такие ветерки?..

Беспросветная тьма окутала душу и разум поэта, – но, как известно, «свет во тьме светит. И тьма не объяла его». Полнота самовыражения, его бескомпромиссность – это и есть тот самый свет, который пробивается даже в самой чёрной тьме.

Не знаю, как дальше будет развиваться творчество И. Елисеева, найдёт ли он искомую путеводную звезду, проложит ли себе путь «по звёздам», как завещал нам классик уже другого – «Серебряного века» России – Вяч. Иванов, но уже сегодня со всей откровенностью можно сказать – книга удалась, сложилась как целое.

Своеобразным итогом мы можем считать слова автора:

Наливай же, на этот раз –
чтоб исчез, наконец, испуг
перед тем, что царит маразм
в грановитых дворцах страны;
перед тем, кто в грехе погряз
под водительством сатаны...

Если исчезнет страх, исчезнет и отчаяние. А боль останется, но она будет целительной, как боль после необходимой операции.

PS. Дополнение: Хотелось бы надеяться, но....

Но не бывает на земле чудес,
Как не бывает помощи от Бога.
Для мёртвого – всегда одна дорога,
Всегда сомненье: «Вправду ль Он воскрес?»

Где Бог? Что значит «Имя Божие»? В чём истинная вера? Автор предлагает только одно: задуматься. И себе, и читателю, и мне.

Санкт-Петербург

10. 07. 2017

ГИБРИДНАЯ ВОЙНА

(О Соломоне XXI века)

Новый роман А. Потёмкина, признанного новатора нашей литературы, как бы перечёркивает всё его прежнее творчество. Читатель знал Александра Потёмкина как мастера полудетективных и в любом случае авантюрных произведений – даже в чём-то сходных с творчеством Стивена Кинга или Дарьи Донцовой (конечно, я шучу). Нельзя сказать, чтобы автор был каким-то международным фигляром. Несмотря на его карьеру в Германии, он всегда оставался сторонником и защитником русской нации.

Роман «Соло Моно» с подзаголовком «Путешествие в сознание пораженца» (М., 2017) открывает читателю новую грань творчества А. Потёмкина. Я хочу обратить внимание на то, что автор все свои сочинения (в том числе и научные работы по экономике) печатает в своём собственном издательстве, как правило, небольшим тиражом, но всегда на бумаге высшего качества, даже мелованной.

Обе критикессы: Капитолина Кокшенёва, автор предисловия к этой книге, доктор филологических наук, кандидат искусствоведения и автор послесловия Марина Филина – тоже доктор филологических наук, захлёбываются от восторга по поводу нового теургического откровения А. Потёмкина. Я согласен с их мнением о том, что этот роман для А. Потёмкина неожиданен. Детективные «штучки-дрючки» предыдущих публикаций здесь сменяются мучительной и отчасти назидательной тяготинной.

Поскольку, кроме этих двух докторов филологических наук мне больше не с кем поспорить, то я кратко изложу свой взгляд на этот роман.

Мне представляется, и более того – я убеждён, что этот «роман» является исповедью самого А. Потёмкина. Главный герой Фёдор Михайлович Махоркин, непрерывно блуждая по дебрям России в поисках своего возможного спонсора – бизнесмена Пенталкина, погибает, запутавшись в собственных противоречиях. Но об этом более подробно. Мне кажется, что в образах Махоркина и Пенталкина автор представляет читателю два фокуса своей собственной души. Погибающий, нищий, оборванный Махоркин, от лица которого ведётся повествование, – это, несомненно, положительный герой.

Он в поисках высокой цели – создать сверхчеловека, но и как бы противостоящий ему бизнесмен Пенталкин тоже не враг прогресса и гуманизма. Он обещает Махоркину дать пять миллионов, но отмечает, что из-за необходимости рекламы, конкурсов и т.п., сумма должна удвоиться. Поэтому он предлагает Фёдору Михайловичу поработать у него над другим проектом, оплата которого и составит пять миллионов, после чего можно будет приступить к проекту «Соло Моно». Махоркин от этого предложения отказывается и, купив в аптеке яд, кончает с собой.

Обратимся к тексту романа. Дело в том, что автор в образе Фёдора

Махоркина в его путешествиях по градам и весям России как бы излагает некоторые свои предвидения о её дальнейшей судьбе. Фёдор Михайлович Махоркин рассуждает об этом так: «Познать искусство созидания из массы биостроительного материала нового Фёдора Михайловича – вот единственное моё устремление» (с. 46). Мы можем задать себе вопрос, который в приведённых критических статьях не поставлен: предлагает ли нам А. Потёмкин новый конструкт человеческого общества или хочет только поиграться. Герой романа, «...с удивлением прочитывая заголовки газет, наткнулся на заметки, что на Украине валят памятники Ленину и Сталину. Эти двое и создали украинскую нацию, очертили её границы, назвали сначала Харьков, а затем Киев столицей созданной республики» (с. 57). Обращаю внимание читателей, что я об этом же писал в 2014 году в статье «Миф об Украине». Мне приятно встретить единомышленника в лице Александра Потёмкина.

Продолжим рассмотрение романа. По ходу текста слово «моно» расшифровывается как «сам в себе» (с. 76). Но будучи якобы «сам в себе», ни автор, ни его герой не отключаются от реальных проблем современности. Мне хочется обратить внимание на одну тему, о которой я неоднократно писал: в чём причины развала так называемого государства СССР? Ленинско-сталинская картография стала основой неких, якобы государственных границ, созданных ими будто бы по национальному признаку.

А вот мнение об этом А. Потёмкина (и я с ним полностью согласен – Г.М.): «Мина под СССР была заложена при формировании союзных республик. Чудаки провозгласили ошибочную национальную политику, концептуально выраженную в убеждении, что человек по природе – по генетике у таких умников двойка – интернационален, а посему право наций на самоопределение никакого риска для государственного устройства не несёт. Страшное заблуждение! Безграмотность! Никогда в истории не существовали такие страны как Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Белоруссия, Узбекистан, Украина, Молдавия, Туркмения. (...) Только у трёх стран в прошлом была своя государственность: у Грузии и Армении – их государственности сотни лет, у Литвы – недолго. В этом и крылась главная ошибка коммуны» (с. 100 - 101).

Ещё раз хочу подчеркнуть, что главный герой романа Фёдор Михайлович Махоркин не только близок лично к моему сознанию критика, но и к современному общественному сознанию. При чтении романа мне постоянно казалось, что вся эта игра в изготовление сверхчеловека для автора просто предлог для того, чтобы – пусть и в скрытой форме – поговорить о важнейших проблемах современности. В тексте романа постоянно встречаются такие обороты: «А это было бы интересно для Фёдора Михайловича», «А это я говорю, Махоркин». Читателю предлагается определить, какого именно *Фёдора Михайловича* имеет в виду Потёмкин. Для Фёдора Михайловича Достоевского эти рассуждения, конечно, были бы весьма интересными, равно как и для Фёдора Михайловича Махоркина-Потёмкина.

Сейчас идёт третья мировая война, названная в романе «гибридной»: «И в

этой “новой” по типу войне совершенно очевидно использование религиозных взглядов, учений и идей, как фундамента для “восстания масс” (намёк на книгу Х. Ортеги-и-Гассета с одноимённым названием – *Г.М.*) там, где не срабатывают культурные, политические или патриотические механизмы, религиозная идея по-прежнему остаётся активно мобилизационной» (с.153). В романе идёт речь о войне в Сирии, о роли арабского терроризма, исламского экстремизма и о других проявлениях религиозного фанатизма в наше время.

Но не надо думать, что мы всецело подсюсюкиваем автору. На стр. 178-179 он предлагает план борьбы с коррупцией, хотя даже не отдаёт себе отчёта – по крайней мере, его главный герой Ф.М. Махоркин, – что коррупция, как я тоже писал в одной из своих статей со ссылкой на М.А. Бакунина³, есть особая форма управления государством. Воровской, бандитский принцип: если ты в деле, ты наш. Своих не выдаём. Рука руку моет. Вспомним для примера недавнее следствие и «суд» по делу «Оборонсервиса» Е. Васильевой - Сердюкова и др.

Теперь о размышлениях по поводу Евросоюза. Автор пишет об этом так: «Это общежитие разных по ранжиру людей не сулит ничего хорошего. Стоимость трудовых ресурсов из Балканских стран всегда будет ниже стоимости рабочей силы из Центральной Европы, поскольку, например, немец решит технологическую задачу быстрее и эффективнее» (с. 192).

Введённые в ход событий романа якобы публицистические статьи главного героя только подчёркивают, что этот сам по себе «роман» представляет собой своеобразный публицистический трактат, а может, просто средство для общения автора с близкими ему интеллектуальными кругами. Вот один из таких пассажей: «Высший в мире господствующий закон и вера – исключительно интеллект! И больше ничего! Ничего нет больше, и ничего нет выше!» (с. 247). Так рассуждать может только учёный, преданный своей идее, но не делец-предприниматель, поскольку есть понятие жизни, жизненной силы, которая называлась в индийских религиях прана и охватывала всё существо бытия.

Уважаемый автор! Как же можно создать ваше «соломоно» среднего рода без участия энергетических и эротических сил, опираясь только на математические знаки? Предполагаемый новый Соломон назван на стр. 259 «межгалактическим Чингизханом». Хорошо это или плохо? Ясного ответа нет, да и может ли он быть? Но с другой стороны в рассуждениях героя есть и нечто правильное, а именно, что наша эпоха не любит сильных личностей, стремится к посредственности, стремится к потребительству. Поэтому изготовление хотя бы искусственного сверхчеловека – это своего рода вызов нашему времени, но, возможно, этот вызов обречён на поражение. Главный герой романа Фёдор Михайлович (Достоевский) Махоркин в финале вынужден покончить с

³ М. А. Бакунин. Коррупция. – О Макиавелли. – Развитие государственности // Вопросы философии. 1990. № 12. Archives Bakounine. Ed. A. Lehning. Leiden, 1987. P. 369-382.

собой и даже не столько потому, что предполагаемый спонсор не даёт ему денег для осуществления его гиперпроекта на создание сверхчеловека, сколько потому, что сам разочаровывается в нём и решается попытать счастья если не на «этом», то на том свете. Роман снабжён технологической инструкцией работы наносборщика с приведением чертежей устройства электрополевого нанопинцета и пр. Причём всё это в цветных иллюстрациях! Читатель понимает, что всё это не более, чем ирония над проектами РОСНАНО Д. Медведева, аналогичными проектам «Силиконовой долины» в США. Как сказал поэт: «Речь не о том, но всё же, всё же, всё же...».

В заключение мне хочется ещё раз повторить, что этот роман мне представляется откровением души самого Александра Потёмкина, его раздвоенности на романтика и бизнесмена. Это горькая исповедь, чего не поняли, с моей точки зрения, обе критикессы, авторы предисловия и послесловия.

На последней странице романа написано:



«ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Спасибо, что вы прочитали книгу до конца. Надеюсь, что ваш НИС многократно повысился.

С уважением, автор и создатель “Соло Моно”» (с. 339).

Под аббревиатурой НИС автор подразумевает интеллектуальный потенциал, намекая на творчество Сальвадора Дали, Пруста, Джойса и Фолкнера. Но мы можем только посочувствовать ему и вместе поплакать о его горестной разбитой и раздвоенной душе. «Богатые тоже плачут».

Санкт-Петербург

1 июня 2017 года

«ДРУГ ДРУГА ОТРАЖАЮТ ЗЕРКАЛА...»**Виктор Пелевин «Phuck 10» (М.: изд. «Э», 2017)**

О чём новый роман Виктора Пелевина? Да о том же, о чём и почти все его предыдущие произведения: о превратностях человеческой жизни, о судьбе России, но самое главное – о страдании, о его важнейшей и судьбосозидающей роли. Удивительно точно отражён смысл романа в его обложке: несколько уходящих в глубину контуров одного и того же содержания. Поистине двойится, тройится и множится в разных преломлениях общий смысл. А смысл этот печален: деградация и распыление русского национального сознания.

Один из рецензентов М. Бударягин в газете «Культура» высказал мысль о том, что в этом романе Пелевин предстаёт перед нами как писатель-буддист. Иными словами, будто бы его основная цель, как и для всякого буддиста, – погружение в нирвану. Но это далеко не так и, более того, прямо противоречит смыслу романа, в финале которого В. Пелевин делает такой вывод: «Без страдания разум невозможен: не будет причины размышлять и развиваться. Вот только беги или не беги, а страдание догонит всё равно и просочится в любую щель» (с. 409). Это отнюдь не поиски нирваны.

Вообще говоря, это роман о судьбе России как бы в жанре антиутопии на протяжении грядущих пятидесяти - семидесяти лет. Автор несомненно опирается на опыт знаменитого французского писателя Мишеля Уэльбека с его романом «Покорность» и, более того, ссылается на него в тексте. Примерно такой же антиутопический прогноз в области относительно недалёкого будущего России сделан В. Сорокиным в недавно вышедшем романе «Теллурия», рецензию на который я тоже написал. М. Уэльбек предчувствует грядущую исламизацию Франции, В. Сорокин даже с некоторой насмешкой говорит о распаде России и всеобщей наркотизации её населения.

В. Пелевин ставит вопрос иначе. Уже в самом начале романа с едкой иронией написано, что: «“Страдание “малого народа” как главная тема российской либеральной лирики начала XXI века” значит, ещё и историк» (с. 21). Поясню: речь идёт об одном из героев романа и его воображаемой диссертации на указанную тему. Но нам важна не тема, а употреблённые автором термины – «малый народ» и его «страдания». Каждый, кто читал сочинения недавно скончавшегося академика И. Шафаревича, особенно его книгу «Русофобия», прекрасно знает, откуда взялся этот «малый народ», как он дал под дых «большому русскому народу» и до сих пор в лице разных чубайсоидов пытается править нашей страной.

«Грязный секрет современного искусства в том, что окончательное право на жизнь ему даёт – или не даёт – das Kapital» (с. 34). Напомним читателю, что именно так называется основное сочинение Карла Маркса, так что можно в равной мере говорить как о подкупе, так и о революционной активности. По ассоциации сразу приходит на ум деятельность художника-авангардиста

П. Павленского, который то приколачивал собственную мошонку к брусчатке Красной площади, то поджигал двери французского банка в Париже.

Надо всем посмеивается В. Пелевин. Вот недвусмысленный намёк на радио- и телеведущего В. Соловьёва: «В “Соловье” всё время жареные новости, скандалы и сплетни – а на птичку как-то меньше обижаются, чем на говорящую человеческую голову. Тонко, сублиминально и меньше судебных издержек» (с. 97).

Чего же ждёт Запад от современной русской культуры? Пелевин даёт на это такой ответ: «Увы, русский художник интересен миру только как х** в плену у ФСБ. От него ждут титанического усилия по свержению режима, шума, вони, звона разбитой посуды, ареста с участием двадцати тяжеловооружённых мусоров и прочей фотогеничной фактуры – но, когда он действительно свободен, идти ему особо некуда. Мировой пи*** он уже не нужен» (с.184). И опять вспоминается судьба того же П. Павленского, которого во Франции запихали сумасшедший дом.

Чрезвычайно интересны размышления автора о том, как исламский экстремизм в недалёком будущем может превратиться во всемирный Халифат. Этот Халифат, как гипотетически предполагает В. Пелевин, будет действовать в связке с англо-американским капиталом. Последний он называет иудео-саксонским. Это весьма похоже на правду, и не вызывает у нас ни малейшего недоумения, тем более, что у современного потребителя, по едкому замечанию автора, вместо мозгов существует только «умственный кишечник» (с. 296).

Но особенно язвительна манера В. Пелевина по отношению к некоторым событиям Второй мировой войны. Во время съёмок одного из фильмов на территории оккупированной Франции в 1943 году знаменитого французского киноактёра Жана Маре, который, как известно, был гомосексуалистом, начинает «обихаживать» некий эсэсовский начальник фон Брикен. На съёмках также присутствует другой писатель гомосексуалист, художник и деятель кинематографа – Жан Кокто. И вот истинные патриоты Франции – Маре и Кокто – решают оказать Брикену «Спротивление»⁴, по-французски *resistance*:

«Фон Брикен пытается добиться анальной пенетрации – но сфинктор⁵ Маре оказывается чуточку сильнее. Самую чуточку – так что у зрителя, участвующего в айс-фильме от лица фон Брикена, все несколько минут этой напряжённейшей борьбы присутствует полная иллюзия, что стоит нажать чуть сильнее... немного напрячься... Вот уже почти получилось... Нет, надавить ещё самую малость... Совсем немного... Но *сопротивление* каждый раз побеждает» (с. 307).

Посрамлённый эсэсовец убегает, а мы, как и любой другой читатель, скажем с доброй усмешкой: да, велика сила французского сопротивления! Я где-то читал, что на Нюрнбергском процессе во время выступления от лица

⁴ «Resistance» («Сопротивление») – фильм с участием Жана Маре.

⁵ Сфинктор – анальное отверстие

победителей обвинителя со стороны Франции Герман Геринг, обращаясь к французской делегации, с усмешкой крикнул со своего места: «это что, и вы нас тоже победили?» Здесь есть определённая переключка.

Ну, и разумеется, не обошёл автор романа и животрепещущего вопроса о причине Второй мировой войны и массовой гибели евреев. Пелевин считает, что во второй половине XXI века эти вопросы будут решены окончательно. «После того, как вину за начало Второй мировой войны окончательно перевесили на Россию, в прогрессивном дискурсе стала ощущаться необходимость повесить туда же и Холокост» (с. 341). «...русские спровоцировали Гитлера не только на Холокост, они ещё и заставили его напасть на Россию» (с. 342). Отметим, что роман всё-таки фантастический, но всё же, всё же, всё же...

Роман, как, впрочем, и всё другое творчество Виктора Пелевина, пронизывают ирония, издёвки откровенной пародийности. Но скажем прямо, это произведение написано в традициях русской классической литературы. В финале В. Пелевин говорит: «Скажу честно – на мой взгляд, искусство только тогда чего-то стоит, когда берётся за решение великих вопросов, стоящих перед людьми» (с. 401). Вот найти решение этих проблем и пытается В. Пелевин.

Пересказывать содержание этого романа, закрученного с детективной ловкостью, вряд ли имеет смысла. Но отметить, что его главный герой электронный следователь Порфирий Петрович – недвусмысленная отсылка к «Преступлению и наказанию» Ф. Достоевского, необходимо. И там ещё много подобных «штучек». «Друг друга отражают зеркала, взаимно искажая отраженья ...», как писал поэт. Пожалуй, это и есть творческая манера «единственного и неповторимого» (с точки зрения издательства «Э») Виктора Олеговича Пелевина – пребывание на грани реального мира и зазеркалья. Разве что поменьше бы «полублатного» компьютерного жаргона, который устаревает изо дня в день, так что вскоре потребуются при прочтении книги приложение особого словаря для дешифровки.

Санкт-Петербург

Т. М. Лестева

РЕВОЛЮЦИЯ. ЭМИГРАЦИЯ. НОСТАЛЬГИЯ

Санкт-Петербург

Август 2017 года



РЕВОЛЮЦИЯ. ЭМИГРАЦИЯ. НОСТАЛЬГИЯ

*«Свобода ещё с ледяного похода
Для нас неразлучна с бедой».*

Николай Туроверов

*«И там и здесь между рядами //Звучит один и тот же глас://
“Кто не за нас — тот против нас” //Нет безразличных: правда с нами. //
А я стою один меж них// В ревущем пламени и дыме//
И всеми силами своими // Молюсь за тех и за других».*

Максимилиан Волошин

Но скоро
 прошла
 лукавая вестийка:
"Свобода".
 Бантики люди надели,
Царь
 на балкон
 выходил с манифестиком.
А после
 "свободной"
 медовой недели
Речи,
 банты
 и пения плавные
Пушечный рев
 покрывает басом:
По крови рабочей
 пустился в плавание
Царев адмирал,
 каратель Дубасов.

«Эти строки великий поэт великой революции Владимир Маяковский посвятил 1905 году. Но они отражали настроение народа и в период февральской революции. <

Из дневника Зинаиды Гиппиус (М., 2002 г.)

«1 марта, среда

С утра текут, текут мимо нас полки к Думе. И довольно стройно, с флагами, со знамёнами, с музыкой. <...>

Мы вышли около часу на улицу, завернули за угол, к Думе. Увидели, что не только по нашей, но по всем прилегающим улицам течёт эта лавина войск, мерцающая алыми пятнами. День удивительный: легко-морозный, белый, весь зимний – и весь уже весенний. Широкое, веселое небо. Порою начиналась неожиданная, чисто вешняя пурга, летели, кружась, ласковые белые хлопья и

вдруг золотели, пронизанные солнечным лучом. Такой золотой бывает летний дождь; а вот и золотая весенняя пурга. <...>

С нами был и Боря Бугаев в толпе, теснящейся около войск, по тротуарам, столько знакомых, милых лиц, молодых и старых. Но все лица, и незнакомые, – милые, радостные, верящие какие-то... Незабвенное утро. Алые крылья и Марсельеза в снежной, золотом отливающей белости... <...>

Утренняя светлость сегодня – это опьянение правдой революции, это влюбленность во взятую (не "дарованную") свободу, и это и в полках с музыкой, и в ясных лицах улицы, народа. И нет этой светлости (и даже её понимания) у тех, кто должен бы сейчас стать на первое место. Должен – и не может, и не станет, и обманет... <...>

У нас пулемёты протопоповские затихли, но в других районах действуют всюю и сегодня. "Героичные" городовые, мало притом осведомлённые, жарят с Исаакиевского собора...

За несколько дней до событий Протопопов получил "высочайшую благодарность за успешное предотвращение беспорядков 14 февраля". Он хвастался, после убийства Гришки [Распутина], что "подавил революцию сверху. Я подавлю её и снизу". Вот и наставил пулеметов. А жандармы о сию пору защищают уже не существующий "старый режим".

А полки всё идут, с громадными красными знамёнами. Возвращаются одни – идут другие. Трогательно и... страшно, что они так неудержимо текут, чтобы продефилировать перед Думой. Точно получить её санкцию. Этот акт "доверия" – громадный факт; плюс... а что тут страшного – я не знаю и молчу.

Боря (Борис Бугаев – Т.Л.) смотрит в окно и кричит:
– Священный хоровод!

Все прибывают в Думу – и арестованные министры, всякие сановники. Даже Теляковского⁽¹⁾ повезли (на его доме был пулемёт). Арестованных запирают в Министерский павильон. Милюков⁽²⁾ хотел отпустить Щегловитова. Но Керенский властно запер и его в павильон. О Протопопове – смутно, будто он сам пришёл арестовываться. <...>

2 марта, четверг

Вдруг – это было уже часов в 6 – телефон, сообщение: "Кабинет избран. Всё хорошо. Соглашение достигнуто". Премьером Львов (москвич, правее кадетов), затем Некрасов, Гучков⁽³⁾, Милюков, Керенский (юст.). Замечу следующее: революционный кабинет не содержит в себе ни одного революционера, кроме Керенского. Правда, он один многих стоит, но всё же факт: все остальные или октябристы, или кадеты, притом правые, кроме Некрасова, который был одно время кадетом левым. <...>

Поздно ночью – такие, наконец, вести, определённые: Николай подписал отречение на станции Дно в пользу Алексея, регентом Мих. Ал. <...>

3 марта, пятница

Утром – тишина. Никаких даже листков. Мимо окон толпа рабочих, предшествуемая казаками. С громадным красным знаменем на двух древках: "Да здравствует социалистическая республика". Пение. Затем всё опять тихо.

Царь, оказывается, отрёкся и за себя и за Алексея ("мне тяжело расставаться с сыном") в пользу Михаила Александровича.<...>

На Невском сламывали отовсюду орлов, очень мирно. Дворники подметали, мальчишки крылья таскали, крича: "Вот крылышко на обед".

Боря, однако, кричит: "Какая двоекрылая у нас безголовица!" Именно».

Правда, Л. Д. Троцкий видит в Керенском отнюдь не революционера: «Доверие к Временному правительству в массах было безнадежно подорвано. Петроград оказался и на втором этапе революции ушедшим далеко вперёд авангардом. В июльские дни этот авангард открыто сшибся с правительством Керенского. Это не было ещё восстание, лишь глубокая разведка. Но уже в июльском столкновении обнаружилось, что за Керенским нет никакой "демократической" армии: что те силы, которые поддерживают его против нас, являются силами **контрреволюции** (выделено мной – Т.Л.)».

Страшный период двоевластия, октябрьский переворот, который войдёт в историю России как Великая октябрьская революция, приведшая большевиков к власти: «Революция в России случилась. Это – факт, который должен быть признан. Признание факта не связано с его оценкой. Революция есть явление природы. (...)», – напишет Н.Бердяев в книге "Размышления о русской революции". – Русская революция есть великое несчастье. Всякая революция – несчастье. Счастливых революций никогда не бывало. Но революции посылаются Божьим промыслом, и потому народы многому в них научаются. Русская революция – отвратительна. Но ведь всякая революция отвратительна. Хороших, благообразных, прекрасных революций никогда не бывало и быть не может. (...)

Русская революция не признана великой, она пока только большая революция, она лишена нравственного ореола. Но найдутся историки, которые её идеализируют и канонизируют в чине великой; создадут легенду, окружают ореолом, хотя потом явятся другие историки, которые разоблачат эту идеализацию и низвергнут легенду. (...) Нет ничего более жалкого, чем столь распространённые в русской заграничной среде споры о том, произошла ли в России революция или смута, и кто будет отвечать за революцию. Это – самоутешение от совершенного бессилия и немощи. Всякая революция есть смута. Всякая революция есть процесс разложения старого общества и культуры. (...) Революция есть рок народов и великое несчастье. И несчастье это нужно пережить с достоинством, как с достоинством нужно пережить тяжёлое заболевание или смерть близкого существа».

И далее: «В русской революции в муках кончается Россия господская и Россия интеллигентская, и нарождается новая неведомая Россия. Кончить русскую революцию может лишь русское крестьянство, лишь народившаяся в самой революции новая буржуазия, лишь красная армия, опомнившаяся от

своего кровавого бреда, лишь новая интеллигенция, духовно углубившаяся в трагическом опыте революции и стяжавшая себе новые положительные идеи. Хорошо ли это или плохо, но это так. Таков рок, такова судьба. После революции нельзя ждать в России ничего особенно хорошего. Опустошения слишком велики. Деморализация ужасна. Культурный уровень должен понизиться. Но нужно прямо смотреть в глаза судьбе. Нет никаких оснований для розового исторического оптимизма».

О каком уж «розовом оптимизме» может идти речь в тех трагических и кровавых событиях 1917 – 1922 гг., когда ещё шла война с Германией (до заключения Брестского мира в 1918 г.), началась интервенция Антанты, и самое страшное – Гражданская война. Разруха, холод, голод... Зинаида Гиппиус в одном из дневников написала, что на рынкемышь стоила 2 рубля!!! Эмиграция интеллигенции: иногда вынужденная, как например, у Игоря Северянина, Леонида Андреева, которые оказались в Финляндии после подписания Россией Брестского мира или насильственная высылка инакомыслящих по приказу правительства, вошедшая в мировую историю, как «философский пароход», тех, кого, по словам Троцкого, расстрелять «не было повода, а терпеть было невозможно», иногда сознательная – тайный переход границы семьёй Мережковских с Д. Философовым и Б. Савинковым, иногда под видом командировки – Ходасевич с Берберовой. И самая страшная и массовая эмиграция остатков побеждённой Добровольческой армии из Крыма.

Мы шли в сухой и пыльной мгле
По раскалённой крымской глине.
Бахчисарай, как хан в седле,
Дремал в глубокой котловине.
И в этот день в Чуфут-Кале,
Сорвав бессмертники сухие,
Я выцарапал на скале:
Двадцатый год — прощай, Россия!

Это стихотворение написано молодым казаком лейб-гвардии Атаманского полка Николаем Николаевичем Туроверовым (1899 г., станица Старочеркасская – 1972 г., Париж, Франция). Его почти ровесник Владимир Алексеевич Смоленский (1901 г., Луганск – 1961 г., Париж, Франция), потомственный казак, воевавший в Добровольческой армии, покидавший с ней советскую Россию, вспоминая об этом, в 1957 году напишет так.

Над Чёрным морем, над белым Крымом
Летела слава России дымом.
Над голубыми полями клевера
Летели горе и гибель с севера.
Летели русские пули градом,
Убили друга со мною рядом,
И Ангел плакал над мёртвым ангелом...
– Мы уходили за море с Врангелем.

Они были в разных полках, но стихотворение Николая Туроверова «Однополчанин» с полным правом можно отнести ко всем воинам Добровольческой армии.

Мой дорогой однополчанин,
Войною наречённый брат,
В снегах корниловской Кубани
Ты, как и все мы, выпил яд –
Пленительный и неминуемый
Напиток рухнувших эпох...

Яд рухнувшей эпохи пришлось выпить им полной чашей:

Дымилась Русь, горели сёла,
Пылали скирды и стога,
(...)
Легко рубил казак с плеча
И кровь на шашке засыхала
Зловещим светом сургуча.
(...)
Тамбов. Орёл. Познал обмана
Ты весь чарующий расцвет,
Когда смерч древнего бурана
Сметал следы имперских лет.
И над могилою столетий
Сплелися дикою гурьбой
Измена, подвиги и плети,
И честь, и слёзы, и разбой.

Так писал о революции и гражданской войне Николай Туроверов в поэме «Новочеркасск». Не мог забыть Новочеркасск с его Барочной улицей, где записывали в Белую армию, и другой казачий поэт, участник Степного похода Николай Николаевич Евсеев (1892 г., станица Михайловская Области Войска Донского – 1974 г., Париж, Франция):

Дом на Барочной, снега, сугробы,
Счастье, молодость, Степной поход...

И позже, уже в эмиграции:

Новочеркасск в снегах мне снится,
И вновь взволнована душа.

В 1939 году, уже во Франции, Николай Николаевич Туроверов посвятит своему двойному тёзке стихотворение «Поход»:

Не здесь – на станичном погосте
Под мирной сенью крестов
Лежат драгоценные кости
Погибших в боях казаков.
Не здесь сохранились святыни,
Святыни хранились вдали:

Пучок ковыля, да полыни,
Щепотка казачьей земли...

В 1918 году девятнадцатилетний Николай Туроверов был награждён орденом Святой Анны IV степени за храбрость.

Мы отдали всё, что имели,
Тебе, восемнадцатый год,
Твоей азиатской метели
Степной – за Россию поход.

Этот поход позже в стихах он назовёт «ледяным». Таким он войдёт и в историю как поход созданной Добровольческой армии. В 1918 году Корнилов и Алексеев с этой армией под натиском наступающей Красной армии принимают решение оставить Ростов-на-Дону и Новочеркасск и идти в Екатеринодар (ныне Краснодар) для организации антибольшевистского движения среди кубанских казаков. План перебросить армию по железной дороге поездом не удался – железная дорога была занята красноармейцами. Суровой зимой армия с обозами добиралась с боями до Екатеринодара пешими переходами: 1400 километров было пройдено за 80 дней, в том числе 44 дня с боями. Добровольческая армия насчитывала 6000 штыков против 20 000 красноармейцев. При штурме Екатеринодара погиб Корнилов, его заменил А. Деникин, принявший решение об отступлении на юг Дона.

1920 год – год окончательной победы Красной армии над Добровольческой армией, поход – отступление на Крым. «Боян казачества», – как позже назовут его критики в Париже⁶, – Туроверов пишет поэму «Перекоп», посвящая её «родному полку».

Сильней в стремёнах стлы ноги,
И мёрзла с поводом рука.
Всю ночь шли рысью без дороги
С душой травимого волка.
(...)

Нас было мало, слишком мало.
От вражьих толп темнела даль;
Но твёрдым блеском засверкала
Из ножен вынутая сталь.

Последних пламенных порывов
Была исполнена душа,
В железном грохоте разрывов
Вскипали воды Сиваша.

И ждали все, внимая знаку,
И подан был знакомый знак...
Полк шёл в последнюю атаку,
Венчая путь своих атак.

⁶ А.Н. Станюкович «Н. Туроверов – Боян казачества», Возрождение, 1956, №60, с. 549.

Последняя атака, прорыв в Крым и эмиграция в Европу на пароходах.

Тяжкое помню прощание с Крымом,
Всё расставанье с родною землёй,
И пароходов тяжёлые дымы
Над голубой черноморской водой. (Н. Евсеев)

Николаю Туроверову вода Чёрного моря показалась отнюдь не голубой, а чёрной пропастью, пропастью, куда падала Россия и его жизнь.

Помню горечь солёного ветра,
Перегруженный крен корабля;
Полосою синего фетра
Уходила в тумане земля;
Но ни криков, ни стонов, ни жалоб,
Ни протянутых к берегу рук, –
Тишина переполненных палуб
Напряглась, как натянутый лук,
Напряглась и такую осталась
Тетива наших душ навсегда.
Чёрной пропастью мне показалась
За бортом голубая вода. («Отплытие»)

Об ощущении конца пишет и И.А. Бунин⁷, уходящий из Одессы на последнем французском пароходе «Патрас»: «Потом шумно заклубилась вода из-под кормы, мы круто обогнули мол с тёмным, мёртвым маяком, выровнялись и пошли полным ходом... Прощай, Россия, бодро сказал я себе, сбегая по трапам. (...)

Вдруг я совсем очнулся, вдруг меня озарило: да, так вон оно что – я в Чёрном море, я на чужом пароходе, я зачем-то плыву в Константинополь, России – конец, да и всему, всей моей прежней жизни тоже конец, даже если и случится чудо и мы не погибнем в этой злой и ледяной пучине! (Перед отплытием прошёл слух, что два парохода, вышедшие накануне, потерпели крушение из-за снежной бури, один у Босфора, другой у болгарских берегов. – *Т.Л.*) Только как же это я не понимал, не понял этого раньше?» (с.208, 211).

Для казаков была ещё одна боль при эмиграции из России – неизбежное расставание с боевым другом – конём.

Не выдаст моя кобылица,
Не лопнет подпруга седла,
Дымится в Задонье, курится
Седая февральская мгла.

⁷ Иван Бунин, «Конец», Сер. Русские писатели – лауреаты нобелевской премии, М., Молодая гвардия, 1991 г

Или:

Спеши, мой конь, долиной Качи,
Свершай последний переход.
Нет, не один из нас заплачет,
Грузясь на ждущий пароход,
Когда с прощальным поцелуем
Освободим ремни подпруг
И, злым предчувствием волнуем,
Заржёт печально верный друг.

Но, конечно, вершиной этой темы и образа единения казака и коня является стихотворение Н. Тuroверова «Крым».

Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня,
Я с кормы всё время мимо
В своего стрелял коня.
А он плыл, изнемогая,
За высокою кормой,
Всё не веря, всё не зная,
Что прощается со мной.
Сколько раз одной могилы
Ожидали мы в бою.
Конь всё плыл, теряя силы,
Веря в преданность мою.
Мой денщик стрелял не мимо,
Покраснела чуть вода...
Уходящий берег Крыма
Я запомнил навсегда.

Не случайно этот образ коней, брошенных казаками, да и вообще кавалеристами, часто используется в художественных фильмах о Гражданской войне и эмиграции.

Но вернёмся к судьбе Николая Тuroверова.

Эмигрировавший из Крыма с братом и женой, он около полугода бедствовал в русском лагере на греческом острове Лемнос, затем они перебрались в Сербию, где его сестра помогла ему поступить в гимназию и, наконец, в 1922 году он переезжает в Париж. Тuroверов работает грузчиком, а по вечерам учится в Сорбонне. Здесь выходит в свет в 1928 году его первый сборник стихов «Путь», затем ещё 4 сборника стихов, последний – в 1965 году.

Нельзя сказать, что его творчество прошло незамеченным критикой. «Творчество Н. Тuroверова принадлежит к неоклассической линии нашей новой послереволюционной поэзии, сила её – в образности, композиционной стройности, ясности и в умении находить яркие, убедительные образы», – так оценивал его поэтическое творчество Ю. Терапиано.

Глеб Струве⁸ отмечает, характеризуя литературную жизнь эмигрантского Парижа: «Особняком стояли... казачий поэт Николай Туроверов, державшийся в стороне от парижских литературных кругов, занимавшийся казачьей культурно-общественной работой, но высоко оценённый таким критиком, как Г. А. Адамович» (с. 222). Что касается общественной работы, то Туроверов с 1930 года является хранителем архива и музейного имущества лейб-гвардии Атаманского полка, с 1954 года редактирует журнал «Родимый край», в 1951 году выпускает сборник «Наполеон и казаки». Обсуждая его творчество, Струве считает, что: «Со свойственным парижским поэтам снобизмом от него отмахивались как от “казачьего поэта”. Всего вероятнее, что его стихов просто не знали (...), но лучшее у него заслуживает большего внимания, чем то, которое ему до сих пор оказано» (с. 235-236). Он подчёркивает стойкость поэта: «Никаких жалоб и сетований про бессмысленность жизни и одиночество – при острой тоске по России и сознании отрыва от неё и горечи изгнания:

“И останется с нами до гроба
Только имя забытой страны”» (с. 235).

Трудно не согласиться с этим. Действительно, ностальгическая тоска по родине и скорбь о судьбах казачества пронизывают лучшие, самые пронзительные его стихотворения, в которых он поднимается до высот лирики крупнейшего поэта эмиграции – Георгия Иванова.

Над весенней водой, над затонами,
Над простором казачьей земли
Точно войско Донское – колоннами
Пролетели вчера журавли.
Пролетели, печально курлыкая,
Был далёк их подоблачный шлях.
Горемыками горе размыкали
Казаки в чужедальних краях. (1938 г.)

Это стихотворение Николая Туроверова. А вот что написал двадцать лет спустя в 1958 году Георгий Иванов:

За столько лет такого маянья
По городам чужой земли
Есть от чего прийти в отчаянье,
И мы в отчаянье пришли.
– В отчаянье, в приют последний,
Как будто мы пришли зимой
С вечерни в церковке соседней,
По снегу русскому, домой.

Русский снег, русская зима – это олицетворение Родины и мучительные воспоминания о ней и для Николая Туроверова:

⁸ «Русская литература в изгнании», Париж – Москва, 1996.

Слились в одну мои все зимы,
 Мои оснеженные дни.
 Застыли розовые дымы,
 Легли сугробы за плетни.
 (...)

 В раю моих воспоминаний,
 В моем мучительном раю
 Ковровые уносят сани
 Меня на родину мою. (1929 г.)

«Мучительный рай, «мачеха весёлая моя» для донского казака Туроверова – это приютившая его Франция – «страна моёй (Н. Туроверова – *Т.Л.*) свободы». А его дом... Где он?

Зодчий, зодчий! Что ты строишь – отчий
 Или новый, незнакомый дом? (...)

 Помнишь наш курень саманный
 С кровлей из донского камыша? (1955 - 1956 г.)

И ответ:

Больше ждать и верить, и томиться,
 Притворяться больше не могу.
 Древняя Черкасская станица
 Город мой на низком берегу. (1936 г.)

Казалось бы, при знакомстве с его биографией, что его жизнь сложилась, и сложилась неплохо: живёт в Париже, стал поэтом, его творчество признано русскоязычным зарубежьем, собиратель коллекции рукописей, книг, гравюр об истории и быте казачества, редактор журнала, русская жена, любимая дочь Наташа... И всё же всё же, всё же... Неизбывная тоска по России, где кто-то (поэт задаёт вопрос «Кто?» – *Т.Л.*) «... украл мою молодость даже, // не оставив следа у дверей». И далее:

И хожу я по белому свету,
 Никогда не бывав молодым,
 Небывалую молодость эту,
 По следам догоняя чужим.
 Увели её ночью из дома
 На семнадцатом детском году
 И по вашему стал, по-седому
 Глупый мальчик метаться в бреду.
 (...)

 ... Кто ответит? В острожном краю
 Скачет выжженной степью укравший
 Невестную юность мою. (1923 г.)

В 1923 году Россия представляется ему острогом с выжженной степью. Поэта, пережившего в ранней юности – без юности – две войны, мучает вопрос о судьбе следующих поколений:

И растёт, и ждёт ли наша смена,
Чтобы вновь, в февральскую пургу,
Дети шли в сугробах по колёно
Умирать на розовом снегу. (1937 г.)

Его ответ однозначен: «Эти дни не могут повториться». Революция, гражданская война, смута и раскол народа на красных и белых, разрушенные жизни, трагические судьбы изгнанных родиной «семнадцатилетних детей». Двадцать лет после начала братоубийственной войны, но в его душе свербит вопрос о том, нужно ли кого-то ненавидеть за доставшуюся его родине и ему самому драматическую судьбу.

Тоскую, горю и сгораю
В чужой непривольной дали,
Как будто не знал и не знаю
Родной и любимой земли.
Но нужно ль кого ненавидеть
За то, что досталось мне
Лишь в юности родину видеть,
Скача на горячем коне,
Запомнить простор, да туманы.
Пожары, разбои и кровь
И, видя ненужные страны,
Хранить неземную любовь. (1937 г.)

Много лет спустя после начала Гражданской войны в 1950 году Туроверов ответит самому себе на вопрос о ненависти и врагах.

Мороз крепчал. Стоял такой мороз,
Что бронепоезд наш застыл над яром,
Где ждал нас враг, и бедный паровоз
Стоял в дыму и задышался паром.
(...)
Но вот в душе, как будто, потеплело:
Сочельник был. И снег лежал в степях.
И не было ни красных и ни белых.

Остаётся только сожалеть о том, как поздно пришло прозрение: снег, как символ России, степь, как символ казачества, христианский праздник и ... всё это – единая Родина русского народа.

Через всё творчество Н. Туроверова красной нитью проходит тема непреходящей тоски по любимой родине и увы! несбыточная, но всё же надежда на возвращение:

В холодном сумраке Европы
Мы жадно ищем наши тропы
Возрата к ней – и только к ней –
Единственной на чуждом мире:
К родным полям твоей Сибири,
К родным ветрам моих степей.

(...)

И почему мне нет иного
Пути среди множества путей,
И нет на свете лучше слова,
Чем имя родины моей. (1941-42 гг. «Гражданские стихи»).

Другой казачий поэт Николай Евсеев понимает счастье как русскую национальную идею – преемственность «русскости» из поколения в поколение:

Родиться русским, им остаться
И это счастье уберечь.
Когда бы, где бы ни скитаться –
Таким, как деды в землю лечь.

Или:

Счастье, счастье вернуться в родные .
Ненаглядные с детства края
На просторы, когда-то степные,
Где так сладостно пахнет земля.
Пахнет пылью, пылью и мятой,
И таким материнским, родным...
Позабуду я боль и утраты,
Снова стану опять молодым.

Никого – ни родных, ни знакомых,
Лишь один этот ветер степной.
Но я с ним, я на родине, дома,
Здесь окончу я путь свой земной.⁹

За пять лет до смерти Николай Туроверов напишет своё «Завещание».

Восемь строчек завещанья
К уцелевшим друзьям, чтоб
В неизбежный день прощанья
Положили мне на гроб
Синеглазую фуражку
Атаманского полка
И прадедовскую шашку
С лентой алой темляка. (24.02.1967 г.)

Это завещание казака, завещание воина, прошедшего три войны – он участвовал во Второй мировой войне на стороне Франции против Германии, вступив в Иностраннный легион и воюя в Африке, где заразился жёлтой лихорадкой, – поэта – эмигранта, пронёсшего через всю жизнь верность присяге, верность идеалам казачества, своему полку и неизбывную горькую любовь к России.

⁹ Цит. по Ю. Терапиано «Литературная жизнь русского Парижа за полвека. (1924-1974)», с. 263.

Я видел смерть. Быть может, снова
Её увижу; но клянусь –
От прародительского слова
Я никогда не откажусь.
И ни на что не променяю
Средь самых чёрных страшных дней
Свою любовь к родному краю
И верность родине моей.
За горсть земли из той долины,
Где некогда стоял мой дом,
Готов отдать я все равнины
И все леса в краю чужом. (1943 г.)

Ностальгия? Да, конечно. Но это, несомненно, стихи русского патриота. Революция бросила за рубеж и разбросала по самым разным странам россиян самых разных взглядов, и революционеров, и монархистов, и казаков. В гимне Войска Донского есть такие строки:

Славься, Дон! И в наши годы,
В память вольной старины,
В час невзгоды честь свободы
Отстоят твои сыны!

Православное казачество после революции встало на защиту своего отечества и царя. Сергей Бехтеев (1879 г. Липовка, Елецкого уезда Орловской губерния – 4 мая 1954, Ницца, Франция) – участник Первой мировой войны, офицер Добровольческой армии с 1917 года, эмигрировавший из Крыма в Сербию и затем во Францию, поэт-монархист, посвящавший свои стихи всем членам царской семьи. Поэт-монархист, ярый противник революции, в лицо родине бросает даже не обвинение, а просто оскорбление в стихотворении «Россия»:

Была Державная Россия;
Была великая страна
С народом, мощным, как стихия,
Непобедимым, как волна.
Но под напором черни дикой,
Пред ложным призраком «свобод»
Не стало родины великой,
Распался скованный народ. (...)
Когда-то властная Царица,
Гроза и страх своих врагов –
Теперь ты жалкая блудница,
Раба, прислужница рабов! (...)
И в дни народной деспотии
В бродяге, нищенке простой
Никто не узнает России
И не считается с тобой.

(Не правда ли, как это современно звучит именно сегодня? – Т.Л.)

Да будут прокляты потомством
 Сыны, дерзнувшие предать
 С таким преступным вероломством
 Свою беспомощную Мать! (Орёл, апрель 1917 года).

Протоиерей Александр Шаргунов, составитель книги стихов Сергея Бехтеева (М., Новая книга, 1996 г.), считает, что: «Сергей Бехтеев – поэт-пророк. Об отречении царя он пишет с трепетом, как о подвиге страстотерпчества». В 1917 году, когда пылало «кровавым заревом небо» и пылали усадьбы подряд, Бехтеев посвящает стихотворение Николаю II и передаёт его в Тобольск:

Пройдут века; но подлости народной
 С страниц истории не вычеркнут года:
 Образ царя, прямой и благородный,
 Пощёчиной вам будет навсегда.

Благородный образ Николая II? «Подвиг страстотерпчества»? Это весьма спорное утверждение, которое не только не разделяет автор данного эссе, но и многие современники поэта, в частности Зинаида Гиппиус так отреагировала на известие о расстреле царя: «Щупленького офицерику не жаль, конечно... он давно был с мертвечинкой», не говоря уже о массовой поддержке «красных» народом России, что, в конечном итоге, и привело к победе советской власти и созданию Советского Союза.

Следует отметить, что в поэтическом сборнике «Песни скорби и слёз» (1920 г., Сербия) Бехтеев напишет:

Блажен, кто в дни борьбы мятежной
 В дни общей мерзости людской
 Остался с чистой, белоснежной
 Неопороченной душой. (...)

Блажен, кто родину не предал, (курсив мой – Т.Л.)
 Кто на царя не восставал...

Главной здесь является, с моей точки зрения, строка о невозможности предать родину. Да, Бехтеев верил в монархическую судьбу России. Да, он не отказался от неё, боролся за свои взгляды. Предал ли он Россию? Думаю, что нет, наоборот остался её патриотом, такой, какой он её видел и хотел видеть в будущем. Верил в то, что всё вернётся на круги своя.

«Я твёрдо верю» – День настанет,
 Пройдёт пора кровавых смут
 И перед нами в вечность канет
 Слепой и дикий самосуд. (Новый Футог, Сербия, 1922 г.)

Бехтеев не оказался пророком. Монархия не возродилась, да и не возродится, будем надеяться, никогда. А вот что касается веры в Россию, верности своим идеям, каковыми бы они ни были различными у разных людей – эмигрантов первой волны, любви к Родине, то вернёмся снова к стихам Николая Туроверова:

Мою тоску, и веру, и любовь / Ещѣ припомнит молодое племя...

Быть может, зря были прожиты их жизни в отрыве от родины? На этот вопрос ответ дал Николай Туроверов в стихотворении 1945 года «Отцу Николаю»:

Не Георгиевский, а нательный крест,
Медный, на простом гайтане
Памятью знакомых мест
Никогда напоминать не перестанет;
Но и крест, полученный в бою,
Точно друг, и беспокойный и горячий,
Всё твердит, что *молодость свою*
Я не мог бы начинать иначе. (Курсив мой – Т.Л.)

Да, как бы тяжело ни складывалась их эмигрантская жизнь, но они были верны своим идеалом и пронесли через всю жизнь верность России. Георгий Адамович в широко известном стихотворении спрашивает:

Когда мы в Россию вернёмся...
О, Гамлет восточный, когда? –
Пешком, по размытым дорогам,
В стоградусные холода,
Без всяких коней и триумфов,
Без всяких там кликов, пешком,
Но только наверное знать бы,
Что вовремя мы добредём...

И сам же себе отвечает:

Пора собираться. Светает.
Пора бы и трогаться в путь.
Две медных монеты на веки.
Скрещённые руки на грудь.

Да, бранные тела многих поэтов Серебряного века, не принявших большевистскую революцию, покоятся на различных русских кладбищах Франции и других стран Европы, Азии, Америки. Но их имена, их творчество возвращаются из изгнания в Россию, издаются книги, на их родине появляются мемориальные доски, открываются музеи, проводятся вечера памяти и конкурсы.

«*Мы не в изгнании, мы в послании*», – утверждала Зинаида Гиппиус. Отрадно, что их «послание» вернулось в Россию, хотя и десятки лет спустя, и восполнило пустовавшие, но предназначенные для них страницы Единой русской культуры.

PS. Мой дед Лестев Александр Николаевич, учитель, происходил из Донских казаков. Дед не участвовал в Первой мировой войне – учителей не призывали в армию. Его младший брат Михаил Николаевич (1888 г.р.) был призван из станицы Кепинской Области войска Донского в 14 Донской казачий полк. Офицер-сотник, он погиб 18 ноября 1914 года под Бендином, уездном городе (ныне Польша) во время разведки, которую производил со своей сотней, не дожив до революции и Гражданской войны. И я задаю себе вопрос, а как бы сложилась его судьба, если бы немецкие пули не лишили его жизни? Мне кажется, что он остался бы верен присяге. Но кто знает...

«НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!»

(Горестные заметки Редактора после чтения горестной статьи)

Я преподавал математику в школе и в высших учебных заведениях и горжусь тем, что вознесся на две вершины: в школе сумел понять, что хотя делить на нуль нельзя, но отношение: $\sin x / x$ равняется 1 при $x = 0$ (то есть делить на нуль можно!), и во-вторых, своим ученикам сумел объяснить, чем отличается «равномерная непрерывность» от «непрерывности», хотя сам понимаю это с трудом. Но далее еще невероятнее: я понял и также смог убедить школьников (в том числе и девочек, помимо Сонечки Ковалевской), что корень квадратный из минус единицы существует и равен i (хотя что это такое, я, правда, не понимаю). В некоторых случаях на помощь приходят **аксиомы** (это такие утверждения, которые не надо доказывать, они тем не менее всеми считаются верными), ими очень широко пользовался Ильич, например, он утверждал, что "учение Маркса всеильно, потому что верно" (и наоборот) и никто с этим не спорил. Поэты не доказывают (математическими рассуждениями и даже философскими) справедливость своих прозрений, образов, утверждений, но ни один человек, способный к восприятию стихов (или музыки) не возражает гениальным стихам (даже просто хорошим) – осмелились возражать только двое из всего народа: во-первых, митрополит Московский Филарет возразил стихотворению Пушкина

«Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.»

Причем даже написал и собственное стихотворение:

**«Не напрасно, не случайно / Жизнь от Бога нам дана,
Не без воли Бога тайной / И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью / Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью, / Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, забвенный мною! / Просияй сквозь сумрак дум, –
И созиждется Тобою / Сердце чисто, светел ум.»**

Второй возражающий был Лев Толстой, он возражал другому стихотворению Пушкина, потом пошел еще дальше, возразил и поэзии в целом, и музыке (поясняя, что равномерное битье бабами по косам, которыми они косили сено, большая музыка, чем игра на фортепьяно и симфонии глухого Бетховена). Я всю жизнь, преуспев в объяснении «равномерной непрерывности», по глупости считал, что «всем всё можно объяснить», тем более что я – гениальный учитель (так меня называли некоторые выдающиеся

математики). И только в конце жизни, понимая, что подавляющее большинство народа не слушает симфонии ни глухого Бетховена, ни слышашего Шостаковича, и необходимость их слушать и слышать – это НЕ аксиома, я умеряю свой пыл проповедника и спорщика. Справедливо ли, что работник живет впроголодь, а продавец ест от пуза? Попробовали проверить, стало хуже. Можно ли жить без веры в Бога? Многие живут, притом прекрасные люди, вот, например, Филонов от религии пришел к атеизму, а Стерлигов от атеизма к религии (о чем писал Ф. Ковтун, которого я перепечатаваю в своем НРЖ), но ни один не лучше другого, оба хороши. Много аксиом навязываются мне извне, я с ними ожесточенно спорил, и зря, ибо сам апостол Павел говорит, что «Бога никто никогда не видел», о чем и пишется в Новом Завете, и сам он сначала христиан преследовал, а позже проповедовал, а я наоборот, всю раннюю жизнь их превозносил, а позднюю оспариваю. Так, может быть, Истины и нет, а «кому что нравится», как полагал Лев Толстой? Но я математик, я органически не могу согласиться с относительностью МЕРЫ Бытия, с относительностью истины, правды, справедливости и красоты, ибо *они не относительны, а абсолютны*. Но возражать я все же буду теперь иначе, и всей навязываемой мне аксиоматике внешнего мира я противопоставлю аксиоматику культуры, в частности, поэзии. С Филаретом спорить не надо, он (как и люди его природы) принадлежит к другой геометрии, он живет в плоском мире, там через точку вне прямой проходит только одна параллельная прямая, а в неплоском мире все несколько сложнее, но **не абы как!!!** И вот это главное. И правда и добро не отменяются никакими аксиомами, а у всех **одинаковы**. (Но только в рамках культуры и людских судеб мы это способны увидеть, и очень часто человеку приходится подниматься до понимания и ощущения **трагедии**, чтобы начать воистину слышать и глубоко понимать!)

В России только три процента населения принадлежало к тому рабочему классу, который был единственным носителем истины, по мнению Маркса (то есть якобы генетически не имел, что терять, кроме своих цепей), но в который еще надо было вносить революционные идеи, по мнению Ильича, ибо сам он с ними не рождался, – но девять из десяти были крестьянами и жили в деревне. Противостояние города и деревни – одно из самых древних противостояний в истории: земледельческой культуры (в широком смысле этого слова, то есть и трудовой деятельности, и образа и места жизни и особенного способа связи с природой) – и культуры городской; Рима и провинций. Рабочий, возможно, жаждал освобождения от эксплуатации, но при советской власти (большевиков) его жилищные условия мало изменились, характер и тяжесть работы – тоже, социальные изменения, улучшающие условия труда и быта, если и происходили, то медленнее и меньше, чем в буржуазных странах Европы, обобедшихся без кровавых потрясений.

Что дала русская революция крестьянству, которое при большевиках снова было закрепощено, вместо трех дней в неделю барщины получило семь дней работы на советскую власть и строительство коммунизма, пятнадцать миллионов умерших от голода, раскулачивание, расказачивание, расчленение – правда, были сожжены и разграблены пятьдесят тысяч дворянских

усадеб, разгромлены сто тысяч сельских храмов, стерты с географической карты две трети хуторов, деревень, сёл – но от этого крестьянам легче не стало. Необходимо еще знать и понимать, что после Революции и превращения рек, озер, лесов и лугов, дорог и пашен в общенародную собственность были уничтожены почти все крупные боры в европейской России и кедровые и лиственничные леса в Сибири, то есть уничтожена тайга, выпилены и проданы за рубеж сосновые леса, русский же народ для строительства и мебели использовал второсортную древесину и опилки: я сам для книжных полок покупал древесно-стружечные плиты – в лесу русскому человеку не было леса. Лес и нефть, уголь и газ, золото и марганец как наша кровь перекачиваются в чужие страны до сих пор, в богатейшей стране мира люди до сих пор голодают (читаю об этом вчера в Аргументах недели, не в желтом издании и не в голубом).

"Народ поддержал красных" – а какой народ не поддерживает торжествующую власть? Разве кхмеры, древний культурный народ, не поддерживал Пол Пога, который уничтожил в собственной стране каждого второго жителя? Разве китайцы не поддерживали «Культурную революцию» Мао, продолжающего бесчинствовать и в шестидесятые годы, как Сталин бесчинствовал в тридцатые, как Иван Грозный бесчинствовал в Новгороде, который был покорен еще его дедом, и население которого тогда еще переселялось в Тверь, а оттуда тверяки переселялись в Новгородские земли?

Есть ли сегодня крестьяне в России? Нет. Народ повсеместно живет в городе. А есть ли будущее у такого народа? Нет. (Заметьте, я не собираюсь доказывать свои утверждения. Нет ни одной вздорной идеи в науке и богословии, которые не были бы раньше доказаны. Но эти идеи перестают одурманивать только лишь потому, что *ветшают*, как здания и заборы – позавчера еще мы молились Священному Писанию, вчера – Дарвину и Марксу, сегодня – как будто опять вернулась (или не уходила) «кабала святош», спрашиваем у *батюшки*, как нам жить и с кем целоваться.)

Тепло сменяется холодом, холод дождем, затем наступает засуха – «доказать ничего нельзя», это понял еще Достоевский – но *ничего нельзя и проверить*, человек живет слишком мало, умирает раньше, чем заканчивается эксперимент, и не успевает узнать, что его уже реабилитировали или что его облигации выиграли (как об этом повествуется в известном анекдоте).

Правда – только на стороне трагедии, она всегда правдива (как бывает изредка правдив и смех, которым мы *смеемся сквозь слезы*).

Русская эмигрантская литература вернулась в Россию, вернулись Бердяев, Адамович, Георгий Иванов, Берберова, Розанов (из гроба), как еще раньше Солженицын, Иванов-Разумник, Мережковский... и это так пронзительно очевидно в их стихах и прозе и в рассказе автора статьи – но при чем тут давно уже обветшавшая «правда русской революции», которая и всегда была ложью – отзвук этой «ветхой правды» пронизывает трагедию рассказа Т. Лестевой об изгнании, только подчеркивая «правду трагедии».

Но, может быть, эта двойственность истории и культуры необходима? Мы живем в евклидовском мире, молимся *прямолинейным богам* – и даже я, увы, не смогу объяснить «блаженным» ни апорий Зенона, ни Лобачевского...

14 октября 17. Пашу (3 года 7 месяцев) повели в кружок, он пошел налево. "Нет, тебе направо, слева девочки занимаются". "Ну и хорошо, я девочек больше люблю!" Не надо теперь мне оправдываться, я тоже девочек больше люблю и не буду этого скрывать. Более того, прихожу в связи с этим к важным выводам. Французскую революцию совершили совместно Конвент (где заседали мужчины) и парижские женщины легкого поведения, революция тоже была безжалостной, как и у нас, но не вьелась так глубоко в душу народа. У нас революцию совершила Государственная дума, женщины легкого поведения, как Коллонтай и эта... ммм... предыдущая любовница Раскольникова, (или Лиля Брик), сыграли второстепенную роль, последствия оказались потому более трагические, Реставрация произошла не через 25 лет, как во Франции, а через 75 лет. (И в Россию изгнанники вернулись редко живые).

Но каково же мое собственное отношение к Революции? Я человек двойственный, во мне две личности, прадед стрелял за белых, дед за красных, жили потом, после ссылки, в разных краях сибирской деревни и не разговаривали. Первыми моими книгами были Коперник и Николай Полевой, затем я начал читать Маркса и вождя пролетариата, в школе дружил с Олей, ее бабушка дружила с Махно. У другой девочки, которой я нравился, тетя жила в революционном Петрограде и слышала, как стреляла пушка Авроры (может быть, некоторые подробности неуместны, но она мне их рассказывала, что-то они прибивают к впечатлению от эпохи. Дело происходило в Летнем саду, уже наступил ноябрь, по нынешнему, мела поземка, от страха она слегка описалась, их было две подруги, и к ним привязался революционный матрос. Так что тетя хорошо запомнила роковой выстрел. Была она потом секретаршей одного из вождей, кого именно, даже в 59-м году боялась мне говорить, жила около Невы в бывшей бане, разгороженной на комнаты.

Эстетический взгляд на историю многое поясняет в ее понимании, и мне не надо было жить в 17-м, чтобы впитать все запахи той эпохи.

«Я родился, брат, в Сибири! Там такие были шири! Но пришли большевики – Заросла деревня лесом, Лес пошел к таким-то бесам, А за ним и мужики. . .

А за ними даже бабы... Вот и Русь... Мы все, брат, слабы, Были б крепче – не спилсь, Не пошли б за чуждой верой – Сказкой, мороком, химерой, А свои б пути нашлись.» – писал я в стихах. Русь заросла не просто лесом – ее поля заросли ольхой и березой. И вот мелочи быта мне рассказывают летопись русской исторической жизни. Двоюродный брат отчима жил на Тамбовской в комнате, перегороденной ширмой надвое, слева жила одна семья, справа другая – две семьи, не состоявшие даже в родстве. Юность моя прошла в купеческих театрах и рыцарских залах, разгороженных, как и баня тетушки, потолком надвое (по высоте), там я работал в каких-то учреждениях, а на стенах висели рыцарские доспехи. Как-то, работая учителем, я жил в швейной мастерской, в уголке, отделенном от нее ширмой, потом жил в квартире, находящейся за дверью театра. Еще одна характерная особенность социалистического быта: на матмехе девять из десяти дверей были заколочены, коридоры обычно были перегородены тоже... а подвалы? В них жили. Хрущева почему-то все ненавидят, а он первый стал строить дома для жизни, пусть и не шибко лучше прежних разгороженных бань. Да, эстетический взгляд на мироздание иначе

представляет историю человечества, и стоя у стрельчатого окна на Екатерининский канал рядом с «прелестной», я не мог впитать мировоззрение рабочего класса, сколько ни читал «Капитал». Крестьянин ведь тоже чужд рабочему, живя под пологом звездного неба, среди гречишного поля, слушая музыку молочной струи, ударяющей о подойник, он небожитель. И потому Революция – была ли она против царя и помещиков, несла ли войну дворцам и мир хижинам? Или же она была против земли и леса, против лошади и коровы, но за автомобиль и пальмовое масло, за казарму и бесконечный фабричный труд, обобщественную семью и коммуны? Зря ли теоретики марксизма причислили и крестьянство к мелкой буржуазии и наконец извели его под корень?

Разгромленная предреволюционная эпоха просочилась в мою жизнь сквозь все поры кожи. У моей крестной в нашей деревушке Корневище была Библия с иллюстрациями Доре и настоящий ткацкий станок (да, и прялки и веретена в нашей деревушке были все старинные и красивые, а пряжи красивые и молодые!) Но с семнадцати лет я жил в «городе трех революций» (многие полагают, что именно за это этот город был так наказан и претерпел адские муки!) В университетской библиотеке я читал Розанова и Бердяева, Уайльда и Фихте, Беркли и Библию, на «Музыкальных средах» слушал граммофонные записи Шаляпина, Вяльцевой и Вари Паниной, провозжал «незнакомку» Блока до такси, сидел рядом с случайной "подружкой" Собинова, через Невский провозжал Елизавету Тиме и она мне рассказывала, как приставал к ней Керенский с предложением руки и сердца (хотя она была замужем), Варвара Георгиевна пела нам с женою романсы Липковской, с которой жила на одной лестничной площадке (к которой *приставал* сам Урицкий) – и революционный террор я знаю не только из книг, ее 17-летний брат, пошедший на свидание в кадетской форме, был арестован и вывезен на барже в «Маркизову лужу», где кадеты и были затоплены. Что там одна слезинка социалиста Достоевского?!

В.Г. умоляла Урицкого устроить ей хоть свидание с братом, и тот обещал – но, вероятно, логика революционной беспощадности сильнее всех умолений, если и сегодня мои современники оправдывают сталинский революционный террор! И я иногда думаю: *чума на этот дом ненависти и злобы!* Пусть его стены будут разрушены, пусть его дети голодают, пусть на его улицах поселятся таджики с китайцами, пусть на всех оденут исламский хиджаб (حجاب – покрывало)!!! («и я предамся ликованью!» – из книги Ломброзо "Гениальность и помешательство")

Деда Шм---ко (с которым я выпивал и даже однажды спас от бандитов) закопали в 22 году живьем на Смоленском кладбище), прадед моей миленькой великомученик (конечно, она права, что не стала со мной дружить!) – но крестьян пострадало не меньше, чем священников и поэтов, и я думаю, что революция имеет прежде всего не социальный, а метафизический характер, она направлена на уничтожение "органического" восприятия жизни в пользу рационального, на замену естественного (природного и отчасти стихийного) искусственным (не в связи с искусством, а в связи с ремесленным, как выращивание ребенка в пробирке вместо женского лона). Революция **трансцендентна**, вдруг осознаю я, и хотя все храмы были порушены, но инобытийно она является продолжением христианской революции, она

стремилась живое и человеческое заменить машинным (а те человеческое стремились заменить божьим!)

Вчера был на поминках и на меня налетели православные, ибо не только писание книг, но и издание их тяжкий грех закричали они (а я, как вы помните, бывший издатель), и я дважды грешник, но до сих пор не раскаялся. Но вот наша главная ошибка, деятелей культуры, и даже преступление, мы Бога отдали на распятие его служителем, жрецам и толпам (авгурам и богословам), но священное писание содержится в литературе и небесные истины излагаются поэтами, но вовсе не схимниками и юридами. "В небесах торжественно и чудно, Спит земля в сияньи голубом" – вот где наша благая весть! Проповедь ненависти к миру и человечности, ненависти к жизни и культуре – это не откровение божества, а человеческие измышления, притом не лучшие из людей, и что "любовь от движения крови – это мерзость", как учит преподобный Игнатий – недостойно нашего прекрасного, хотя и трагического мира!!! Случайно ли Розанов «на категорический вопрос Мережковского – "кто же был Христос?" – ответил шепотком, мелко крестясь и нагибаясь к уху: "как же вы не понимаете? Христос – ведь это Денница, прости Господи мои прегрешения"»? (как я об этом уже писал в предыдущем номере – но мне кажется, что мы стали еще ленивее, после Пушкина, и уже почти совсем ничего не читаем, даже и евангелия). Еще напоминаю оттуда же, что говорит Иванов-Разумник «всякому утверждению христианина В. Розанов противопоставляет свое отрицание. Да, Евангелие "сверхъестественно", но оно не "благая весть", а "злая весть" для человечества; да, личность Христа сверхчеловечна, но не божественна, а анти-божественна.»

Мой знакомый турок из сумасшедшего дома при русских родителях оказался не русским, а турком, и на вопрос мой, как же это может быть, без смущения ответил: не знаю. И НИКТО не знает!

Ну, с таким турком не о чем не только спорить, но даже просто беседовать. Так зачем литературе соотноситься с богословием? Зачем математику оспаривать «социалистические таблицы логарифмов»? Читаю Гераклита (кстати, смотрю, мы очень похожи внешне). Его привлекли в Эфесе к «суду инквизиции» за богохульство, сжечь не успели, Гераклит умер. В Афинах Сократа за богохульство осудили тоже. Но меня осудить нельзя. Я покаяться в своей горячности, попросил прощения у православных, увы, сказал я, мы теперь больше не можем спорить, я перехожу в иудаизм. Или в протестантизм (в их соборах даются прекрасные концерты, где играет воспитательная Машенька В. и много других чудных исполнительниц музыки.) Чтобы уже больше не спорить о христианстве... Я пока не высказываюсь о природе Христа, о существовании Бога, о превосходстве одной религии над другой, я согласен с тем, что человек должен быть образованным и умным (по уму *совершеннолетним*, говорит апостол Павел), но я русский писатель – вправе ли я быть плохим писателем? Нет. Я русский, вправе ли я не любить отечество и не защищать его? Нет. (Именно поэтому я *народник*, или русский националист – иудеям не возбраняется быть народниками, и я даже призываю их к этому – а вот с христианством народничество не совместимо – ну, не могу уже я заново перелистывать перед вами мильёны ваших собственных

книг, где именно это вами давно уж доказано). Я муж и отец (и жена меня не боится, и сын и внуки – посему я никак не живу согласно заповедям Моисеевым, подтвержденным Христом). Более того, если кто потребует пройти с ним поприще, я пройду даже вдвое, говорит Павел – и мне нравится эта максима, я от нее в восхищении – но я – реинкарнация Гераклита (и даже похож на него), посему я повторяю за ним, что жизнь – это борьба! И я продолжаю бороться, хотя силы уже не те. Все ополчились на нас, последних русских народников, большевики требовали, чтобы я подписал их Кодекс строителя коммунизма. И все мне там нравилось – но вот, сказал я, мне нравится чужая жена и она даже со мной целовалась – достоин ли я подписать сей священный кодекс? А в остальном я праведен и даже почти уже бросил пить. (Все сие без иронии и совсем не глумясь. Человек должен стремиться быть добрым и заботиться о других, о друзьях, о родных, о родине, природе, культуре – и этого достаточно, чтобы быть праведным и войти в любое царствие праведных, небесное иль земное. И я праведен и один из лучших, позже я об этом еще скажу и вы согласитесь. (Может быть. Вы подумаете, что это уже начинается мания величия? Возможно. Ну и ничего! Она развивается медленно, а на моей родине с каждым годом все хуже, хуже вода, воздух, земля и хлеб, не говоря уж о водке, и ни один олигарх и даже демократ этим не озабочен, им наплевать на то, чем мы дышим, что пьем и едим – ну так и не успеет во мне утвердиться никакая мания, я раньше умру. Так что не будем бояться моей праведности!)

Но я отвлекся. Простите меня, мои читатели, продолжим о революции.

Каждый поэт более религиозен, чем богослов. Даже Маяковский – ибо он любил Лилию, а всякая любовь к женщине религиозна, что бы ни утверждали евнухи и голубые. (Любовь к мужчине отчасти религиозна тоже, но только для женщины). Религиозен был и Николай Степанович Гумилев – но он был подлинно религиозен, ибо он был прекрасным поэтом, и влюблялся в достойных женщин, но внешне многое делал из вызова и озорства. Ирочка Одоевцева мне рассказывала, что он снимал шапку и истово крестился, проходя мимо каждого храма, не скрываясь, а подчеркивая свою симпатию. Тебя расстреляют! – в ужасе пыталась я остановить его, но он только отмахивался: Меня все равно расстреляют, говорил он, что бы я ни делал, мы несовместимы. И я его глубоко понимаю. Есть стиль поведения, образ жизни, внешность, одежда, выговор, поступки, вкусы и многое другое, что отталкивает одного и притягивает другого. Я смогу жить в одной камере с иудеями, но не уживусь с христианами: этот елей, эта патока, этот сироп, эти опущенные глаза, дрожачие преклоненные колени, это сверхсознание своей неисчерпаемой вины перед богом меня уморят раньше, чем меня доведут до эшафота, если приговорят к смерти. Так что пусть приговорят к смерти, я проживу дольше. И не смейте при мне говорить о том, что Пушкин умер как христианин. Он умер как мужчина, как русский поэт, отчасти как игрок, как хулиган, честолюбец, гордец и верный друг – он умер со всеми своими достоинствами и недостатками, не отказавшись ни от одного, не отказавшись даже ни от одной строки в своих черновиках – он все их когда-то использовал, всё ему пригодилось...

Я счастливее многих. *Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые*, говорит Тютчев, но я блажен вдвойне, я пришел чуть позже, когда драка окончилась, и все, кто остался, несколько успокоились и многое поняли гораздо глубже, чем при самом пыле недавней драки. Теодор Адамович Шумовский читал мне стихи Гумилева-отца и рассказывал, как лежал под нарами с Гумилевым сыном. Когда я пригласил Льва Николаевича в гости, Т.А., ревнивый друг, потребовал: *он или я?!* И мне пришлось уступить (возможно, в этой ревности имело значение то, что в начале пятидесятых годов по улицам Решет и Тайшета ходили мы вместе, еще не знакомые, я был школьником, он был ссыльным, недавно освобожденным из лагеря, встретились мы в Ленинграде в семидесятые годы и дружили до самой его смерти в 2012 году). Татьяна Ивановна, певичка, поэтесса, дружившая с Дали и Пикассо, вернувшись после войны в Россию, отсидела за это десять лет! (ну за что наказывать женщину, даже не воевавшую в Белой армии? Да будь красные миллионеры в своей революции, но, братцы – да будь они прокляты со всею своей правотой, набрасывающиеся даже на женщин, никогда не воевавших!). Но к делу! Т.И. была тоже ревнива, она приревновала меня к 12-летней дочке хозяйки, у которой снимала комнату с видом на Казанский собор. (Позже я попал в галерею ее великого мужа, находившуюся в подвале ГУМа, в которой, в частности, были скульптуры революционных вождей. Я шел мимо анфилады маленьких и больших Ильичей и ужасался: передо мною проходило Зло и Лицемерие, Злоба и дьявольская воля в миллионах бесчеловечных форм – как же этого не видели те, кто поклонялся этому плешивому мужичонке с красно-красными глазами?!) Позднее прочитал я воспоминания Феликса Юсупова (убийцы Распутина), воспоминания мне понравились, и Феликс тоже. Но гораздо важнее другое: однажды зимним днем в конце шестидесятых годов гулял я с Т.И. и ее подругой по имени Лиза по набережной Мойки мимо Юсуповского дворца, и Лиза рассказывала нам о том, как все происходило. Распутин жадно за столом ел пирожные с цианистым калием, запивая шампанским, а 12-летняя Лиза (племянница Ирины Юсуповой, внучки Александра Второго), замирая от страха, пряталась за ширмой, которою была отделена столовая от кладовки и всё видела – видел и я, ее глазами. (Воспоминания ее вышли во Франции и гораздо позднее в России).

«В калейдоскопе дат и лиц, В круженьи лет, То ввысь – к небесному, то ниц – К земному. Счастья – нет! Да и не может быть, увы! Не жизнь – война! Пусть я не прав! – скажете вы, Чуть встав от сна, Не начинаем мы возню, Упреки, стон? Кого ни взять! Себя возьму – Какой тут сон?!

Но, может быть, блаженство в том, Чтоб жить в разрыв? И умереть – хоть под мостом – Не докурив, Не долобив в последний раз, Ударом в грудь? Я остановлен возле Вас. Меня ожгло сиянье глаз И – не вздохнуть! И пусть безумье лиц и дат Кружит как смерч! Я только раненый солдат, Страшна ль мне смерть? Нет, вру, конечно же, страшна. Но счастье в том, Чтобы не спать, пока война, Счастливым сном!»

Зинаида Лансере подарила мне альбом... Разве не ясно: что я знаю больше всех!

17-50. Я все еще болен, но надо пройти по вечеряющей улице...

18-50. Эмиграция начала возвращаться сразу после Войны, одних насильственно вывозили из Европы, как Шульгина (уже пожилого человека, не воевавшего в Белой армии, посадили на 10 лет, потом вдруг с его участием в 66-м году выпустили фильм «Перед судом истории», в конце его Василий Витальевич стукнул посохом, это было то же, что восклицание Галилея «А все таки она вертится!» Кто не читал его книг «Дни», «Двадцатый год», «Три столицы», «За что они нас не любят?» (об отношениях русских и евреев в России)? (Как и Родзянки «Крушение империи») Николай Николаевич Браун был секретарем у Шульгина в последние годы его жизни и мог бы нам много рассказать о Русской революции, но дождливая осень навевает уныние и мешает сосредоточиться.

«Павел Милуков, министр иностранных дел в первом Временном правительстве, в позднем раскаянии написал: «История проклянет вождей наших, так называемых пролетариев, но проклянет и нас, вызвавших бурю».

А Генеральный штаб во главе с Алексеевым? Они отрелись от царя до его отречения от престола. А русская православная церковь? Ее собственные историки пишут, что церковь с ликованием встретила падение монархии. А русская интеллигенция? Она не была единодушной, но никто не любил правительство и высшую власть. Или были единодушны евреи? "Русская" буржуазия, из кого бы она ни состояла, потеряла больше всех. (Не все евреи были революционерами, не все революционеры были евреями.)

А русофобы? Трудно провести компетентное исследование, из кого это общество состоит, во всяком случае среди русофобов, как мне представляется, русских не менее чем других, Прочитал на днях статью, в которой о России разговаривают Иосиф Бродский, Александр Кушнер, Дмитрий Быков, только один из них воистину презирает Россию, Бродский же о своей эмиграции сожалеет, а Кушнер без России не мыслит жизни.

Революция произошла в феврале 17 года, тогда в положении больного произошло резкое ухудшение, кровоизлияние в мозг. Большевикам Россию передало образованное сословие просто по неспособности к управлению. Но были ли способны к управлению большевики? Ленин и Троцкий Россию ненавидели и презирали, та часть полуобразованного еврейского мещанства, которая за ними пошла, стихией неуправляемой жизни организовалась в банду, их вина не является виною еврейского народа, как безответственность русского генералитета, правительства, аристократии, интеллигенции не является виною русской крестьянской нации. Идиоты и предатели и сегодня вздрагивают при слове **нация, народ, народник, националист** – или их инфицировали? Или христианская идеология выработала в них отвращение к народному и подмене народного православным? И они поплачут при окончательной гибели русской России, как поплачут татары, евреи, калмыки, украинцы, черкесы и башкиры, ибо **без русской России пропадет и нерусская**. Но кого я тогда буду уличать в глупости и невежестве? Затмевает многих плавильный котел США, а теперь и Европы – но поплачут и США и Европа, если не остановят свой плавильный котел.

21-00. Цельность – не самая необходимая черта личности, она характерна лишь для людей, приспособленных для узкой задачи, например, для военных, политиков, революционеров, предводителей разбойничьих шайк, руководителей разного ранга. Историк, писатель, поэт, даже простой обыватель может быть личностью вовсе не цельной, но это не непременно такую личность роняет. Целен ли Розанов? Нет, он, разумеется, даже идеал, образ раздвоенности и расстроенности – но и Мережковский, и Иванов-Разумник, и Тургенев, даже Достоевский и Герцен не цельны. Целен ли Иисус Христос? Сын человеческий, которому негде преклонить колени, и Сын божий, которому должен подчиниться весь мир? Если мы согласимся, что Спаситель не является цельной личностью (а художественный анализ Нового завета приводит именно к этому выводу), то это означает, что Иисус скорее всего человек, в котором преобладала идея божественного предназначения и усвоения Богу, так что он наконец решился сознать себя Богом (именно это и вменилось ему в вину Каиафой) – и при этом все противоречия и противопоставления Нового Завета художественно оправданы; если же он Бог, то эти противоречия становятся сущностными и кажутся отменяющими достоверность Священного Писания. Но по существу, при спокойном созерцании христианского романа становится очевидно, что его двусмысленность сознательна, как и двусмысленность всех искушений Бога Дьяволом (как будто Бога возможно искусить) и двусмысленность смерти на кресте и двусмысленность воскресения... Так качается и никогда не упадет Пизанская башня, в то время как рушатся монолитные скалы.

Не целен, двусмыслен и я, во-первых потому, что я человек разнообразный и ничто человеческое мне не чуждо, не зря я похож и на Гераклита и на Диогена, во-вторых, я пришел в этот мир не для того, чтобы его осудить, а чтобы его понять и стать в нем редактором. Не цельно во мне и отношение к Революции. У меня нет затруднений историка-христианина и я не пытаюсь любой ценой оправдать виноватых. В крушении империи виновата монархия (и «Зинаида Гиппиус так отреагировала на известие о расстреле царя: "Щупленького офицера не жаль, конечно...""); виновата власть в целом, выродившаяся в слишком худосочное единоначалие, лишенное и основы и поддержки в народе и воли и инициативы в обществе; виновато общество, оторванное от народа (великая поэзия Серебряного века была занята только собою. Интересы народа и крестьянства никак не отражались в культуре.) Виновата церковь. (О вине интеллигенции говорить трудно. Литература от народа оторвалась, но можно ли говорить о вине ученых, учителей, медиков, офицеров?)

Несомненна и вина народа – но разве народ сам по себе способен осознать стоящие перед ним исторические задачи, не идет ли он преимущественно за Разиным, Пугачевым, Лениным, Троцким?

И я, двойственный и раздвоенный внук казака и сын крестьянки (отец же мой солдат и офицер, голову сложивший на плахе Войны) делаю неожиданный вывод: Трагедия Революции была неизбежна! Все устали от триединства *православия, самодержавия, и народности*. Необходимы были новые формы жизни, которые мы ищем вот уже сто лет.

А. В. Осипов

Тетя Катя



Тетя Катя

Во всяком случае я убежден, что размышления, перенесенные в практическую жизнь, приобретают немало достоинства и новых сил и, получая обильный материал, пускают, может быть, более глубокие корни или по крайней мере дают более высокую и пышную крону.

Френсис Бэкон

Введение. Погашены ли огни в этой деревне?

Встречаются очень интересные социальные феномены, которые живут достаточно долгое время и затем уходят в прошлое, оставляя ностальгирующими одно, максимум два поколения. Историки вряд ли будут обращать на эти феномены внимание, но они-то как раз если и не могут передать очарование той эпохи, то, во всяком случае, придадут ей некоторое своеобразие.

Пришел в голову такой пример. Лет тридцать назад я был в Китае. Делал доклады в Пекине и Тяньцзине. Жил в квартирках, хорошо оборудованных для гостей университета. И имел собственный велосипед с ключиком, которым пользовался с удовольствием. Ощущения участника велосипедного дорожного движения в большом городе непередаваемы. Представьте себе широкий проспект, как, например, Кутузовский в Москве или Московский в Петербурге. И плотные потоки велосипедистов в обе стороны. При этом ни машинного шума, ни запаха бензина – чистый воздух. Интересно, как такие потоки пересекают перекрестки. Светофоров практически нет. Два встречных потока «просачиваются» друг через друга. Я сначала не поверил, что такое может быть. Встал на обочине, смотрю. Действительно просачиваются, совершая при этом действия, прямо как цирковые эквилибристы. Попробовал сам вписаться – оказалось, что ничего сложного, люди вежливые, уступают друг другу. Но вот пришли новые времена. Мчатся потоки машин по широким улицам, совершенно другая картина. А та уже не вернется.

Другой пример: фильм Михаила Ромма «9 дней одного года», вышедший на экраны в начале шестидесятых годов. Фильм знаковый и характерный для шестидесятых. Тогда мне не очень нравился, слишком пафосный и немного сладенький. Сейчас, когда та атмосфера заряженности и зараженности наукой улетучилась, нужно признать, что она действительно была. Да, наукой хотелось заниматься, была возможность заниматься. В университеты на научные семинары приходили без всяких пропусков и приглашений. Очень часто на научных конференциях и отдельных лекциях аудитории были переполнены. Не редкость, когда на лекциях даже в больших аудиториях не хватало мест, люди сидели на газетках в проходах, стояли у стен, внимательно слушая, как нужно к двум прибавлять два. Теперь совсем другая картина. А та уже не вернется.

Еще один пример: лето в деревне. В те годы отправляли детей к бабушкам и дедушкам в деревню. Сейчас тоже есть такая форма отдыха, деревенская, но уже не то. Тогда у бабушки-дедушки была своя корова, живность всякая была, огурец-помидор в огороде, подсолнухи. Да и свободы было побольше. Сейчас без родителей туда не ходи, сюда не ходи, на рыбалку нельзя, да и нет уже той рыбалки. Чтобы бабушки-дедушки или родители стесняли нашу свободу, трудно было себе и представить. Чтобы дети чинно ходили со взрослыми гулять – это было бы странно (разве что иногда, но редко). У взрослых дел хватало. Невозможно было себе вообразить картину, которая типична для нашего времени: две мамы с колясками прогуливаются, а в колясках сидят привязанные двухлетки. И по магазинам с ними, и по делам, и просто по парку. Это называется погулять с детьми. Дети должны бегать, прыгать. А где здесь побегать? По асфальту что ли? Во дворе стоянки машин, чуть дальше газон, но он уже собаками помечен. Короче говоря, в деревне летом было замечательно. Но мы с сестрой и братом ездили не к бабушкам и дедушкам, а к тете Кате. Она с нами за ручку не гуляла, но внимание на нас все-таки обращала. По-своему. И философия у нее была своя. Непохожая на нашу, умозрительную. Впрочем, она бы и не поняла, если бы я сказал о том, что у нее есть своя философия.

Есть ряд других философов, которые, усердно и тщательно потрудившись над немногими опытами, отважились вымышлять и выводить из них свою философию, удивительным образом извращая и толкуя все остальное применительно к ней.

Френсис Бэкон

Глава I. Причина или следствие?

В углу сада, рядом с сараем, росла вишня. Ее ягоды были крупнее и вкуснее обычного, в них не было характерной для вишни кислинки. По сладости с ней могли конкурировать только ягоды, которые наклевали птицы. Но те висели наверху, на кончиках ветвей, и их не так легко можно было достать. Говорили, что это вишня-черешня, полученная путем скрещивания, хотя тетя утверждала, что нет, это вишня, только сорт такой.

Однажды замечаю, что с одной стороны на листьях появилась какая-то гниль, две ветви покрылись болезненной паутиной. Странно, в середине лета ультрафиолета достаточно. Ну, думаю, надо отрезать ветви, чтобы не перекинулось дальше.

– Отрежь, конечно, – сказала тетя Катя. – Только вниз посмотри.

Смотрю на корни, а там, под вишней, дядя Леня разобрал мотор насоса, меняет какие-то прокладки. Свечи, карбюратор, динамо, шарики с подшипниками – всё в машинном масле, земля пропитана бензином и мазутом. Погоды стояли теплые, в сарай дяде Лене прятаться не хочется, вот он в саду на корнях вишни и основал свою выносную мастерскую.

Вроде бы важно на корни посмотреть. Иногда и разобраться сможем, в чем причина. Но вот только нужно ли это? Простудился ребенок и лежит с температурой. Конечно, хорошо бы найти причину, только разумная мать старательно лечит следствия. Пытается снизить температуру, смазывает покрасневшее горло.

Мы в этом году отмечаем столетие революции. Откуда у нее ноги выросли, мы не знаем. Можно, конечно, сказать, что «большевики» все устроили. И кто же они такие, эти «большевики»? Какое-то новое явление двадцатого века?

Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас. (Еккл. 1:10)

Вот мы и ищем причины, и ругаемся, и эти причины разделяют нас, а свалка-шоу на телевидении становится характерным развлечением.

*И встретившись лицом с прохожим, Ему бы в рожу наплевал,
Когда б желания того же В его глазах не прочитал... (А. Блок)*

Это следствие. Хорошо бы от этого вылечиться! А может быть, это не следствие, а причина? Непонятно. Не ищите причину. Все равно не найдете. Думаете, что она там, а она уже давно в другом месте.

Знание и могущество человека совпадают, ибо незнание причины затрудняет действие. Природа побеждается только подчинением ей, и то, что в созерцании представляется причиной, в действии представляется правилом.

Френсис Бэкон

Глава 2. Растрескалась почва

Лето было жаркое, река в августе обмелела, как обычно, тем не менее для полива огорода много не надо. Дядя Леня (который во время войны был механиком на аэродроме) каждый вечер после захода солнца включал свою тарихтелку – так тетя Катя называла насос, собранный из запчастей. Вода заполняла канавки между грядками, а тетя Катя работала цапкой, чтобы взрыхлить почву. Ростки оживали, чтобы на следующий день, когда солнце в зените, снова стать вялыми и дохлыми. Я недоумевал, почему бы не полить огород как раз в середине дня, – мы ведь пьем воду, когда жарко?

– Ну, попробуй, – сказала тетя и выделила мне в углу огорода пару грядок, не прикрытых тенью садовых деревьев. Я обрадовался, взял ведерко и наносил воды из колодца – там вода холоднее. Работать цапкой мне показалось излишним – или я забыл про это. Один или два раза я так делал – не помню, а когда спохватился, то обнаружилось, что земля на моих грядках как будто зацементировалась. Причем образовались трещины, да такие, что вода стала в них уходить, когда я снова попытался полить грядки.

Гораздо позже я стал замечать, что такие эффекты иногда происходят, когда делают плотины на небольших южных реках. Заполняют водоем

перед плотиной, а потом воду спускают. Глинистое дно затвердевает, и образуются трещины, которые уже не позволяют снова набрать прежний уровень.

Деньги – та же вода. Государство в конце восьмидесятых немало средств выделяло на науку. Но процесс уже пошел, деньги стали обесцениваться, и все средства уходили в какие-то бездонные трещины. Еще загадочнее ситуация с ваучерами. Как я, будучи еще дошкольником, дождался самого пекла, чтобы заняться поливкой своих грядок, так и организаторы этой процедуры раздачи ваучеров выждали нужное время, чтобы народ был «на минимуме». Мне не было и семи лет во время моего эксперимента. Но организаторы эксперимента с ваучерами были явно опытнее и умнее, точно вычислив время, когда их действия принесут наибольший эффект концентрации ваучеров в нескольких руках. Так, наверное, опытные игроки на бирже сторожат тот миг, когда пора скупать акции. Чем и как они это объясняли, откуда взяли всю эту философию ваучеризации, я понять так и не смог.

Содержание же философии вообще образуется путем выведения многого из немногого или немногого из многого, так что в обоих случаях философия утверждается на слишком узкой основе опыта и естественной истории и выносит решения из меньшего, чем следует. Так, философы рационалистического толка выхватывают из опыта разнообразные и тривиальные факты, не познав их точно, не изучив и не взвесив прилежно. Все остальное они возлагают на размышления и деятельность ума.

Френсис Бэкон

Глава 3. Естественный отбор

Осенью картошка собиралась и, естественно, сортировалась – что скотине, что на продажу, что нам самим на год, а что откладывалось для посадки. Я, конечно, мало что понимал в этом, но, как и всякому наивному человеку, мне казалось, что профессионал делает все неправильно. Нужно, конечно, отбирать для посадки крупные и ровные, красивые клубни, а не такие странные, которые отбирала тетушка. Да еще и разрежала надвое, когда клала в землю. Я выпросил у тети Кати разрешения и из той кучи, что предназначалась на продажу, стал выбирать на свои три грядки ровненькие, хорошенькие клубни. Покрупнее, естественно. Разрезать не стал. Далее решил поступать так: из урожая лучших картофелин выбирать на семена лучших. Из лучших снова лучших и так далее. Так все и делал, как настоящий юный мичуринец. Первый год был неудачным, эксперимент меня расстроил, но второй и третий урожай были не лучше. И по количеству, и по качеству. Да еще и гниль какая-то появилась.

Так я и не понял, что такое естественный (или искусственный? – не знаю) отбор. Да и до сих пор не понимаю эту генетику. Вот пример: послевоенный

кинематограф. Какие актеры! Фантастика! Папанов, Смоктуновский, Тихонов... Впрочем, можно назвать сотни первоклассных имен. Но вот прошло сколько-то лет. И новые актеры – уже гораздо более фактурные, более крупные и ровные, красивые. Только как-то не то. Результат странный.

Но больше впечатляют коммунисты и комсомольцы. Лучшим из лучших наших граждан предлагали вступить в партию. Хочу быть в первых рядах строителей коммунизма – писали они. Из этих самые-самые становились секретарями и членами всяческих парткомов. Из этих выбирали в ЦК, а затем и из этих еще и в Политбюро. Чтобы потом оказалось, что нет больших ненавистников коммунистической идеи, чем все эти люди, прошедшие через сито отбора.

Мы очень гордимся тем, что у нас развита система олимпиад, и каждый год на международных олимпиадах кто-нибудь что-нибудь выигрывает. Отбираем лучших из лучших, чтобы они что? А в Японии, например, не принято детям устраивать отборочные соревнования. Да и не только в Японии. Считается справедливым, чтобы лучшие из лучших учились в столичных городах. Мы и замечаем, что в ресторанах и кафешках в этих городах работает молодежь. Приятно, естественный отбор все-таки. Потом, лет через двадцать, они будут врачами, кораблестроителями, геологами...

И раньше, в древние времена, конечно, учились, но как-то нет свидетельств, что такой многоступенчатый отбор происходил. Теперь, чтобы стать философом, нужно хорошо закончить школу, набрать нужное количество баллов, чтобы поступить на философский факультет. Лучше других учиться, чтобы поступить в аспирантуру. Сдать аспирантские, а затем кандидатские экзамены. Защититься, наконец. И таким выдается жетончик, что они мудрые. Самые-самые, а таких единицы, защищают еще одну диссертацию, и тогда им выдается еще и колокольчик, который дает право участвовать в диспутах и токах-шоу. Философия цветет и пахнет. Похоже, что мы самая мудрая страна в мире.

Мы вовсе не пытаемся ниспровергнуть ту философию, которая ныне процветает, или какую-либо другую, которая была бы правильнее и совершеннее. И мы не препятствуем тому, чтобы эта общепринятая философия и другие философии этого рода питали диспуты, украшали речи и прилагались для надобностей преподавания в гражданской жизни. Более того, мы открыто объявляем, что та философия, которую мы вводим, будет не очень полезна для таких дел. Она не может быть схвачена мимходом, и не льстит разуму предвзятостями, и недоступна пониманию толпы, кроме как в своей полезности и действительности.

Френсис Бэкон

Глава 4. Сколько стоит труд?

Наша деревня располагалась в степном Крыму. Солнца достаточно, и если иногда поливать, то можно выращивать розы. Эта правильная мысль пришла в голову правильным людям, и в пятидесятых в Крыму появился завод эфирных масел для косметики и, конечно, плантации розы. Сбор лепестков розы был организован по аналогии со сбором хлопка. Работали в основном женщины и дети. Организация такая: сборный пункт открывался очень рано, с рассветом. Получаешь холщовый мешок, который надевается на шею. И идешь вдоль рядов, собирая лепестки. Только лепестки – бутоны брать было нельзя. Роза ароматная, не похожа на садовую, лепестков меньше, да и сами они мельче. По виду ближе к шиповнику. Куст более разреженный, но и колючий. За каждый собранный килограмм лепестков красной розы платили 4 копейки, а за килограмм белой – 6 копеек.

На сборном пункте при сдаче собранных лепестков давали квитанцию, обналечить которую полагалось в конторе. Работать можно было до десяти, максимум до одиннадцати – жарко! Я в день мог заработать максимум двадцать копеек, чаще десять, сестры – раза в два больше. Когда становилось жарко, заканчивали работу, сдавали собранное, получали квитанции и шли домой через лесополосы. Эти лесополосы искусственно создавали в пятидесятых годах для того, чтобы защищать поля от иссушающего почву ветра. Детям раздолье – шелковица, дикие абрикосы, кусты смородины, малина. Все растет вперемежку с лесными деревьями.

В воскресенье друзья позвали в город, в кино. Попросил у тети Кати денег – нужно было и на автобус, и на билет, и на мороженое хотелось бы. Она и выдала мне квитанции за неделю – копеек семьдесят накопилось. Хочешь – билет в кино покупай, а хочешь – мороженое с сиропом.

Завод розовых масел изготавливал замечательную продукцию, но через сколько-то лет его пришлось закрыть – завод стал нерентабельным. За такие деньги уже никто не хотел работать. Нужно было повышать закупочные цены, а это приводило к удорожанию продукции, но повышать цены на продукцию нельзя – это уже дело политическое.

Нечто похожее произошло с марочными винами. Сырье для качественного вина собирается не так, как для ординарного. Не бруг каждую гроздь подряд. Да и гроздья помельче, ягоды на них пореже. Больше работы при сборе – следовательно, и себестоимость побольше. В результате она становится выше продажной цены, а цену повышать нельзя.

Говорят, что Горбачев с Лигачевым виноваты в том, что виноградники начали вырубать. Не думаю так. Более того, доподлинно знаю, что главный инженер одного из винодельческих совхозов просил освободить совхоз от этой обузы. Зарплату-то нужно платить, а тут висит на шее нерентабельное производство.

Другой пример: картофель. Закупочная цена совпадала с продажной – 10 копеек. Когда-то это были хорошие деньги. Потом нужно было бы повысить цену раза в два, до двадцати копеек – это несколько смягчило бы ситуацию, и

у северных колхозов появилась бы надежда на хоть какой-то профит. Может быть, нашлись бы желающие убирать картофель и без студентов. Но дело политическое. Правительство Николая Ивановича Рыжкова, например, в последние годы советской власти предложило в общем-то разумные меры – увеличить закупочные цены на основные продукты: молоко, мясо, картофель. И мгновенно получило в ответ демонстрацию в Москве – «возьмемся за руки друзья». Прошло совсем немного времени, и цены завертелись как в калейдоскопе, но уже никаких демонстраций не было. Видимо, демонстрировали все-таки не те, кого реально волновало повышение цен.

Похожая ситуация была с ценами на такси: в 1977 году в ночь на 1 апреля стоимость одного километра поездки на такси выросла в два раза: с 10 до 20 копеек. Несколько дней действительно было непривычно легко поймать машину, но вскоре таксомоторный кошмар восстановился во всей своей красе. Может быть, нечто подобное произошло бы и в случае, если бы цену увеличили, но теперь этого никто не узнает.

Приведу другой пример. В семидесятых годах я любил с друзьями на майские праздники ездить на реку Оять под Питером на молевой сплав. И денег можно подзаработать, и окрепнуть, загореть. Потом природа все-таки. Обычно в апреле заранее ездил в Винницы договариваться, где жить, что делать и сколько собираемся заработать. Как закрывать наряды – это дело мастера участка, а мы лишь обозначали, на какую сумму ориентируемся. Но один год так получилось, что, когда я зашел в контору леспромхоза договариваться, мне главный инженер предложил другую работу. В Подпорожье привезли состав с кирпичом. Товарняк с вагонами-вертушками. Поскольку держать состав нельзя – дорого, то кирпич вывалили под откос и состав ушел. Нужно было собрать его весь, перенести на дорогу, где могут останавливаться грузовики, погрузить на эти грузовики, довести до стройки, там выгрузить и сложить. Договоренность такая: вся работа – по официальным расценкам, при этом расстояние, на которое переносится кирпич, округляется до ста метров. Вся оплата увеличивается в два раза, поскольку выходные. Еще в два раза, поскольку срочность. Еще в два раза, поскольку праздники. Плюс командировочные два рубля в день. Недолго думая, я согласился. И зря. Думать бесполезно, а расценки нетрудно было и посмотреть. Официальная таблица расценок оказалась удручающей. Как если бы я согласился собирать лепестки розы. Ну не 4 копейки, а 32. И что? Согласились бы вы собирать лепестки по 32 копейки за килограмм? Вряд ли. Короче. После возвращения оказалось, что переноска тонны кирпича на сто метров вручную стоит 13 копеек, на носилках 11 копеек, а на тачках – 9 копеек. Вместе со складированием. Сами понимаете, что много мы не получили. Мягко говоря.

Поэтому всякие разговоры о стоимости труда рабочего и о научно обоснованных ценах ничего, кроме раздражения, не вызывает. Тот факт, что доцент с сорокалетним стажем получает меньше, чем кондуктор в троллейбусе, уже никого не удивляет. Это свидетельство разврата, как и

дикое несоответствие между топ зарплатами и зарплатами обычных людей. Развратом погублен Древний Рим, что ж, такую судьбу наши экономисты предрекают и нам, с грустным лицом язвенника-трезвенника объясняя, какие трудности ожидают страну, если она не пойдет по пути реформ. Какие реформы? От вас, дураков, зависит убрать диспропорции.

Но не умеете вы. Или не желаете. Гонять доллары-евро по кругу интереснее. И выгоднее.

Логика, которой теперь пользуются, скорее служит укреплению и сохранению заблуждений, имеющих свое основание в общепринятых понятиях, чем отысканию истины. Поэтому она более вредна, чем полезна.

Френсис Бэкон

Глава 5. Поминки по корове

Огород вместе с садом и двором нам казался огромным. Сейчас я его оцениваю в тридцать пять – сорок соток. Но участок кормил и семью тети Кати, и нас, приезжающих на все лето. Еще и на рынок возили кое-что. Ну, конечно, живность была. Куры, разумеется, иногда утки, индюки. Боров был классный. Дядя Леня такую ветчину делал – испанский хамон отдыхает. Ну и, конечно, корова. В каждом доме в деревне была корова. Иногда не одна, но чаще все-таки одна – кормить семью. А если две, то с излишками молока проблемы.

Утром рано мимо ворот идет стадо, колокольчик звенит, тетя Катя открывает ворота и выгоняет корову. Вечером обратная процедура. Иногда, правда, по какой-то причине стадо не гоняли, мы сами ходили подальше в поле пасти корову. Я всегда с сестрой (одного не пускали, я боялся коровы, которая однажды пошла на меня рогами, да так сердито; стал я пятиться, да и слетел с обрыва в реку. Так и плавать научился).

Молока корова много давала. Молоко, сметана, масло – все свое. Иногда и в город возили парное молоко в бидоне. Прямо с доставкой на дом. В общем, корова держала всю экономику дома. Пока не пришли другие времена.

Конечно, люди умирали. Хоронили известно где, а поминки, если родной кто, проходили прямо во дворе. Если мороз только, то в доме, а так – во дворе. После кладбища соберутся, столы составят, борщ на столе, яйца, хлеб. Что-то еще – не помню. Поплачут, конечно, поговорят, по стаканчику вина самогонного выпьют – редко когда больше, да и разойдутся. Завтра на работу – новый день.

И вот какому-то умнику пришла в голову мысль, что это плохо, когда скот не в общественном, а в частном пользовании. И ввели налог в начале шестидесятых, который был эквивалентен запрету. Буквально за несколько месяцев в деревне не стало ни одной коровы. Так, как плакала тетя Катя в эти дни, она никогда не плакала до этого. Повели корову на мясокомбинат, а там

очередь, скотина на выгоне перед воротами, трава вся вытоптана, все в пыли, так еще и трешку дядя Ленья дал, чтобы ее убили без очереди.

Что это было, так я и не понял тогда. Зачем? Только потом, когда понеслись другие «реформы», стала проявляться «логика». Удар был нанесен сразу в нескольких направлениях. По деревне, по церкви, по армии...

Произошло сокращение армии на миллион двести тысяч, потом снова начали наращивать. Но кадры-то ушли, причем уволили далеко не самых возрастных. Оставшихся стали перемешивать.

Характерна биография одного из руководителей тех лет, Сергея Федоровича Антонова. Родился в 1911 году в деревне. Рабочий маслозавода, а затем курсы мастеров маслоделия. В 1937 закончил Ленинградский институт инженеров молочной промышленности. ВПШ, а затем заместитель министра и министр мясной и молочной промышленности. До 1957 года. А затем вдруг три года советник-посланник посольства СССР в Китае, а затем еще пять лет Чрезвычайный и полномочный посол в Афганистане. После чего с 1965 года и до 1984 года вновь министр мясной и молочной промышленности.

Нечто похожее происходило и в Китае приблизительно в это же время или чуть раньше и обернулось социальной катастрофой под названием «большой скачок».

Как в природе, так и в государстве, легче изменить сразу многое, чем что-то одно.

Френсис Бэкон

Глава 6. Дядя Паша с мотоциклом. Кооперация и конкуренция

Через два дома от нас жил дядя Паша. У него был сын Витя, мой ровесник, и дочка помоложе. Участок такой же, такой же вишневый сад, ореховые деревья, корова, все как у всех. Но он был порасторопнее, суетился, узнавал на каком рынке какие вчера были цены, туда и вез свои вишни. Телефона тогда ни у кого в деревне не было, но он ходил в совхозную контору, звонил оттуда своим друзьям. Поэтому с деньгами у него было получше, он и дом подремонтировал – по существу новый построил, и, наконец, купил себе мотоцикл с коляской. А это, конечно, другое дело. Тете Кате, чтобы добраться до базара, много нужно времени. На автобусе до города, да и там еще на трамвае. Тяжело. Я иногда помогал. Маленький мешок мне, большой тете Кате. Да еще и ведро с вишней.

Первое, что делала тетя Катя, придя на рынок, – обходила товарок, которые устроились раньше, узнавала цены. Ставить ниже, чем у других торговков, было нельзя – стыдно. Весы всегда проверялись. Торговля шла всегда с походом. Не помню, чтобы среди продавцов были бы посредники. Все продавали свое. Посредники появились позже. Продавала тетя Катя

свеклу – пять-шесть копеек за килограмм, картофель, что-то еще, но в основном – вишню. Вишневый сад у нее был замечательным – больше десятка деревьев. Вишня была хорошая, ее она дяде Паше не доверяла – видимо, о цене не сговорились. А о молоке договорились. Дядя Паша подъезжал к дому на мотоцикле, а в коляске стоял бидон.

– Хорошо бидон вымыл? – спрашивала тетя Катя, на что дядя Паша прижимал руку к груди: – Не доверяешь, что ли?

У тети Кати была сестра, тетя Шура, которая жила ближе к городу, в другом районе. Ее муж, дядя Митя, остался без ноги во время войны и работал дома, кустарем-сапожником. Делал красивые ботинки. Это я сейчас понимаю, что красивые, а тогда мода была другая. Мастерил прямо у себя в доме, низкой глиняной хатке, которая уже, конечно, не сохранилась. У них дома было прохладно и приятно: пахло кожей и клеем. Иногда и лаком. Конечно, ему нужно было кооперироваться. Кто-то привозил ему кожу, кто-то увозил готовые ботинки. Заходили к нему и его товарищи, сапожники, как и он. Но вот про конкуренцию не помню. Цены назначались «по совести», в чужие дела никто не влезал.

Так и в деревне было. Ходили друг к другу запросто. Рассадой делились, если новый сорт какой. Чтобы по секрету что-то выращивать – такого и быть не могло. Заборов не было никаких. Межа была, конечно, но незаметная, просто одна грядка наша, а рядом – дяди Миши. Для мальчишек же границ не было. По грядкам бегать – это, конечно, исключено. Да и неинтересно. Вот сорвать что-нибудь, – пожалуйста. Шведский стол. Но с собой не принято. Мы больше любили дичку. Дикие груши или абрикосы были повкуснее. Да и росли они ближе к лесу, там и шелковица, и искупаться можно.

Какое-то у нас болезненное представление о конкуренции появилось. Что сосед соседу гадость должен сделать. Не могу сказать, что в значительной степени, но появилось это вместе с заборами. А заборы появились, когда после коров стали отбирать излишки земли. Больше чем какое-то количество соток нельзя было иметь. У тети Кати отрезали кусок участка. И не только у нее. Это была еще одна трагедия. Появились новые соседи. Вокруг земли непаханой прорва – одни пустыри. Бери – не хоч. Но ведь то земля – глина, с ней еще возиться нужно. А тут ухоженная. Так европейцы, наверное, приходили на обработанную индейцами землю.

Это новое направление в понимании конкуренции: не сделать лучше, чем было раньше, чем сделали другие, а отнять, перекупить по дешевке, ухватить при приватизации.

Ум человека уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривленном и обезображенном виде.

Френсис Бэкон

Глава 7. Кораблик

До истории с коровой и заборами детей в деревне было много. Не только летом, но и зимой. Бегали, где хотели. Иногда взрослые на море брали, но это редко. Да и скучно на море. Что там делать? – На пляже лежать? На ставке или реке намного интереснее. Зимой дел не меньше. Стругать нужно было. Перочинного ножа, конечно, не было, перочинный нож – это редкость, богатство. Если бы он и появился, то долго бы не задержался, через пару дней куда-нибудь пропал бы. Хорошо, если кухонный, а то просто стальная полоска. С одной стороны обмотаешь изолентой или тряпкой, а с другой дядя Ленья наточит, если попросить понастойчивей. Ну, а острый ножик – это все. Если вы видели клип «Скрэтч – Корабли», то согласитесь со мной, что не дело, когда такой здоровый парень не сам кораблик выстругивает. Вот если бы он был девочкой, как в «Алых парусах», то тогда другое дело.

А если бы сам выстругивал, то знал бы, что основная проблема таких корабликов в том, что они неустойчивы, если мачта сколь-нибудь высокая. А если мачта низкая, а корпус широкий, то они на баржу похожи, а это для кораблика никак нельзя допустить. Поэтому обязательно нужно снизу на днище прикрепить тяжелый киль. Лучше всего тонкую металлическую полоску, но врезать в днище так, чтобы держалась. Или пустить гвоздик вдоль киля. Но это не просто. Вот тут-то дедушка и помог бы. А выстругать корпус – это сам парень должен был делать.

Делали, конечно, лук и стрелы. Рогатки, конечно. Но это опасное оружие, если хорошо сделать. За рогатку могло и попасть. Но чтобы покупные игрушки – такого я не помню. К детям хорошо относились, но не баловали.

Помню, как однажды пришли туристы. Тогда это было еще в диковинку. Остановились за рекой, поставили палатку. Мы, конечно, пошли смотреть. Они поздовали, попросили огурцов, помидоров купить. Пошли к тете Кате, она нарвала и огурцов, и перца, и лука. В общем всякой огородной всячины. Полный подол сестре наложила, но денег не велела брать. Примета такая – нельзя с путника брать. Потом, конечно, все изменилось. Но тогда, кажется, люди добрее были.

Под добротой я разумею заботу о благе людей, называемую у греков «филантропией»; слово «гуманность» (как оно употребляется ныне) для нее несколько легковесно. Добротой я называю деяние, добродушием же – природную склонность. Изю всех добродетелей и достоинств доброта есть величайшее, ибо природа ее божественна; без нее человек – лишь суетное, вредоносное и жалкое создание, не лучше пресмыкающегося. Доброта соответствует евангельскому милосердию; излишество в ней невозможно, возможны лишь заблуждения. Чрезмерное властолюбие привело к грехопадению ангелов, чрезмерная жажда знания – к грехопадению человека; милосердие же не бывает чрезмерным и не может ввести в грех ни человека, ни ангела.

Френсис Бэкон

Заключение. Заглохнет ли покинутый луг?

Болезненная страсть нести культуру в деревню владеет страной уже два века. Лучше бы везли деньги, а то везут всякую ерунду: старую мебель, стоптанные ботинки, ненужные потрепанные книжки. А оттуда везут старые иконы мешками, стволы деревьев вагонами. Гадят в деревне, мусорят, включают громкую музыку.

Чему я мог научить тетю Катю? Непонятно. Философии? Самому бы научиться. Но той философии невозможно научиться. Есть в России две России. Есть и две философии.

Итак, пусть будут – на счастье и благополучие обеих сторон – два истока учений и два их разделения и подобным же образом пусть будут два рода или как бы два сродства созерцающих или философствующих, никоим образом не враждебных и не чуждых друг другу, но связанных взаимной помощью и союзом. Одни из них пусть занимаются наукой, другие ее изобретают. Тем, для кого предпочтительнее первое по причине ли поспешания или по причине требований гражданской жизни, или потому, что они не могут охватить и воспринять это другое из-за недостаточной силы своего разума (а это неизбежно должно встречаться очень часто), – тем мы желаем достигнуть счастливой удачи в том, чем они занимаются, и продолжать придерживаться избранного направления. Но если кто из смертных желает не только оставаться при том, что уже открыто, и пользоваться этим, но проникнуть глубже и не спором побеждать противника, но работой – природу и, наконец, не предполагать красиво и правдоподобно, но знать твердо и очевидно; такие пусть, если пожелают, соединятся с нами как истинные сыны науки для того, чтобы, оставив атриумы природы, которые осаждали бесконечные толпы, проложить себе наконец доступ к ее недрам.

Френсис Бэкон

А. В. Осипов

ДИФФАМАЦИЯ



Рисунок заимствован из статьи в Википедии «Колесо Фортуны (карта Таро)»

Введение. Две подруги: Фортуна и Клио

По мнению большинства, она всевластна, Затем, что рано или поздно всяк поймет, насколько с ней шутить опасно. Достойных ущемляя так и сяк, Она ничтожных двигает в титаны. Не верь злодейке – попадешь впросак. Она переустраивает страны И, обирая праведных людей, дает бесчестным набивать карманы. Известная капризностью своей, она возводит всякий сброд на троны, и даже время подчинилось ей.

Макиавелли. Фортуна

У Макиавелли есть две пьесы. Более известна «Мандрагора» с разнообразными возможностями для игры в аллегории. После «Мандрагоры» можно потренировать свое воображение и на пьесе «Клиция». Там возможностей для этого не меньше. Во-первых, бросается в глаза, что Клиция – слегка измененный греческий вариант имени музы Клио, а Никомах – зашифрованное имя самого автора. Возможны две интерпретации. Одна из них – претензия главного героя: формально оставаясь на «вторых ролях», по существу руководить. Как, например, кардинал Ришелье при Людовике XIII. Вторая состоит в том, что пьеса – автопародия и Макиавелли пишет о своей неудаче в попытках найти собственное место в истории. Все это любопытно, но не слишком – любая пьеса с простым линейным (неразветвленным) сюжетом допускает иносказание, и чаще всего не одно. Сейчас нас интересует главная героиня вне зависимости от того, какие намерения относительно ее имел Никомах.

Конечно, быть наукой очень почетно. Приятно сделать вывод, отчетливо определить, дать доказательство. Но Клио не наука, а муза. Языческая богиня. Какие же здесь доказательства! Кто этой богине покажется симпатичнее, тот у нее и в любимчиках. Как и Фортуна, Клио поднимает исторического деятеля, а затем опускает его ниже некуда. Потом снова поднимает. И снова опускает.

А методы! То медные трубы, то обычная ложка в виде подтасовки фактов. То жесткое навязывание мнения, то псевдослучайный выбор тех или иных линий из большого причинно-следственного спектра. И очень распространенный метод – диффамация.

1. Склонность к диффамации как проявление свойств человеческой натуры

Я сознаю, что среди моих пороков исключительным и сильным является тот, который заставляет меня не говорить ни о чем с таким удовольствием, как о том, что, как я знаю, окажется неприятным моим слушателям.

Джироламо Кардано. О моей жизни

Смесь некоторого количества прямой клеветы и правдивой информации (немного клеветы и побольше правды, но, в общем-то, по вкусу), применяемая как бы невзначай, действует надежно и эффективно. Рассмотрим пример.

В научно-популярной книге уважаемого ученого Роджера Пенроуза «Тени разума. В поисках науки о сознании» описываются заслуги Джироламо Кардано, известного итальянского ученого, которому было двадцать шесть лет, когда умер Макиавелли. Но помимо описания математических результатов и чисто научных заслуг самого Кардано Пенроуз акцентирует внимание и на резкости взаимоотношений Тарталья и Кардано:

В тесном сотрудничестве с Инквизицией Тарталья собрал огромную коллекцию всевозможных улик против Кардано и лично организовал его арест и заключение под стражу. Освободили Кардано только в 1571 году, после того, как в Рим прибыл особый посланник от архиепископа Шотландского (которого, как мы помним, Кардано вылечил от астмы) с прошением об освобождении узника – «ученого, пекущегося лишь о сохранении и исцелении тел, дабы души Господни проживали в них весь отпущенный им срок».

Вышеупомянутые «скандальные обстоятельства» включают в себя, в частности, суд над старшим сыном Кардано, Джованни Баттистой, по обвинению в убийстве. На суде Джироламо, рискуя своей репутацией, выступил с поручительством за сына. Это не принесло им обоим ничего хорошего, поскольку Джованни был-таки виновен – он убил жену (женился он, впрочем, не по своей воле), пытаясь прикрыть еще одно совершенное им же убийство. По всей видимости, убийство жены Джованни совершил по наущению и при содействии своего младшего брата Альдо (еще больший, как выясняется, негодяй: тогда же он предал Джованни, а позднее выдал собственного отца Инквизиции; наградой Альдо стало назначение его палачом Инквизиции в Болонье). Не способствовала восстановлению репутации Кардано и его дочь, которая умерла от сифилиса, приобретенного благодаря ее профессиональной деятельности – проституции.

Откуда Роджер Пенроуз взял свои сведения о семье Кардано – не очень понятно. Во всяком случае, в книге самого Кардано «О моей жизни» ничего подобного не содержится. Совершенно загадочным является сочетание признания автора в глубочайшем уважении к фигуре Кардано с тщательным изложением весьма сомнительных фактов его биографии.

Перед нами классическая диффамация. Дело даже не в том, чтобы разобраться, что в сказанном просто наговор, а что – правда. А дело в том, что сам факт разбирательства уже оскорбителен. Если же это не оскорбление, а обвинение, то бремя доказательства ложится на обвинителя. Странными являются и следующие комментарии. Даже если и сделать усилие и представить себе, что сказанное выше является правдой, то неужели же «историческая психология» дает такие результаты?

Интересное упражнение в исторической психологии – попытаться понять, как же так вышло, что Джероламо Кардано, любящий, судя по всему, отец, преданный жене и детям, и вообще честный и чуткий человек, не лишенный высоких устремлений, воспитал столь недостойное потомство. Несомненно, от семейных забот его часто отвлекали другие интересы, многочисленные и требующие немало времени. Несомненно, его более чем годичное (когда ему пришлось ехать в Шотландию для лечения архиепископа, хотя в первоначальной договоренности речь шла лишь о встрече в Париже) отсутствие дома после смерти жены очень неблагоприятно сказалось на детях. Несомненно также, что в смерти жены непосредственно повинна убежденность Кардано в том, что ему самому звезды предсказали смерть в 1546 году, – чем ближе к этому сроку, тем больше погружался Кардано в лихорадочные исследования и запись еще не записанного, совершенно позабыв не только о детях, но и о жене, что и свело ее (а не его) в могилу к концу того самого года.

Впрочем, это типично для диффамации. Произносится очень часто без всякой на то причины, даже непонятно зачем, как бы просто из уважения к истине. Часто используется перед выборами. При этом «диффамационный источник» чаще всего остается незаметным. Никто не будет разбираться в доказательствах, но выигрывает тот, кто обладает более мощной системой защиты или нападения. Распространение диффамации происходит точно так же, как и распространение клеветы, с использованием обывательского правила «нет дыма без огня», но интенсивнее. Это распространение, как и в случае клеветы, подпитывается интересом к «диффамационному объекту», но при этом встречает меньше препятствий на уровне моральных запретов.

Очень часто люди это делают «из лучших побуждений», но, старательно избегая принципа «Не делай другому то, что не желаешь себе».

Сегодня Кардано известен гораздо меньше, чем он того заслуживает, и истоки этого забвения, как я подозреваю, кроются в его злосчастной судьбе и безнадежно запятнанной (совместными стараниями его детей, Инквизиции и – в особенности – Тартальи) репутации. В моей же личной «табели о рангах» он безоговорочно принадлежит к величайшим фигурам эпохи Возрождения. Несмотря на то, что Джероламо рос в бедности, на формирование его личности очень большое влияние оказала царившая в доме атмосфера стремления к знаниям. Его отец, Фацио Кардано, был увлечен геометрией; Джероламо вспоминал, как однажды, когда он был еще ребенком, отец взял его с собой в гости к Леонардо да Винчи и как взрослые засиделись за полночь, обсуждая какие-то геометрические задачи.

Смысл таков: «Ах, ты беспокоился об увековечивании своего имени? Так получай!»

2. Диффамация с оскорблением как разновидность пассивной клеветы

В этом случае клевета в рецепте заменяется обычным оскорблением. Основной игрой является пуганица – оскорбление или обвинение. И опять же суть в том, что сам факт разбирательства уже оскорбителен.

Характерный пример – распространение мнения о «голубой» интерпретации эпиграммы на графа Уварова. Как и в предыдущем случае, упрекающий делает вид, что сам-то он вроде бы и ни при чем, вроде бы даже и не упрек. Но сознает свойства «общественного мнения», которое сказанное им умножит и в нужном направлении распространит. Намеки на «голубой цвет» идеологии Уварова «работают» особенно хорошо, поскольку распространители прекрасно понимают, как в России к этому относятся.

Поэтам, чье ремесло – острое словцо, быть может, это и простительно – увлечься каламбуром.

– Кто ты такой? – Человек из плоти и крови, – отвечает Эзон. – Не о том говорю, а откуда ты родом? – Из утробы матери, – отвечает Эзон.

– Чтоб ему пусто было! – говорит Ксанф. – Не о том я тебя спрашиваю, а в каком месте ты родился? – Этого мне мать не говорила, – отвечает Эзон. – Может быть, в спальне, а может быть, и в столовой.

Гамлет: Каким образом он помещался?

Первый могильщик: Говорят, весьма странным.

Гамлет: Каким же именно?

Первый могильщик: А таким, что взял и потерял рассудок.

Гамлет: Да, но на какой почве?

Первый могильщик: Да все на той же, на нашей датской.

То ли Пушкин, то ли Соболевский соблазнились возможностью зарифмовать седой анекдот, который в современной версии выглядит так:

В переполненном автобусе: – Хана, у тебя есть на чем сидеть?

– Есть, конечно, есть. Но нет места.

Поэт (как и любой гражданин) может в своем дневнике писать все, что ему вздумается. Может быть, ему даже нужно писать сор, надеясь, что из него потом вырастут стихи. Очень даже вероятно, что ему для такой важной задачи необходимо использовать нецензурную лексику. Но подсмотреть или подслушать эту лексику и интерпретировать ее прямолинейно – это надо уже использовать «особо направленную» исследовательскую логику.

Неужели же нужно принимать во внимание замечание молодого (на десять лет младше Пушкина) Нестора Васильевича Кукольника, который как раз в это время приехал в Петербург и, не имея за плечами войны, на которой мог бы отличиться, стал отличаться в комментировании околотитературных сплетен?

Разве человек, сделавший для России не так уж и мало, не заслуживает, чтобы его жизнь не превращали в анекдот... Причем не лучшего качества. Я имею в виду не только Уварова.

Михаил Александрович Корсаков в восемнадцать лет ушел на войну 1812 года. Участвовал в походах Русской армии в 1813-14 годах. Имел ряд наград и ушел в отставку в чине полковника. Заслуг у него было достаточно и без того, чтобы ему протезировал Уваров. Кроме того, к тому времени и титул у него был повыше. Может быть, Корсаков как-то плохо проявил себя в должности попечителя Санкт-Петербургского учебного округа? Да нет. Гоголь, например, обращался к нему с просьбами и получал поддержку. Неужели же автору статьи в Википедии нечего было написать об этом человеке, кроме обмусоливания достаточно пошлой эпитафии? Симпатия Уварова к Михаилу Корсакову была естественной, например, еще и потому, что его любимый младший брат Федор Уваров прошел тот же военный путь, выйдя в отставку генерал-майором (он был на восемь лет старше Корсакова).

Когда-то давно в России было принято с уважением относиться к тем, кто отличился на государственной службе.

Государыня разговорила с нею. «Знаю, что вы не богаты, – сказала она, – но я в долгу перед дочерью капитана Миронова».

А.С. Пушкин. Капитанская дочка

Князь Александр Михайлович Дондуков-Корсаков – сын Михаила Корсакова – стал боевым генералом, получил несколько наград за храбрость, был дважды ранен. Страна в долгу перед ним и платит свой долг тем, что любая его биография начинается с упоминания эпитафии в адрес его отца. Как, впрочем, и биографии его многочисленных братьев и сестер.

Непонятна формула В. А. Жуковского, изложенная в письме к А.Х. Бенкендорфу:

Даже и для того, кто оскорблен такою эпитафиею, всего благоразумнее не узнавать себя в ней.

Для обывателей она, быть может, и верна – пройдет время и забудется. Но не так с известными людьми – время проходит, а сказанная пошлость приобретает патину времени и характер документа.

3. Испорченный телефон

Вам Муза поручила написать пейзаж или создать музыкальную зарисовку. Разумеется, этот пейзаж будет зависеть не только от вашего мастерства, но и от настроения. Если вы играете в «испорченный телефон», то общее настроение, конечно же, повлияет на результат. Классический пример «испорченного телефона» – разговор Александра I с Кутузовым в апреле 1813 года у постели умирающего фельдмаршала о том, кто кого простит. Стандартная цитата, кочующая по интернету и рефератам школьников такая:

По преданию, Александр I прибыл проститься с очень ослабевшим фельдмаршалом. За ширмами около постели, на которой лежал Михаил Илларионович, находился состоявший при нем чиновник Крупенников. Последний диалог Кутузова, якобы подслушанный Крупенниковым и

переданный гофмейстером Толстым: «Прости меня, Михаил Илларионович!» – «Я прощаю, государь, но Россия вам этого никогда не простит». На следующий день, 28 апреля 1813 года, князя Кутузова не стало.

Что этот разговор означает, на каком языке он велся, кто такой Крупенников, который якобы его слышал и передал гофмейстеру Толстому? Была ли вообще эта встреча – непонятно, но могла быть. Александр I много раз с небольшим количеством сопровождающих лиц совершал передвижения на значительные расстояния, не ставя в известность при этом историков. Такие расстояния, как от Дрездена до Берлина и от Берлина до Бунцлау, он мог преодолеть без особых проблем. Что касается дат, то и 14, и 15 апреля он мог быть у постели умирающего Кутузова, тем более что для него этот человек был самым важным в этот напряженнейший год войны. Но вот то, что два человека, которые были дальше от историков, чем летчик Севрюгов от обитателей Вороней слободки, могли перед лицом смерти друг с другом заниматься политической пикировкой – в это мало верится.

4. Нос

Достаточно распространенная форма пассивного оскорбления. Особенно в среде, имеющей мощный вектор общественного мнения. Если вы сомневаетесь в том, что это оскорбление, проведите эксперимент. Подойдя к метро к незнакомому мужчине и произнеся что-нибудь нейтральное, типа «мужик – у тебя нос», вы сильно рискуете. Даже если произнесете вместо «мужик» – «мужчина». Но если вы плюете по ветру, то опасности не предвидится – можно плевать.

Пример 1. Замечено было, что Кутузов возит с собой казачку. Сколько раз замечено было – непонятно. Что значит «возит с собой» – тоже непонятно. Воланд, например, «возил с собой» Геллу.

Воланд широко раскинулся на постели, был одет в одну ночную длинную рубашку, грязную и заплатанную на левом плече. Одну голую ногу он поджал под себя, другую вытянул на скамеечку. Колено этой темной ноги и натирала какою-то дымящеюся мазью Гелла.

Мало того. Еще и иногда и другая женщина помогала.

Горячая, как лава, жижа обжигала руки, но Маргарита, не морщась, стараясь не причинять боли, втирала ее в колено.

– Приближенные утверждают, что это ревматизм, – говорил Воланд, не спуская глаз с Маргариты, – но я сильно подозреваю, что эта боль в колене оставлена мне на память одной очаровательной ведьмой, с которой я близко познакомился в тысяча пятьсот семьдесят первом году в Брокенских горах, на чертовой кафедре.

Пример 2. Одна из загадочных проблем, не решенных человечеством до сих пор, – проблема заварки кофе. У нее есть несколько аспектов, сторон. Одна из них состоит в том, что практически во всех странах, курортах, городах чашка кофе стоит каких-то денег, но всегда меньше, чем в наших

столичных городах. При этом кофе у нас, даже на Невском, несравнимо хуже и жиже. Отчего это? Непонятно. Другая сторона «кофейного дела» состоит в том, что мы все любим друг другу демонстрировать свои способы заварки кофе. Я, например, считаю, что, кроме свежести зерен кофе, важна еще и вода. И использую при этом очищенную, слабо минеральную и слегка газированную. (Хотя специалисты считают, что не годится использовать для кофе газированную воду.) Кутузов побывал во многих странах, в том числе экзотических. (Если бы он попал в наши дни, то, наверное, мог бы вести телевизионную передачу «Клуб путешественников».) И уж, наверное, любил похвастаться умением заваривать кофе.

Впрочем, смысл диффамации в том и состоит, что мы втягиваемся в какое-то сутяжничество, выяснение обстоятельств и обсуждение возможных интерпретаций, которые, конечно, важны и интересны обитателям Вороньей слободки. Повезло Севрюгову. Но не с его всемирной славою, а с тем, что потеряла Клию к нему интерес. Иначе не смогла бы его слава противостоять новым открывшимся фактам, которые на основе неопровержимых свидетельств показывают, что наш герой дважды (а по некоторым данным и четырежды) забывал выключать электричество в туалете.

Какой-то «кофейник», какие-то «казенные дрова». Воронья слободка вступила в свои права. Наступило ее время.

5. Воспоминания как исторический документ. Интерпретация событий

*Дурными свидетелями бывают уши и глаза
неразумных людей, имеющих варварские души.
Гераклит (Стробей)*

Мы, обыватели, счастливые люди, поскольку никому не интересны подробности нашей жизни. И поэтому мы имеем право на ошибку, имеем неотъемлемое право забыть некоторые жизненные эпизоды, о которых ни нам, ни потомству напомнить будет некому. Другое дело – великий поэт. Тут каждая бумажка, которую он когда-то мял в руке, старательно разглаживается мемуаристами, а затем и историками. А когда и такой бумажки нет, то записывается то, что рассказала перед смертью бабушка, которая встречалась с людьми, «лично знавшими».

В книге-справочнике Л. А. Черейского «Пушкин и его окружение» сказано, что П. И. Баргнев указал, что «живы еще лица, помнящие, как С. С. Уваров явился бледный и сам не свой в Конюшенную церковь на отпевание Пушкина и как от него сторонились». Это замечание было опубликовано в 1888 году и до сих пор «склоняется» в бесконечных рефератах школьников гуманитарных классов.

Воспоминания многолетней давности редко бывают «свежими». Они долго формируются характером и стилем жизни человека и приобретают те или иные очертания и оттенки под влиянием и давлением общественного мнения, от которого не могут быть независимыми. В процессе они постепенно застывают, создавая у носителя ощущение полной уверенности в их правдивости.

Бывает при этом, что деформируются и факты. Но в данном случае сомнений в самом факте нет. Уваров был, и был *бледный*. А должен был быть *каким*? Кроме того, был *сам не свой*. А должен был быть ...? Сказано, что *от него все сторонились*. Но ведь это не светский раут...Что касается тех «лиц, которые еще помнят», то Бартеневу нужно было бы им указать, что на похоронах принято печалиться, а не высматривать, кто как себя ведет.

Другой пример. Легенда, созданная то ли А.Н. Голицыным, то ли Великим князем Николаем Михайловичем, утверждает, что император Александр I после разрыва со своим государственным секретарем Михаилом Михайловичем Сперанским пожаловался на то, что ему было больно, как если бы отняли правую руку.

Если бы у тебя отсекли руку, верно, кричал бы и жаловался, что тебе больно. У меня в прошлую ночь отняли Сперанского, а он был моей правой рукой.

Почему это рассматривается как свидетельство признания Александром I несправедливости, допущенной по отношению к Сперанскому? Чем вызвана такая интерпретация? Тарас Бульба, например, предпочел бы, чтобы у него отняли правую руку, чем видеть своего сына предателем.

6. Усилители вкуса

Людам ведь свойственно о дурных деяниях писать на мраморе, а о добрых на песке...

Томас Мор. История Ричарда III

Диффамационные войны являются неотъемлемой и характерной частью нашего демократического существования. Без них политическая жизнь представляется пресной и сонной. Ватой. Перед выборами, когда происходит обострение борьбы, обмен диффамационными вбросами напоминает артиллерийскую подготовку перед началом сражения. Разумеется, в этом случае применяются разного рода усилители: тиражирование, резонаторы, внешняя поддержка и так далее.

Но усилители могут быть применены и просто так, ради любви к искусству. Рассмотрим пример. В сложное «шекспировское» время в Англии жил еще один выдающийся человек – Френсис Бэкон. Когда-то его биографию написал другой замечательный англичанин, ровесник Пушкина и младший современник Томаса Карлейля – Томас Маколей. Маколеем восхищался Сергей Михайлович Соловьев, а Дмитрий Николаевич Блудов относился к нему более осторожно, о чем вскользь мы упомянули в четвертом выпуске альманаха «Консерватор». Так или иначе, но эта статья Маколея лежит в основе большинства «вторичных» биографий знаменитого философа, написанных в России. Рассмотрим статью с тем же названием «Бэкон», написанную неизвестным автором на основе статьи Маколея с тем же названием и опубликованную в 1837 году в «Библиотеке для чтения» (она есть в Интернете). Характерная цитата:

Разберем сперва историю жизни Бэкона – разбор этот необходим,

потому что человек и его идея неразлучны. Подробности мы почерпнем из превосходной статьи г-на MacCauley, помещенной в *Edinburgh Review* по случаю недавнего издания бэконовых творений. Сверх того, жизнь эта чрезвычайно поучительна. Кто бы подумал, что великий преобразователь наук, светило своего века, благодетель и руководитель грядущих поколений, отец нового счастья земного, человек, которого гений должен парить над его родом до скончания мира, – чтобы такой человек был рабом самого мелкого честолюбия житейского, и рабом до пошлости, до смешного, даже до низости? К сожалению, вовсе не редка подобная слабость у самых блестящих умов – кажется, как будто природа нарочно старается придавать ее людям необыкновенным в утешение глупцов. И кто бы поверил, что великий английский философ был самый отчаянный взяточник своего века? Если это и сделано мудрою природою в утешение тех же господ, то надобно признаться, что она чересчур к ним снисходительна и жертвует в пользу простых лихоимцев слишком многим. Между тем, нельзя не вывести этого заключения из её неразгадаемых действий: великий Бэкон и еще один чиновник провинциального штата, его современник, некто по имени Сервантес, сочинитель некоего романа, «Дон Кихотом» называемого, оба сидели в тюрьме за взятки!

Все, что здесь написано, это «химия», «усилители вкуса». Но с какой стати сочинитель приплел сюда еще и Сервантеса? Мы, читатели, и знать не знали о том, что Сервантес такой нехороший. Как же так? – подумал сочинитель. Нужно обязательно, чтобы читатель знал.

– Выдал, гадюка? – добродушно спросил Шура. И, отняв от губ окуроч большим и указательным пальцем, щелкнул языком. При этом из его рта вылетел плевок, быстрый и длинный, как торпеда.

Прыгая на одной ноге и нацеливаясь другой в штанину, Берлага туманно пояснил:

– Я сделал это не в интересах истины, а в интересах правды.

Эта информация, сообщенная в «интересах правды», теперь переключает внимание с ветряных мельниц на взяточничество. И будь у Сервантеса, как и у летчика Севрюгова, слава чуть меньше, чем мировая, то и вовлекла бы его волна сутяжничества в болото Вороньей слободки.

Хорошо, лягнули Сервантеса, а как можно пропустить случай и не плюнуть заодно и в Россию? С какой стати, подумаете вы, читая про времена Генриха VIII, Герцога Альбы и Варфоломеевской ночи, вспоминать еще и про Сибирь? Об этом знал, наверное, уважаемый популяризатор науки Александр Моисеевич Шкроб, который во введении к публикации 1995 года о Бэконе нам сообщает:

"Поднимая на смех все самое святое для человека, – писал Герцен, – Сенковский невольно разрушил в умах идею монархии. Проповедуя комфорт и чувственные удовольствия, он наводил людей на весьма простую мысль, что невозможно наслаждаться мыслью, непрестанно думая о жандармах, доносах и Сибири, что страх не комфортабелен и что нет человека, который мог бы с аппетитом пообедать, если он не знает, где будет спать".

Но Александр Моисеевич ничего нам уже не объяснит, поэтому вернемся в добрую старую Англию, где старой доброй традицией считалось, чтобы короли и их приближенные заканчивали свою жизнь на плахе, виселице, а иногда и более интересно – в бочке с вином или от ножа ночного прохожего.

Автор обсуждаемой статьи считает Френсиса Бэкона «отчаянным взяточником». Да еще и «самым» «своего века»! Да и как же не считать? Осужден, в Тауэре просидел. Целых два дня! Но дальше начинает работать «усилитель вкуса». И вот уже во введении к публикации 1995 года мы читаем, что герой маколеевского повествования «сочетает низость, предательство и взяточничество с глубиной мысли».

Далее, в «Русской исторической библиотеке», в статье, посвященной Бэкону, мы встречаем еще более жесткий текст:

Жизнь Фрэнсиса Бэкона даже по внешней связи фактов представляет любопытное явление: признаки полного отсутствия нравственных принципов и, несмотря на это, доходящую до самопожертвования преданность науке, знанию.

Но быть может, читатель засомневался? Или при чтении проскочил эту фразу? Нужно повторить!

Жизнь его не только не назидательна в нравственном смысле, но можно даже пожалеть, что история новой философии должна поставить в ряды первых по значению представителей своих такую сомнительную личность, как Фрэнсис Бэкон.

И так далее и тому подобное. Тема развивается по классической схеме, описанной великолепным Бомарше:

Б а з и л ь. Клевета, сударь! Вы сами не понимаете, чем собираетесь пренебречь. Я видел честнейших людей, которых клевета почти уничтожила.

Поверьте, что нет такой пошлой сплетни, нет такой пакости, нет такой нелепой выдумки, на которую в большом городе не набросились бы бездельники, если только приняться с умом, а ведь у нас здесь по этой части такие есть ловкачи!..

Сперва чуть слышный шум, едва касающийся земли, будто ласточка перед грозой, pianissimo, шелестящий, быстrolетный, сеющий ядовитые семена. Чей-нибудь рот подхватит семя и, piano, piano, ловким образом сунет вам в ухо. Зло сделано – оно прорастает, ползет вверх, движется – и, ginfogando, пошла гулять по свету чертовщина!

И вот уже неведомо отчего, клевета выпрямляется, свистит, раздувается, растет у вас на глазах. Она бросается вперед, ширит полет свой, клубится, окружает со всех сторон, срывает с места, увлекает за собой, сверкает, гремит и, наконец, хвала Небесам, превращается во всеобщий крик, в crescendo всего общества, в дружный хор ненависти и хулы.

Сам черт перед этим не устоит!

Правда, мы ведем речь не столько о клевете, сколько о диффамации, об «усилителе вкуса». Необходимость в нем возникает, если пицца пресная и

невкусная. Набокову, написавшему обстоятельную лекцию о Сервантесе, такие добавки не нужны. А вот если мы попробуем убрать из упомянутых выше текстов о Бэконе все усилители, то получится что-то скучное и неинтересное. Какая-то жевательная резинка из индукции и полезности науки.

Однако следует признать, что хоть и не в той тональности, но отрицательное настроение более обстоятельной статьи Маколея передано. Хотя Маколей начинает с похвалы. Да еще какой!

7. Гений и злодейство

Едут Билл и Джон по прерии. «Смотри, Джон, – говорит Билл, – вон лошадь летит». «Ну и что?» – отвечает Джон. «Смотри-ка, Джон, – говорит Билл, – вон еще лошадь летит». «Эээ, да у них здесь гнездо!»

Приведенный пример индукции должен показать мне, как скучно жило человечество до того, как Бэкон придумал слово «индукция», и что Джон был знаком с открытиями Бэкона и умел из частных дел делать обобщающие выводы. Другим достижением Бэкона считается уверенность в полезности науки. Я не могу не процитировать полностью одну из зарисовок Томаса Маколея.

Бэкон, с своей стороны, открыл, – и, странно сказать, это было настоящим открытием в его время, – что цель науки – быть полезною человечеству. Эта великая мысль смело может быть поставлена рядом с Ньютоновой и назваться открытием всеобщего тяготения ума человеческого. Она устремила нас к нынешней умственной деятельности, она породила все позднейшие опыты, изыскания и открытия по бесчисленным отраслям знания, она придала цель ученому усердию и трудолюбию; дух изобретений, предприимчивость, жадность к улучшениям по части физического быта, беспримерное развитие промышленности, торговли, богатств – все это плод вдохновенной мысли Бэкона. Сам Ньютон был ее следствием. Забавным покажется многим, что мы приписываем такую важность идее, которая всем известна и так проста, что нельзя её не догадаться, не будучи даже философом. Кто не знает, что наука должна быть полезна человеку, и что без этого она не наука?.. Да, теперь мы все это знаем, но что вы скажете, если до Бэкона люди этого не знали? Не будь его, мы, вероятно, и до сих пор не чувствовали бы столь простой и ясной истины. <...> Не любопытно ли теперь, среди роскоши нынешней образованности, среди познаний, богатств, удобств и наслаждений всякого рода, какие проистекли из объявления подобной истины, среди всех этих чудес изобретательной и просвещенной промышленности оглянуться назад и рассмотреть, каким образом высокий ум Бэкона достиг до такого открытия, как эта мысль в нем развилась, каково было направление умов и наук до его пришествия, чем занималось тогдашнее общество и к чему стремилось человечество? Нам кажется, что во всей истории ума невозможно найти для исследования в наше время ни более любопытного, ни более занимательного предмета.

Плывут пароходы – привет Бэкону! Летят самолеты – привет Бэкону! А пройдут строем философы – салют Бэкону! В какой грязи бы мы с вами жили без этого «открытия всеобщего тяготения ума человеческого»! Без божества, без наслаждений, без чувств, познаний и любви! Для чего это все делается? Чтобы поднять повыше, тогда и опускать будет интереснее.

Тем не менее, это шедевр! Вы можете так написать? Я – нет! Нужен специальный талант. Вы думаете, что он был только у Маколея? Ничуть не бывало!

Бертольд Брехт – один из кумиров двадцатого века. Он написал несколько песен, и в частности песню «Жизнь Галилея». Там старый ученый приобщает к пиршеству мысли мальчика, который, конечно, предан ученому и, видимо, будет также когда-нибудь предан науке. По похожей схеме развивается действие в рассказе Брехта «Опыт», где главным героем выступает наш подопечный, Френсис Бэкон. Но если в песне про Галилея сюжет вертится вокруг того, что Земля вертится, то здесь достижения ученого еще круче, еще более захватывают и увлекают молодой ум паренька:

Он понимал философа так: в мире наступило новое время. Человечество с каждым днем увеличивает свои познания. Эти познания необходимы для счастья и благополучия людей на земле. Во главе всего стоит наука. Наука исследует вселенную и все, что есть на земле: растения, животных, почву, воду, воздух, чтобы все это служило человеку. Важно не во что мы верим, а что мы знаем. Люди слишком многому верят и слишком мало знают. Поэтому должно все испробовать самому, оцунуть собственными руками и говорить только о том, что сам видел и что может принести какую-то пользу.

Это было новое учение. И все больше людей обращалось к нему и, воодушевленное им, готово было предпринять новые изыскания.

Какие чудные горизонты открыл нам брехтовский Бэкон! Как не порадоваться за мальчишку, которому повезло в жизни, и он узнал вовремя такие замечательные истины. Быть может, это и был молодой Исаак! Или его отец! Но апофеоз впереди. Впереди финальный опыт, который является венцом и концом жизни ученого. Собственно, в честь этого опыта и назван рассказ. Читатель легко найдет рассказ Брехта в интернете, а мы здесь приведем оригинальную версию самого Маколея:

Великому апостолу опытной философии суждено было сделаться её мучеником. Ему пришло в голову, что снег можно бы употребить с пользою для предохранения животных веществ от гниения. В весьма холодный день, в начале весны 1626 года, он вышел из своей кареты близ Хайгета, для того, чтоб сделать опыт. Он зашел на мызу, купил птицу и собственными руками набивал ее снегом. Во время этого занятия он вдруг почувствовал озноб и вскоре до того сделался нездоров, что не мог возвратиться в Gray's Inn. Граф Арондель, с которым он был хорошо знаком, имел дом у Хайгета. Бэкон был отправлен в этот дом. Граф был в отсутствии; но прислуга, которой поручен был дом, обнаружила большое уважение и внимание к знаменитому гостю. Здесь, после болезни, продолжавшейся около недели, он скончался рано утром в день Пасхи 1626 года. Его ум сохранил, по-видимому, до конца

свою силу и живость. Он не позабыл птицы, которая причинила его смерть. В последнем письме, писанном пальцами, не бывшими в состоянии, как он говорил, твердо держать пера, он не забыл упомянуть о том, что опыт со снегом «удался отлично хорошо».

Эта история с небольшими вариациями включена во все известные биографии философа, включая написанную профессором Субботиным и изданную в 2015 году. Обычно этот эпизод торжественно заканчивает описание его жизни, указывая на что?

На то, что даже великие люди могут в старости страдать деменцией? Или на то, что недостатком ума страдает автор, предполагая, что на острове, называемом Великобритания, люди до Бэкона не знали, что такое ледник? Почему бы автору этой сказки не рассказать нам, как после Бэкона поступали крестьяне с курами? Кто же из читателей слышал о том, что, имея ледник, англичане набивали курицу снегом?

Впрочем, не будем завязывать спор. Раз философы говорят, что эксперимент удался, значит удался. И мы вместе с ними радовались бы, что благодаря Бэкону появилась наука, если бы не нашла на безоблачное небо тучка и не разразился дождь. Да не просто дождь, а гроза с громом и молниями! Да и не гроза, а просто шекспировская буря! Вернемся к Брехту:

Конец официальной карьеры великого Фрэнсиса Бэкона напоминает назидательную иллюстрацию к лживому изречению: «Злом добра не наживешь».

Верховный судья государства, он был уличен во взяточничестве и заключен в тюрьму. Годы его лорд-канцлерства, ознаменованные казнями, раздачей пагубных монополий, противозаконными арестами, вынесением лицеприятных приговоров, относятся к самым темным и позорным страницам английской истории. Когда же он был изобличен в этих злодеяниях и во всем сознался, его всемирная известность гуманиста и философа способствовала тому, что молва об этом распространилась далеко за пределы государства.

Слава о том, что он плохой человек, распространилась по Англии мгновенно. И вот уже какая-то случайная старуха, которую, видимо, не знал философ, внушает мальчику:

– Он плохой человек, не верь ему. Хоть он и важный барин и денег у него куры не клюют, а все-таки он плохой человек. Он дает тебе работу и хлеб, делай свое дело добросовестно; но помни: человек он нехороший.

Чуть позже Бертольд Брехт вставляет пояснение, которое делает мальчику сам философ:

Философ разъяснял ему, как много есть всяких слов и сколько их нужно для описания свойств предмета, чтобы его можно было, хотя бы отчасти, узнать, а главное, понять, как с ним обращаться. Были и такие слова, к которым прибегать не стоило, потому что они по существу ничего не означали. Это слова вроде «хороший», «дурной», «красивый» и так далее.

Это что? «Новая европейская философия»? Где замечательный драматург нашел у Бэкона подобные высказывания? Впрочем, ...

7. Жизнь Френсиса Бэкона

*...Они решили маски надевать,
чтоб не разбить своё лицо о камни.
Владимир Высоцкий*

У статьи Маколея есть особенность – автор как бы моделирует диалог со своим старшим товарищем Базилем Монтегю, который ранее предложил свой вариант биографии философа. Это несколько меняет картину: у читателя есть возможность сравнить версии объяснений череды событий в жизни Бэкона. Поговорим об этих событиях, посвятив им отдельную главу. И, наверное, будет уместно начать с краткого напоминания о месте этих событий в истории.

Начнем с мелочей. Заметим, во-первых, что и в тексте Маколея встречаются детали, значение которых весьма загадочно. Например, уже после того, как были изданы бэконовские «Опыты», получившие признание и переведенные на французский и итальянский языки, произошло следующее.

Несмотря на то, что слава Бэкона росла, положение его было все-таки стеснительное. Его денежные обстоятельства были крайне затруднительны. Однажды его остановили на улице, по иску золотых дел мастера, за долг в триста фунтов стерлингов, и препроводили в долговое отделение в Кольман-Стрит.

Эпизод, достойный сериала «Дживс и Вустер». Что было делать человеку со стесненным финансовым положением у золотых дел мастера? И чем закончился этот эпизод? Судя по тому, что не осталось никаких следов (судебного заседания, заключения в тюрьму и т.п.), недоразумение удалось разрешить. Были еще «мелочи», но не станем тратить на них время.

Существенная же часть обвинительного заключения Маколея-прокурора состояла из двух пунктов. Разберем первый из них. Упрек состоит в «неблагородном» поведении философа по отношению к своему «благодетелю и другу» графу Эссексу.

Королева Елизавета I правила долго и прожила семьдесят лет. У нее не было мужа, но, естественно, были фавориты, и одним из них в конце ее жизни был молодой, на тридцать с лишним лет младше королевы, аристократ Роберт Деверё, граф Эссекс. Так считается, и существуют различные объяснения симпатии, которую королева питала к молодому человеку. Но это неважно. Считается также, что фаворит королевы покровительствовал Бэкону, хотя, по словам самого Маколея, за что ни брался граф, ничего у него не получалось. Ни должность своему протеже выправить, ни сосватать ему знатную даму у него не получилось. В чем состояло покровительство, непонятно из текста Маколея. Правда, Маколей указывает, что как бы в компенсацию неудачам покровительства граф подарил Бэкону поместье ценой в две тысячи фунтов. На что сам Бэкон со свойственной его стилю деликатной игрой слов отметил, что сама лобезность со стороны графа была ему дороже подарка. Это со слов Маколея! В чем заключалась дружба этих совершенно разных людей, остается для читателя загадкой.

Далее совсем странно. В феврале 1601 года граф Эссекс предает свою благодетельницу и, более того, организует выступление против королевской власти, которое сразу же было подавлено. Об этом пишет сам Маколей, и он же добавляет, что граф до этого ездил в Ирландию с миссией, которая не была санкционирована королевой и ей очень не понравилась. Детали Маколей не раскрывает, мы можем лишь принять во внимание сложность отношений Англии и Ирландии. Френсис Бэкон оказался примерно в том же положении, в какое был поставлен Михаил Сперанский в декабре 1825 года. С тем только отличием, что Бэкона никто не приглашал на какие-либо роли в этом заговоре, зная его преданность королеве. Бэкон был секретарем королевы и написал обвинительный акт. Такие документы составляет корона, а секретарь лишь выполняет ее волю. Правда, пишут, что Яков потом помиловал оставшихся в живых участников мятежа, но так бывает. Быть может, этот факт является основой той версии, что целью мятежа было лишение Елизаветы короны и приведение к власти Якова.

Граф был казнен. Поступила ли Елизавета слишком жестоко? В свое время были казнены ее мать, ее тетки, мать ее преемника Мария Стюарт... Достаточно казней было и во времена правления Елизаветы. Сама Елизавета, говорят, в последние годы панически боялась заговоров и убийств. Кроме того, существовал еще и Тайный совет. Вряд ли секретарь королевы мог бы или должен был смягчать ее нрав. Очень странные претензии у биографов к философу.

Второй упрек Маколея относится уже ко времени правления Якова. Бэкон на вершине своей карьеры. Он уже член Тайного совета, хранитель большой печати, верховный канцлер, генеральный прокурор, пэр. В 1621 году парламент судит его, обвиняет в финансовых грехах и приговаривает к определенному наказанию, степень которого предложено определить королю. Это-то обвинение и служит основой для вынесения приговора «судом истории», то есть тех оценок, с которыми мы познакомились в предыдущем разделе. Здесь мы и остановимся для некоторых пояснений.

Характерной чертой того времени является долгое противостояние короля и парламента. Через четверть века, при Карле I, это противостояние не выдержало напряжения и фурункул все-таки лопнул, но не в том смысле, что победил парламент. Да, король лишился головы. Но и от парламента мало что осталось. Если две силы кичатся друг перед другом, какая круче, то приходит третья, которая разгонит обе. Кромвель (а позже и другие революционеры) это прекрасно продемонстрировал.

*И я скорблю душою, ибо знаю,
Что стоит лишь возникнуть двум властям,
Как смута проберется в щель меж ними,
Одной другую подорвав.*

Шекспир. Кориолан

Это противостояние обычно описывается как противостояние нарождающейся демократии и абсолютистской монархии. Как бы противоборство двух взаимоисключающих начал: монархии как

олицетворения социального неравенства и парламента, который требует равенства всех перед законом. При этом следует отметить, что, хотя, конечно, все и равны, но пэры, конечно, равнее, поскольку их титул происходит от латинского *pares – равный*.

В этом противостоянии много незаметных игроков, и главный среди них – деньги. Король без королевской казны, король без денег – почти ноль. Вспомним Николая I и Николая II. Какая разница! В смысле влияния на положение дел в критических ситуациях! Первый платит долги Пушкина и устанавливает пенсии воинам. Второй сам в долгах.

Но вернемся в Англию. Король должен выглядеть убедительно на европейской политической арене. Для этого нужны деньги. Но прямые налоги принадлежат парламенту, поскольку пэры, как правило, хозяева земель.

Яков ведет войны, армия требует расходов. Эти проблемы очень хорошо описаны в шекспировских хрониках. Но есть и еще одна особенность. Перенесемся на пару веков вперед, во времена Маколея и приведем замечание другого англичанина, Алексиса Трубецкого, написавшего книгу «Крымская война» (русский перевод издан в 2010 году).

Система покупки офицерских званий была святой традицией военной элиты Британии и поддерживалась такими ее представителями, как Веллингтон и Пальмерстон...

Система покупки чинов постепенно настолько усложнилась, что военное министерство было вынуждено разработать официальный прейскурант, где указывались точные суммы, которые надлежало уплатить за определенное звание и должность. Цены были весьма высоки. В 1836 году старый граф Кардиган купил чин подполковника Одиннадцатого драгунского полка для сына, который впоследствии прославил свой род, возглавив знаменитую кавалерийскую атаку под Балаклавой. Заплатил граф 40 000 фунтов стерлингов, то есть сумму годового дохода от своих конюшен (600 000 фунтов в современных ценах), превысив прейскурантную цену на 5176 фунтов.

Так или иначе, но в случае, когда Бэкон предстал перед судом парламента, речь шла о финансовых нарушениях. О каких? Процитируем Маколея:

Комитет нижней палаты назначен был для ревизии судов. Пятнадцатого марта председатель этого комитета, сэр Роберт Филипс, доложил, что были открыты большие злоупотребления. «Лицо, сказал он, против которого эти вещи приводятся, есть не кто иной, как лорд-канцлер, человек до того наделенный всеми дарованиями, как природы, так и искусства, что я ничего больше о нем не скажу, не будучи в состоянии сказать достаточно». Сэр Роберт приступил тогда к изложению, самым умеренным образом, сущности обвинений. Некто, по имени Обри, имел дело, подлежащее суду государственной канцелярии. Он почти разорен был судебными издержками, и терпение его истощилось отсрочками суда. Он получил намек от кого-то из блюдолизов канцлера, что подарок сотни ф. ст. ускорил бы дело. У бедняги не было требуемой суммы. Пришлав, однако, ростовщика, снабдившего его этой суммой за высокий процент, он понес ее в Йорк-Хаус. Канцлер взял деньги, а подчиненные его заверили истца, что все пойдет на лад. Обри был, однако,

обманут в ожидании: ибо, после значительной проволочки, «убийственное решение» объявлено было против него. Другой истец, по имени Юджертон, жаловался, что двое из канцлерских шакалов склонили его при-вести канцлеру в подарок 400 ф. ст. и что, тем не менее, он не мог получить решения в свою пользу. Очевидность этих актов была поразительна. Друзья Бэкона могли только упросить палату приостановить свой приговор и отправить дело к лордам в форме менее оскорбительной, нежели обвинение.

Итак, сэръ Роберт Филипп произнес загадочную фразу, которую историки интерпретируют как «ужас, ужас!» И что? Другой интерпретации нет?

Взятка! Какая же здесь взятка? Бэкона обвиняют в том, что он неподкупен! Ему приносят деньги, подарки, а он никак не реагирует. Если парламентский комитет судит «по понятиям», то оно конечно! Очень плохо! Например, какое-то высшее учебное заведение предлагает родителям абитуриентов вкладывать деньги в спонсорскую кассу. Участвовать в спонсорской помощи. Означает ли это, что учебное заведение берет взятки? Нет, конечно. Или да? Примерно с той же аргументацией высказывается и Монтегю, доводы которого приводит Маколей, но приговор уже вынесен в уме прокурора-любителя с юридическим образованием: взяточник. Этот приговор наш прокурор обосновывает длинными рассуждениями с многочисленными примерами и добавлениями типа «но когда судья берет взятки, как, мы думаем, брал их Бэкон, в обширном размере...» Все это не нужно, было бы достаточно одного простого и убедительного доказательства вместо «как мы думаем».

И Александр Леонидович Субботин, написавший обстоятельную книгу о Бэконе, признает:

Он сознался в продажности и отказался от защиты.

Вообще-то ни одна из цитат самого философа, приводимых историками, не подтверждает этого. Тем не менее Маколей настойчиво намекает на присутствие королевы доказательств. И пытается убедить нас в ее наличии косвенным образом, описывая состояние «больного после операции».

Он страстно просил окружающих – оставить его, позабыть об нем, никогда более не произносить его имени, никогда не вспоминать, что был такой человек на свете.

В это можно поверить, но интерпретация этого эпизода представляется совсем иной.

*Кориолан: Мои заслуги?
К чертям! Пусть лучшие обо мне забудут,
Как и о добродетели, которой
Жрецы их тщетно учат.*

Что это у Кориолана? Выпад, эпатаж или презрение?

*Я в тайну масок все-таки проник, –
Уверен я, что мой анализ точен:
Что маски равнодушья у иных –
Защита от плевков и от пощечин.
Владимир Высоцкий*

Но Маколей настойчив! А вслед за ним и все его последователи. Из фантастического лицедейства елизаветинского времени, из богатейшего спектра масок шекспировского театра нашли историки одну пошлую маску для философа, которую старательно подновляют.

Много всего наговорено английским «правозащитником» и прокурором-любителем в длинной и обстоятельной статье. Но не убедительны доказательства вины. Зато есть интерпретация, которая не указывает ни на «продажность», ни на «отсутствие нравственных принципов». Однако дело в том, что нам нужны усилители вкуса.

Поистине, широко распространяет химия руки свои в дела человеческие.

8. Скрытые пружины

Ибо, хотя вещи этого рода глубоко погребены под массой лжи и сказок, все же нужно рассмотреть, не скрыто ли в глубине некоторых из них какое-либо естественное действие, как, например, в дурном глазе, в гипертрофии воображения, в управлении вещами на расстоянии, в передаче впечатлений как от духа к духу, так и от тела к телу и т. п.

Френсис Бэкон

Во многих случаях существует «скрытый интерес», своеобразный «подогрев», невидимые глазу пружины, подготавливающие диффамационные атаки. Наверное, проявившееся в последнее время увлечение негативными характеристиками деятельности Петра Великого подогревается теми же течениями, которые поддерживают перевод Орлика и Мазепы в положительные герои. Неприятие Уварова, быть может, подогревается неприятием его триады. Но иногда мы теряемся. С чем связана такая атака на Бэкона? Трудно сказать. Одна из гипотез состоит в том, что Бэкон был видным членом ордена «Роза и крест». Это может быть. Отношение к масонству играет зачастую роль волшебного ключика. Особенно в последнее время. Почему тот или иной исторический персонаж так поступил? – А, масон! И все тут. И это вроде бы все объясняет. Не нужно стесняться в выражениях, переживать о том, что обвинения не обоснованы – масон! Но тогда и вся история Англии будет мистифицирована (так оно, впрочем, в значительной мере и есть) – англичане любят закрытые клубы, светские закрытые вечера. И, наверное, среди закрытых обществ есть и тайные. Но и в России полно было таких, например, Арзамас. И не все они были зловредными.

С другой стороны, не похоже на то, что именно это зацепило Маколея. Во всяком случае он утверждает, что писал свою статью ради исторической правды и научной объективности. Поясняет он это в обширном введении, из которого мы выделим небольшой абзац:

Мы никак не лишены сочувствия к м-ру Монтаю, даже и в том, что считаем его слабостью. Едва ли какое-либо заблуждение имеет более права на снисходительность, как то, под влиянием которого человек приписывает

всякое нравственное превосходство лицам, оставившим по себе не-сокрушимые памятники своей гениальности. Причины такого заблуждения лежат в сокровеннейших тайниках человеческой природы. Все мы склонны судить о других сообразно производимому ими на нас впечатлению. Наша оценка какого-нибудь характера всегда много зависит от того, каким образом характер этот действует на собственные наши интересы и страсти. Мы находим трудным быть хорошего мнения о том, кто противоречил или досаждал нам, и готовы допустить всякое извинение порокам того, кто нам полезен или приятен. Это, кажется, одно из тех заблуждений, которым подвержен весь род человеческий и которые могут быть лишь отчасти устранены опытностью и размышлением. На языке Бэкона, это одно из *idola tribus*. Отсюда происходит, что о нравственной стороне человека, знаменитого в литературе или изящных искусствах, современники часто, а потомство почти всегда, относятся с необыкновенною благосклонностью.

И далее Маколей показывает, что его заинтересовал вопрос, действительно ли гений и злодейство – две вещи несовместные. Но если у Пушкина его вариант – талантливая мистификация и нет нужды оправдывать реального Сальери, никому из историков-музыковедов и в голову не придет приписывать этой мистификации статус реального события, то Маколей пошел дальше. Похоже, что у него был незаметный читателю интерес к тому, чтобы поупражняться в юриспруденции и поиграть в суд. Но тем, кто считает себя любителем мудрости, это зачем?

*Кориолан: Если мудры вы,
То не уподобляйтесь недоумкам;
А если глупы, то сажайте их
С собою рядом на подушки ваши.*

Заключение. Две сестры: Клио и Фортуна

*Когда-нибудь ты провожал ли взглядом Орла, что мчится в
вышине стремглав, Подхлестываемый жестоким гладом? Ты видел,
как он, высоту набрав, О камни разбивает черепаху, В полете когти
острые разжав? Так и Фортуна, вознеся, с размаху Швыряет злобно
оземь свой улов, Безумно радуясь чуждому краху.*

Макиавелли. Фортуна

Чтобы та или иная фраза, речевой оборот вошли в обиход, стали поговоркой, пословицей, нужен не столько удачный набор слов, сколько хороший образ, способный вызвать резонанс, отклик. В этом смысле поговорка «попал как кур во щи» представляется странной. Какой отклик она должна во мне вызвать? Второй вариант – «Как кур в ошип»? Но я же не бизнесмен, зачем меня щипать? Зарплата маленькая – это верно. Но при такой зарплате какой смысл меня ощипывать?

Другое дело, если речь идет о щипе – ловушке на куропатку или тетерева. Этот простой капкан представляет из себя разрезанную вдоль на две части толстую упругую ветку, которую разжимают и вставляют простую распорку вроде спички. Если куропатка наступает на распорку, то две части ветки схлопываются и сжимают лапку кура. Жил, жил человек и вдруг, неожиданно-негаданно попал как кур во щип. И образ этот понятен и многим знаком.

Аналогичный образ связан с Фортуной, вращающей свои колеса:

*В ее дворце вращаются колеса –
Их ровно столько, сколько и путей
К тому, на что у смертных столько спроса.
...
Все хорошо, куда ты несешься,
Держась на тыльной части колеса,
Но миг – и ты на полпути сорвешься.
Макиавелли. Фортуна*

Человечество, конечно, очень сильно изменилось со времен Шекспира. Прогресс! Появились эти... как их... трамваи, автомобили... Но за все нужно платить. Мы незаметно многое теряем на этом пути технического и нравственного процветания. Теряем Землю, обедняем ее фауну и флору, обедняем свой язык, теряем умение образно мыслить, не чувствуем символику и вместе с этим лишаемся возможности понять код предыдущих поколений.

Наверное, и в творчестве Шекспира многие образы и символы еще не расшифрованы. Но ведь есть и простые вещи, вполне доступные нам. В частности, создание соответствующего настроения с помощью погодных ассоциаций – это почти универсальная техника. Так, неистовствует буря в «Короле Лире», подчеркивая трагичность ситуации, так сетует Есенин, что у него «метель на сердце», так печалится Ева Польна, что у нее «Зима в сердце, на душе вьюга». Так у человека, сорвавшегося с колеса Фортуны, внутри уже ничего не осталось, кроме набившегося снега. Организм задубел от холода и, быть может, еще и жив-то оттого, что задубел. Но, кажется, эксперимент закончен. Опыт удался! Обо всем этом он и успел написать в своем прощальном письме.

*Приложение***Френсис Бэкон и его время**

1533. Родилась Елизавета, дочь Генриха VIII и Анны Болейн, которую Генрих казнил через два с лишним года. После этого Елизавета признана незаконнорожденной.

1535. Казнь Томаса Мора, впоследствии причисленного к лику святых Римско-католической церковью.

1558. Скончалась «Кровавая Мэри», ревностная католичка Мария Тюдор. Начало правления ее сестры, протестантки Елизаветы, дочери Генриха VIII и Анны Болейн.

1566. Родился Яков, сын Марии Стюарт (1542-1587), королевы Шотландии (1542-1567) и полтора года королевы Франции (1559-1560), католички, казненной в 1587 году.

1561. Родился Френсис Бэкон.

1564. Родились Шекспир и Галилей.

1564. Питер Брейгель Старший пишет «Путь на Голгофу».

1565. Родился Роберт Деверё, 2-й граф Эссекс.

1572. Варфоломеевская ночь.

1581. Ф. Бэкон – член палаты общин.

1587. Казнь Марии Шотландской в замке Фотерингей, который позже ее внук сравнял с землей.

1588. Разгром Непобедимой армады.

1593. В английской таверне в возрасте 29 лет зарезан Кристофер Марло, драматург и поэт.

1597. **«Опыты, или наставления нравственные и политические» (1-е издание)**

1600. Родился Карл I. Родители: Яков и Анна Датская.

1600. 31 декабря пописан указ о создании Ост-Индской компании.

1601. В Тауэре обезглавлен граф Эссекс.

1601. В «Глобусе» поставлен «Гамлет».

1603. Умирает Елизавета I.

1604. Напечатан роман «Хитроумный идалго Дон Кихот Ламанчский» (1 часть).

1605. **Написан трактат «Две книги о восстановлении наук».**

1605. Первый конфликт Якова с парламентом из-за пошлин.

1613. **Избрание Френсиса Бэкона генеральным прокурором.**

1611. Второй конфликт с парламентом из-за взимания сборов.

1614. Парламент отказывается утвердить субсидии королю. Роспуск парламента.

1616. Умерли Шекспир и Сервантес.

1618. Началась Тридцатилетняя война в Европе.

1620. **Опубликован «Новый Органон наук».**

1621. **Новый конфликт с парламентом, обвинение и заключение в Тауэр на срок, определяемый королем. Бэкон просидел два дня.**

1623. Первая публикация трагедии «Кориолан».

1624. Английский корпус высаживается в Нидерландах. Парламент утверждает субсидии на войну с Испанией и содержание двора, но при парламентском контроле за состоянием казны.

1625. Смерть Якова и вступление на престол Карла I, которому было 24 года.

1626. **Смерть Френсиса Бэкона.**

1628. Убийство Джорджа Вильерса, герцога Бекингема.

1648. Революция в Англии, Фронда во Франции. Вестфальский мир. Восстание Богдана Хмельницкого.

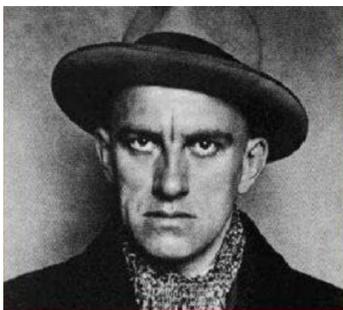
1649. Казнь Карла I.

ИВАНОВ-РАЗУМНИК



"Мистерия" или "Буфф"?

(О ФУТУРИЗМЕ)



I. "Слово-звук и слово-смысл". "Футуризм"...

Одно из двух: или за ним стоит некая внутренняя правда – и тогда о нем можно говорить и должно говорить; или за ним – пустое место, и тогда надо, обнаружив его, пройти мимо. Многообразные культурные "дыромоляи" не согласятся с этим, – на то их добрая воля.

За футуризмом есть правда внешняя и внутренняя, осознанная им и не осознанная. О последней – потом; сперва лишь несколько слов о первой. А когда мы пройдем и через ту, и через другую – сам собою разрешится вопрос о том, в чем внутренняя сущность футуризма.

Почему слово всегда должно иметь смысл?

Вот первый вопрос, сознательно поставленный футуризмом при своем истоке, так рассердивший одних, так рассмешивший других. Действительно, какая бессмыслица! Уж не превратиться ли нам в наших праотцев каменного века или в грудных младенцев ("онтогенезис есть филогенезис"), которым такое физиологическое наслаждение доставляло и доставляет повторение отдельных слогов, отдельных звуков. "Дыр, бул, шур" – благодарю покорно!

Негодование справедливое – и вполне невежественное. Ибо если с этими серьезными лодьми говорить по серьезному, то неужели же они, ссылающиеся на Геккеля, забудут не менее обобщающую триаду Гегеля? *От первоначальной упрощенности через усложненность к новой сложнейшей простоте* – разве никогда не слыхали они об этом пути развития и мира, и человека, и языка? Какие сложнейшие приставки, суффиксы, определяющие члены, падежные окончания, глагольные формы получают мировые языки после первоначальной элементарности, и как снова отбрасываются все эти богатые и нужные ненужности хотя бы в английском языке, простейшем в своей сложности.

Но оставим в покое и дикарей, и англичан, возьмем просто язык и спросим: как же не видеть неизбежного пути развития слова от простого звука через сложнейший смысл к усложненнейшему в своей простоте звуко-смыслу? Слово было "физиологией", слово стало "логикой", слово становится "эстетикой" – и футуризм заговорил "о новой грядущей красоте самоценного, самовитого Слова": в этом была и остается его внешняя, так осмеивавшаяся правда.

Красота слова, как красота звука – такое-ли однако новое ощущение? Кто-же не испытывал этого чувства, слушая стихи на незнакомом языке? Но разве поэзия – тот играющий на курантах Усмиритель (из "Кота в сапогах" Тика), который возбуждает восторг всякой пошлостью, лишь бы слушающие отбивали такт?... Дело не в ритме, дело не в рифме, но в самом слове, в самом звуке. Красота или безобразие самого звука пленяют – и оттого иногда живут века и тысячелетия. Недаром Гауптман в "Потонувшем Колоколе" вспомнил о колючем крике аристофановских "Лягушек": "брекекекс коакс-коакс"... И если припомнился Аристофан, то уж не футуризм ли и его знаменитый птичий язык:

????????????
 ?? ?? ??? ??? ??? ???
 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
 ??????????????????????
 ????????? ??????????
 ?????????????????????... ("???????", 227)

Чем же этот птичий язык хуже "заумного языка" футуристов?

Не стоит слишком долго останавливаться на этом – на внешней правде футуризма, на признании художественной самоценности слова-звука. Прежде смеялись и негодовали, теперь недоумевают, потом поймут. Поймут, что можно говорить о красоте самого звука слова, что голос человеческий по меньшей мере равноправен и с флейтой, и со скрипкой... и с турецким барабаном, только безмерно богаче всех их вместе взятых. И если мужику Никите (из "Печали полей" Сергеева-Ценского), который "не знал никаких подходящих и легких слов", читающая публика милостиво разрешает петь:

Э-э-э-эх да эх ты-ы-ы!
 И-и-и-эх да дда-а... –

то отчего бы ей не позволить и футуристу Хлебникову, тоже не знающему подходящих и легких слов, пропеть свое пресловутое:

Бобэоби – пелись губы.
 Вээоми – пелись взоры,
 Пиээо – пелись брови,
 Лизээй – пелся облик,
 Гзи-гзи-гзээ – пелась цепь.
 Так на холсте каких-то соответствий
 Вне протяжения жило Лицо.

Так усложненнейшим и истонченнейшим путем приходит язык к кажущейся простоте звука, приходит от физиологии к эстетике, от слова-разума к звуку-чувству, от слово-логики к слово-эстетике, от слово-смысла к слово-звуку. И в утверждении этого права – внешняя правда футуризма.

Но еще раз: никакого переворота, никакого открытия Америки в этом нет; скорее здесь лишь "колумбово яйцо", основательно забытое и вновь крепко поставленное на очередь футуризмом. Ибо никогда подлинная поэзия, построенная на слово-смысле, не обходила мимо прав связанного с ней слово-звука. Но говорю уже о новейшей русской поэзии, которая и в стихах и в прозе дала – и до сих пор дает – высочайшие достижения мастерского сочетания звука и смысла: романы Андрея Белого "Петербург" и все последующие когда-нибудь еще будут изучаться со стороны звуковой, слоговой, буквенной техники; стихи А. Блока. В. Брюсова, Ф. Сологуба и других будут подлежать такому же изучению. Но разве еще у Пушкина не было сознательных поисков и непревзойденных достижений; – у того самого Пушкина, которого Футуристы приказывали нам "сбросить с парохода современности"?..

Напомню, как двадцатидвухлетний Пушкин морщится от какофонии нескладно сталкивающихся согласных в строке кн. Вяземского:

К кому был Феб из русских ласков...

"Что за звуки!" – восклицает Пушкин. Через год он иронизирует и над цензурой, и над одним собственным "киргизц-кайсацким стишком" из "Кавказского Пленника"; еще через год он кричит караул: "зарезала меня цензура! Я не властен сказать, я не должен сказать, я не смею сказать ей дней в конце стиха. Ночей, ночей, ради Христа, ночей Судьба на долю ей послала"... И тогда же он пишет про одну из строк "Бахчисарайского Фонтана": "Нет ничего легче поставить Равна грузинка красотою, но инкакр... а слово грузинка тут необходимо"... Стоит ли удесятерять число таких примеров?

Поэзия всегда была синтезом слово-смысла со слово-звучком (отметая пока другие слагаемые). Футуризм выставил вперед право на существование одного лишь слово-звучка, и, как всегда, впал из крайности в крайность, пошел войною, во имя слово-звучка, на слово-смысл. Чем это кончилось – мы увидим, а теперь кончим на этом разговор о внешней, "звуковой" правде футуризма и перейдем к определению его правды внутренней. Но для этого нам придется совершить длинный путь через футуризм в его разных проявлениях.

?? "Дейма"

Это было за несколько лет до войны: в муках скандала рождался "футуризм". А повивальная бабка, Публика, издевалась и потешалась. Она – подслеповата и забывчива: в шуме скандала не может отличить новорожденного таланта от застарелой бездарности, не может вспомнить, что уже не раз бывали с ней, старухой, такие же прорухи.

Ровно за двадцать лет до футуризма рождалось русское "декадентство", тотчас же собравшее в свои ряды десятки бездарностей, рекламистов и скандалистов; они были теченьем времени смыты, забыты, но "подлинные" – остались, и та же почтенная Публика с уважением покупала десяти и двадцати-томные собрания сочинений Бальмонта и Брюсова, а самые публичные журналы радостно были готовы дать их, говоря стихом В. Маяковского, "бесплатным приложением к своей двухспальной кровати"... И – так бывало всегда, со всеми новыми художественными и идейными течениями.

Вот разве только муки скандала – это "новое слово" XX-го века (да и то: новое ли?), но и объясняется оно самой жизнью. Была она прежде тихая, безбурная, неторопливая, без железных дорог, без телефонных звонков, без гудящих трамваев, без оглушающих автомобилей: тихая извне, сонная внутри, "интеллигентски обывательская", обломовская и в городе, и в душе горожанина. Теперь – трамваи, автомобили, гудки, звонки, телефоны, кричащие газеты; теперь месяц идет за год, жизнь каждого из нас удесятерилась. Обратит теперь на себя внимание Улицы может лишь звучная мысль, лишь громкое слово: а так как второе легче первой, то "муки скандала" особенно радуют духовно-старых бездарностей, примыкающих к рождающемуся течению.

Прошли века войны, тысячелетия революции – футуризм выжил и победил, *sed quantum mutatus ab illo* Несторе! Вся "обнаглевшая бездарь" отпала и увяла; немногие оставшиеся Гекторы футуризма – безмерно "поправили" литературно и скоро дождутся, пожалуй, своего "бесплатного приложения" к новым "двухспальным кроватям", дождутся всеобщего "признания к уважения"! Правда, Гекторов этих немного.. Оставляю в стороне "отдел изобразительных искусств", но в области слова – одному только В. Маяковскому грозит эта участь.

А раньше! Перелистываю груды сборников, книг и листовок футуристов, вспоминаю – какие "пьесы" писались ими прежде, сравниваю – какие пишутся и ставятся на сцену теперь. Вот одна из первых пьес – "Первовеликодрама". В ней – "Действ0ильоо" (вы без труда разгадываете: "действий ноль или бесконечность"), "лиц0ильоо", "времядлень0ильоо", и вся эта "иервовеликодрама" состоит ровно из десяти следующих строк:

белягавилочньюмохаиодроби
сычякаьяпульемилетьгадай

и так далее до конца. А в конце подписано: "38687 г. по Р. Х." (вот до чего дойдет человечество!) и еще, совсем уже членораздельно: "происходит без помощи бездарей Станиславских прочи". И – конец.

Другой "футурист" дал тогда же пьесу, уже более разработанную и обширную. Она занимала собою две страницы, начиналась заявлением, что "новый театр бьет по нервам привычки и дает наши новые откровения во всех искусствах". Откровения этого "Дейма" (заглавие пьесы) были таковы: кака-то Женщина говорила несколько бессмысленных фраз, а тем временем – о, ужас! – "кровать, стоявшая доселе незаметно у стены", приподнималась. Чтец, стоявший у стола, начинал "быстро и высоко читать":

зю цю э спрум
реда м
уги таж зе бин
цы шу
берегам америк не увидеть шигунов
це шу бегу.

Но Женщина, так некстати прерванная, продолжала и заканчивала свой монолог: "все сказа, все сказала, – (тут по сцене "пролетали вещи"), – вижу перед, себя собою с ну скажи, виноград карандав в ти ры превращает, ры бы все как полюбит за все, ничего где-то 13 78 скажите, съеденные сырые бумаги идл"... Но тут, наконец, быстро входил "Некто непринужденный" и сопровождал уход актеров монологом из "слов с чужими брюхами": "Сарча кроча буча на вихроль опохромел пяти копыт проездеал вза"... И "дейму" – конец.

Ах, все это было так давно, так давно! Большой собачьей старостью, коллективный "Некто непринужденный" футуризма всеми этими невинными благоглупостями и бездарностями "нового откровения" хотел не только восславить "слово-звук" в пику "слово-смыслу" – он хотел в муках скандала и

в ореоле желтой кофты обратить на себя внимание Улицы, Публики, Толпы. Но когда в свое время В. Маяковский хотел быть "идеологом" наружной и духовной желтой кофты, когда он заявлял от своего и чужого имени:

Хорошо, когда в желтую кофту
Душа от осмотров укутана, –

то он обманывал сам себя: ведь знал же он, что пиджачная пара укутывает душу от осмотра куда вернее и надежнее желтой кофты. Было бы что укутывать!

И еще вспоминаю я футуристические пьесы. Талантливый маниак голого слова и оттого нудно многословный и голословный В. Хлебников написал, в свою очередь, обширные "дейма". Трагедия В. Маяковского "Владимир Маяковский" была даже поставлена на сцене года за два до войны, и я хорошо помню это тягостное зрелище издевающейся, улюлюкающей галерки и от этого сияющей самодовольством кучки "желтых кофт" на своей дешевой Голгофе. А между тем "трагедия" В. Маяковского была уже не "словами с чужими брюхами", а подлинным литературным произведением, была уже не "деймом", а подлинным действием.

С тех пор и до "Мистерии-Буфф" В. Маяковский настолько же вырос, насколько и литературно "поправел". К худу ли, к добру ли – покажет будущее. "Некто непринужденный" футуризма уготовил дорогу таланту, а сам, бездарный, исчез с лица литературы. Свое дело он сделал: шумом скандала обратил внимание на новое рождающееся течение. Но этот шум – только внешняя "желтая кофта"; за ней надо было разглядеть и укутанную душу футуризма.

III. "Душа футуризма".

Душа человека – она ведь тоже только своего рода желтая кофта, скрывающая за собою последнюю сущность духа. А эта сущность – не везде и не всегда является "сущей". За последней пеленой часто таится пустое "nihil", раскутав все покровы, мы часто не находим зерна "духа" в середине "души". А только это зерно – прорастает: и вслед за неоплатониками недаром и апостольская мудрость первых веков возгласила: "сеется тело душевное, восстает тело духовное".

Бывает: пышным цветом распускается идейное или художественное явление – и оказывается пустоцветом, бесплодно увядает и опадает. Нет зерна, нет "духа" жизни, неоткуда восстать телу духовному. И всякое явление надо раскутать до последней пелены (будь то даже желтая кофта футуризма), чтобы увидеть, не является ли его пышный цвет – пустоцветом, есть ли за душой – живой дух.

Душа футуризма? – Ее вы не найдете во всех громкозвонных "манифестах" от Маринетти до В. Маяковского (в его статейке "Капля дегтя"). В них лишь грубый остов, неладно скроенное и некрепко сшитое тело футуризма. Тут, в манифесте духовно плоского Маринетти – и "прославление войны", этой "единственной гигиены мира", и прославление "многокрасочных

и многоголосых бурь революции"; тут в одну кучу свалены "милитаризм, патриотизм, анархизм" вместе с "презрением к женщине". В первом "манифесте" русского футуризма (сборник 1912 года "Пощечина общественному вкусу"), подписанном среди других также и В. Маяковским, выставлялись грозные требования ("мы приказываем!") – сломать старый язык и питать к нему "непреодолимую ненависть", это раз; два – сбросить старых великих "с парохода современности", и три – броситься вниз головой в словоновшество и словотворчество. Как видите – все "желтые кофты", все внешний покрои, который надо еще развернуть, чтобы дойти до "души футуризма", не говоря уже о "духе" его.

Возьмем еще раз слово. Что оно – мертвый футляр мысли или живое существо? Футуризм острее многих своих предшественников среди символистов почувствовал "новую грядущую красоту самоценного, самовитого Слова" – и выделил из своей среды одного талантливого маниака этой "самовитости". В. Хлебников так полюбил живое Слово, что не только не овладел им, но влюбленный, униженно покорился ему.

Лишь изредка – и как раз в самых осмеянных Улицею стихах – удавалось ему совладать с бурно текущим через него потоком слов. "О засмейтесь, смехачи!" – для него это пресловутое стихотворение было уже победой. Издеваться над этим было легко; труднее было – почувствовать в тягостном косноязычии новую силу и правду вечно рождающегося Слова. И лишь немногие тогда (я помню среди них А. Блока) чувствовали это в самых осмеянных строках В. Хлебникова: "крылышка золотописьмом тончайших жил, кузнечик в кузов пуза уложил прибрежных много трав и вер. Пинь, пинь, пинь! Тарарахнул зинзивер"... Или: "я смеярышня смехочеств смехистелинно беру нераскаянных хохочеств кинь злооку – губиру"... Или еще: "немь лукает луком немным в закричальности зари"... Помню, как тогда же А. Ремизов, влюбленный в Слово, но не покорившийся ему, внимательно, с карандашиком, читал хлебниковское "Любхо" – четыре страницы "словоновшеств" на корень "люб", помещенных в "гилейском" сборнике "Дохлая Луна".

Остов футуризма строился из новых, еще не рожденных слов; в муках косноязычия рождали это Слово одни, другие извергали эти слова в любом количестве, с легкостью и апломбом:

Шекспир и Байрон владели совместно

80 тысячами слов, –

Гениальный Поет Будущего (имя рек) ежеминутно

Владеет 80.000.000.001 квадратных слов, –

– пусть все это так. Но ведь и у этих мучеников и у этих мучителей Слова стояло всегда нечто за ним. Иначе говоря – прежний вопрос: Слово – перед нами, но где же – душа Слова? И, конечно, душа не "квадратных слов" футуристической толпы, а подлинного "самовитого" Слова двух-трех верных слуг его?

Слово, пусть живое, само имело душу; за оболочкой слово новшества лежала главным образом отрицательная сила – разрушение старого. И хотя на

зубах навязли слова о страсти разрушения, как созидательной страсти, но надо помнить, что она лишь расчищает место для возведения новых ценностей. В глубине этих ценностей – душа футуризма. И снова вопрос – какие же были эти, создаваемые из новых слов, ценности?

Отрицание всего "великого старого", при невозможности сразу создать свое, хотя бы и невеликое, новое, оставляло вместо ценности, вместо души – пустое место.

Славьте меня!

Я великим – не чета.

Я над всем, что сделано,

ставлю "nihil".

Так возглашал когда-то В. Маяковский. А так как он тут же прибавлял: "Никогда ничего не хочу читать! Книга? Что книги!" ("Облако в штанах"), то понятно, что он мог претендовать на право незнания. Откуда же ему было узнать, как не из книг, что "nihil", то-есть полный отказ от всяких человеческих и мировых ценностей, ведет лишь к отсутствию для человека места в мире? Но часто, не сумев дойти до истины "своим умом", доходят до нее своим горбом: так случилось вскоре и с В. Маяковским. А кому не суждено перейти за черту "nihil", тот раньше или позже дойдет до мирового Katzenjammer'a, как дошел до него и футуризм. Хотите услышать из его уст собственное curriculum vitae? Вот "Смерть художника" одного из бывших футуристических мучителей слова:

Привыкнув ко всем безобразьям,
искал я их днем с фонарем,
но увы! все износились проказы,
не забьтсья мне ни на чем.

И, взор устремивши к бесплотным,
я тихо, но твердо сказал:
"мир – вовсе не рвотное!"
и мордой уткнулся в Обводный канал.

Это – откровенно, но ведь это же и несомненно. Ибо таков подлинно был путь "футуризма" в России. В своих немногих талантах – он преодолел "nihil" и вступил в преемственные ряды творчества и жизни; в своих бесчисленных бездарностях – он прошумел восьмидесятью миллиардами "квадратных слов", пустой и старой душой "привыкнул ко всем безобразьям", а когда "все износились проказы", то бесшумно погрузился с головой в воды Леты: "мордой уткнулся в Обводный канал".

Но не об этом футуризме квадратных слов идет речь. Немногие, изнутри сумевшие его преодолеть – они теперь уже не бывшие "футуристы", ибо уже не "нигилисты"; они уже знают, что "мир вовсе не рвотное", у них есть духовные ценности. Талант вынес их ковчег из вод Обводного канала на сушу, разные спаслись по разному, а погибшие – все погибли от одной главной причины: от духовной собачьей старости, от духовного "нигилизма". Ибо суть его именно

– в отсутствии "души"; и если былой футуризм, подобно быломu "декадентству", погиб, то именно потому, что массовая "душа футуризма" – была пустым местом.

Как и чем спаслись разные из былых футуристов, что общего есть, в их новом пути – об этом здесь говорить не придется. В двух словах: повторилась история гибели "декадентства" и рождения от него "символизма", его сына и его худшего врага. Духовно немощное и старческое декадентство создало почву для расцвета духовных богатств символизма. Но чтобы стать "символистом" – надо было преодолеть в себе "декадентство". Чтобы стать своего рода "символистами футуризма" – надо было преодолеть старческий "футуризм", преодолеть "пустое место": а ведь преодоление пустоты – самое трудное для человека. Надо было, наконец, победить в футуризме внешнее, победить Вещь, тирана старчески-футуристических душ.

IV. "Верхом на вещи".

Когда ведьма Панночка оседлала философа Хому Брута – нагнула ему голову, вскочила к нему на спину, ударила метлой по боку, – то он, "подпрыгивая, как верховой конь, понес ее на плечах своих;... ноги, к величайшему изумлению его, подымались против воли и производили скачки быстрее черкесского бегуна".

История Хомы Брута повторилась с футуризмом. Ведьма современной культуры, машинная Вещь, покорила его, поработила его, оседлала его, – и он, подпрыгивая, как верховой конь, понес ее на плечах своих. Теософ теперь сказал бы: "карма капиталистического развития", душа созданной машины покоряет душу создавшего человека. Глеб Успенский рассказал бы, как живого человека покорило мертвое железо. Но те, кто верят в будущее, знают: Вещь мало создать, ее надо еще и покорить. Надо иметь право повторить о себе слова Заратустры: "я – верхом на вещи".

Желание это, стремление это – смысл и сущность всей деятельности подлинного футуризма. Да, и только ли футуризма? А "символизм" с его "преображением мира"? И даже не символизм, а вообще – искусство?

Цель – одна, пути – разные. Символизм в свое время потерпел поражение, "не удался", не преобразил мира, а сам преобразился: когда был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состарился, то пришли эпигоны символизма, препоясали его эстетством и повели, куда захотели: в "Золотое Руно", в "Аполлон". Символизм тоже был "оседлан", был усмирен, был взнуздан, но не "вещью", а именно "не-вещью", мертвыми душами вещей.

Футуризм (не считая мертворожденного и давно похороненного "акмеизма") восстал против царства мертвых душ. Но и сам футуризм был многообразен, в нем самом вечные "романтизм" и "реализм" были двумя полюсами отношения к жизни, к миру, к "вещи". В области слова самыми подлинными выразителями этих двух течений футуризма явились Е. Гуро и В. Маяковский.

Е. Гуро путем углубления символизма пыталась победить "Вещь", пыталась быть "верхом на вещи". Внешняя вражда с символизмом, внутренняя зависимость от него. Новое "сочетание слов" должно было дать и "новое восприятие мира" (то-есть прежнее "преображение" его); новое "сочетание вещей" должно было стать победой над Вещью:

И я вдруг подумал: если перевернуть
 вверх ножками стулья и диваны,
 кувырнуть часы?..
 пришло-б начало новой поры,
 открылись бы страны!
 Тут же в комнате прятался конец
 клубка вещей,
 затертый недобрым вчерашним днем,
 порядком дней.
 тут же рядом в комнате он был..
 (Е. Гуро, "Шарманка").

В новых формах прежние вопросы: "как распутать нить?" (Бальмонт). И на новых путях – прежнее поражение. Когда художник-футурист рисует корову, шествующую по скрипке, ему кажется, что он этим побеждает "вещь", едет "верхом на вещи", как Заратустра. В мире вещей скрипка и корова так далеки и различны, в мире творчества художник соединил несоединимое, победил "вещь"! И ведь как раз наоборот: не победа это, а полное поражение, бессилие преодолеть "вещь" внутренне. Конец клубка вещей спрятан глубже этой поверхности, глубже даже, чем думали до футуристов:

И что мне помешает
 Воздвигнуть все миры,
 Которых пожелает
 Закон моей игры?
 (Ф. Сологуб).

"Законом моей игры" может быть сочетание коровы и скрипки, но этим не преодолел я ни "скрипки", ни "коровы". Преодоление в том, как изобразить. За давнишнюю "Скрипку" Пикассо, за недавние "Скрипки" Петрова-Водкина я отдам сотню былых "футуристических" скрипок и коров. А вот "Скрипка" В. Маяковского – совсем недурна:

Скрипка издергалась, упрасывая,
 и вдруг разревелась,
 так по-детски,
 Что барабан не выдержал:
 "Хорошо, хорошо, хорошо!"

Я встал,
 шатаясь, полез через ноты,

сгибающиеся под ужасом попитры,
зачем-то крикнул:

"Боже!"

Бросился на деревянную шею:

"Знаете что, скрипка?"

Мы ужасно похожи:

Я вот тоже

Ору –

а доказать ничего не умею..."

(Ах! А мы разве не тоже? – ВМ)

Он прав: в этом его свойство, – не доказывает, "орет". Но ведь и задача художника – не "доказывать", а "показывать": а чем и как – на то многие есть пути. Е. Гуро хотела распутать "клубок вещей" перетончением символизма; В. Маяковский хочет достичь этого же огрублением, нутряным "оревом", "истощным криком". Е. Гуро вся была в "романтизме", в мистике, в теософии; В. Маяковский всему этому чужд, он "наивный реалист", и он надрывается от крика, чтобы сбросить "вещь", сидящую на его шее.

Оба пути – закончились пока что провалом. А вот, в слову сказать, и обратный пример величайшего художественного достижения, распутывания "клубка вещей": "Котик Летаев" Андрея Белого, подлинного символиста, сумевшего "оседлать вещь". Но это только к слову, для контраста, а теперь обращаюсь к "оседланному вещию" В. Маяковскому, этому громкоголосому Хоме Бругу русской литературы. Какие заклятия голосит он, чтобы избавиться от "ведьмы", и кто побеждает в конце концов в этом неравном поединке? Кто он: "Старик с кошками" (из его же трагедии "Владимир Маяковский"), который трусливо ежится:

Вещи надо рубить!

Недаром в их ласках провидел врага я!

– или "Человек с растянутый лицом" (оттуда же), который недоуменно вопрошает:

А, может быть, вещи надо любить?

Может быть, у вещей душа другая?

Удалось ли ему в своем творчестве "оседлать вещь", или "вещь" бесспоротно оседлала его самого?

V. "Оседланный вещью".

Он давно понял, что "оседлан"; весь смысл его трагедии "Владимир Маяковский" – в этом.

В земле городов нареклись господами,
лезуг стереть нас
бездружные вещи...

И вот – вещи взбунтовались: "сейчас родила старуха время огромный криворотый мятеж". Сперва – отдельные вспышки бунта: то "по крышам

затанцовали трубы", то "музыкант не может вытащить рук из белых зубов разъяренных клавиш", (вот это – не корова на скрипке, это подлинно хорошо), то "даже переулки засучили рукава для драки". И вдруг –

И вдруг
все вещи
кинулись,
раздирая голос,
скидывать лохмотья изношенных имен.
Винные витрины,
как по пальцу сатаны,
сами плеснули в днища фляжек.
У обмершего портного
сбежали штаны
и пошли –
одни! –
без человеческих ляжек!
Пьяный,
разинув черную пасть,
вывалился из спальни комод.
Корсеты слезали, боясь упасть,
из вывесок "Robes et modes".
Каждая калоша недоступна и строга...

Об этом "радостно" сообщает "Человек без глаза и ноги". Радостно – ибо перевернулся порядок вещей, корова зашагала по скрипке, "пришло начало новой поры, открылись страны". Здесь – "революционность" футуризма, ненависть к обыденному, культурой набальзамированному, постоянному. Но революционность эта – внутренняя или внешняя?

Преображение мира", о котором говорил символизм, провозглашается теперь и футуризм. Вещи ли взбунтовались и оседлали человека, или человек творчеством своим преобразил вещи? В сильной "вещи" В. Маяковского "Человек" (заглавие так и гласит: "Человек. Вещь") он сам говорит о человеческом творчестве, преобразующем мир: "чтоб зимы в лето, воду в вино превращать чтоб мог – у меня под шерстью жилета бьется необычайнейший комок..."

Ударит вправо – направо свадьбы,
Налево грохнет – дрожат миражи.

И "стоногий окорок" прачек в мокрой прачешной обращается в "дочерей неба и зари"; булочник, "мукой измусоленный ноль": и вдруг – "и вдруг у булок загибаются грифы скрипок"; сапожник, прохвост и нищий: "взглянул – и в арфы распускаются голенища"... И все это –

Это я
сердце флагом поднял,
Небывалое чудо XX-го века!

"Небывалое" – вздор; весь символизм (да что символизм! всякое искусство, творчество) на этом строится, говорит теми же словами о претворении воды в вино; у Ф. Сологуба есть и рассказ об этом чуде в Кане Галилейской. Но символизм презирал "вещь", смотрел сквозь вещь и за это был оседлан призраком вещи; футуризм же хочет ощупать руками и "булки", и "грифы скрипок", и "голенища", и "арфы". Он "материалистичен", не в переносном смысле, и зато уже не призрак вещи, а сама "вещь" оседлывает его широкую спину.

Когда "тринадцатый апостол" этого нового "евангелия вещи". В. Маяковский, порывает с былой поэзией, культурой, религией, когда он, "невероятно себя нарядив", идет по земле, "солнце, моноклем вставив в широко растопыренный глаз", а впереди "на цепочке Наполеона ведет, как мопса", – то вот, казалось бы, скинута им со спины ведьма-Панночка, освобожден он в столь новом и гордом виде от ветхого Адама. Но тут же показывает он, сам того не желая, что в прежнем рабстве он у ведьмы, что солнце моноклем и мопсовидный Наполеон на цепочке не могут скрыть собою внутренней сущности бурсака Хомы Брута. Ибо когда он в таком наряде идет по земле, "чтоб нравился и жегся", то как же ведут себя "вещи", которых ведь надо любить, у которых ведь "душа другая"?

А вот как:

Вся земля поляжет женщиной.
заерзает мясами, хотя отдаться;
вещи оживут –
губы вещины
засюсюкают:
"цаца, цаца, цаца!"

Не преодолел "вещи" тот, кто так чувствует и говорит; не покоритель он, а покоренный; не победитель, но раб. Не стряхнуть ведьму-"Вещь" с уставшей шеи такими заклятиями. И недаром вечная усталость, вечная боль – удел этого криком кричащего Хомы Брута русского футуризма.

И не случайность этот омерзительный образ сюсюкающих "вещей". Стоит лишь взглянуть, как чувствует поэт вообще "вещь", город, природу, мир. "Улица клубилась, визжа и ржа; похотливо взлазил рожок на рожок": вот картина города. Образы сильные, кричащие, часто запоминающиеся: трубы крыши "в неба свившиеся губы воткнули каменные соски"; "рогами в небо вонзались дымы"; "в ушах оглохших пароходов горели серьги якорей". Но общее чувство города у поэта до назойливости однообразно: "лысый фонарь сладострастно снимает с улицы черный чулок"; в ресторане – "кресла облиты в дамскую мякоть" (а прежде, помните, у Ал. Блока: "По вечерам, над ресторанами"!.. Грубо и правдиво рисуется изнанка былой поэтизации, не менее страшной и в прежнем обличии). Не город – "адище города", где

....скомкав фонарей одеяла.
вечь излюбилась, похабна и пьяна,
а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому не нужная, дряблая луна.

Пусть все это ненавистно поэту, пусть с болью и отчаянием кричит он все это в глухую стену города ("кричу кирпичу, слов иступленных вонзаю кинжал в неба распухшего мякоть"...), но ведь иным он ничего и не может (оседлан!) увидеть вокруг.

Улица провалилась, как нос сифилитика.
Река – сладострастье, растекшееся в слюни.
Отбросив белье до последнего листика,
сады похабно развалились в июне...

Так он видит и другого, повторяю, увидеть не может. И твердо сам знает: он – поэт именно этого города! "Все эти провалившиеся носами знают: я – ваш поэт!"

Ибо это – он ненавидит (как ненавидят себя), но и иного – не видит. Хома Брут, даже оседланный, все-таки видел в былые времена, как сквозное покрывало тумана дымилось по земле, как месячный серп светлел на небе, как спали с открытыми глазами леса, луга, небо, долины. Ныне, для Хома Брута футуризма вместо всего этого – "квакая, скачет по полю канава, зеленая сыщица, нас заневолят веревками грязных дорог". Для него небо – "шершавое, потное небо", "распухшая мякоть", а тучи – "отдаются небу рыхлы и гадки". Для него – то "вздрагивая, околевает закат", то "туч выпотрашивает туши кровавый закат мясник"... Для него – "еще не успеет ночь-арапка лечь, продажная, в отдых, в тень, на нее раскаленную тушу вскарабкал новый голодный день". Для него солнце – сумасшедший маляр, он то подымает рыжую голову, "запекшееся похмелье на вспухшем рте", то "обсасывает лучи в спячке". Для него, наконец, вся вселенная – "спит, положив на лапу с клещами звезд громадное ухо"...

Так он чувствует, городской Хома Брут XX-го века, и не может чувствовать иначе. Вещь оседлала его. Машина восстала, взбунтовалась и покорила душу человека. Для него теперь весь мир

Центральная станция всех явлений,
путаница штепселей, рычагов и ручек...

Для него, "воспевающего машину и Англию", весь мир – машина; для него, проводящего жизнь между телефонной трубкой и штепселем электрической лампы, весь мир – "вещь". Ибо он – "тринадцатый апостол" нового евангелия: благовестия "вещи". Апостол, раб и богоборец этого своего Бога – все сразу. Трагедию своего "Владимира Маяковского", свою "оседланность" – он осознал или бессознательно почувствовал с первых же шагов. Отсюда – бунт, отсюда – усталь, отсюда – боль; и – тот надрывный крик, который бросает он в мировые кирпичи.

VI. "Мелкий Бог".

Вечная усталость, вечная боль. С этого начинается якобы юный, якобы здоровый, крепкий, радостный футуризм. Какое уж тут здоровье, какая уж тут сила!

Грядущие люди!
Кто вы?
Вот – я,
весь
боль и ушиб!

Слезки, слезы и слезищи несут люди в трагедии "Владимир Маяковский" ее автору, – до тех пор, пока не взмолился он: "господа! послушайте – я не могу! Вам хорошо, а мне с болью-то как?" И топчется он, запихивает "слезы" в чемодан, идет, – "выйду сквозь город, душу на копыях домов оставляя за клоком клок", – идет с этой ношей, чтобы никуда ее не донести. Ноша эта – крестная ноша не футуризма, но всей русской литературы, и здесь – подлинная внутренняя связь его с ней. Здесь футуризм, который хочет быть отвержением всего старого, является лишь слабым его продолжением (истощенный крик – не сила); здесь футуризм, желающий порвать все старые связи, лишь крепко привязывает себя к основной нити развития русской литературы; здесь "тринадцатый апостол" продолжает вечный путь "двенадцати".

Милостивые государи!
Понимаете вы?
Боль берешь,
растишь и растишь ее:
всеми пиками истыканная грудь,
всеми газами свороченное лицо,
всеми артиллериями громимая цитадель головы, –
каждое мое четверостишие.

И когда он, в поэме "Война и Мир", чувствует свою личную извечную вину за все и за всех, вину за человека, то лишь в новых формах выражает он старую "достоевскую" идею. Старец Зосима – и футуризм: Хлюпающий Алеша Карамазов – и Владимир Маяковский! Боль – за всех; вина – за все.

Боль за всех – Голгофа каждого подлинного творчества. И вот – "смотрите: под ногами камень, на лобном месте стою". Подлинное-ли это лобное место или только бумажная Голгофа? "Мистерия" это или только "буфф"? "Творишь, распятью равная магия! Видите: гвоздями слов прибит к бумаге я". Если бы лишь словесные гвозди и бумажный крест были уделом поэта, то о нем не стоило бы и говорить: слишком много в литературе таких бумажных страстотерпцев. Но подлинную боль – не подделаешь, "мистерия" прорвется и сквозь "буфф":

Я вижу –
в тебе
на кресте из смеха
распят замученный крик...

Боль познается любовью и ненавистью. Ненависть у В. Маяковского проявляется в "замученном крике". Он ненавидит "лик мира сего" и его "культурные" формы. "Долой вашу любовь, долой ваше искусство, долой ваш строй, долой вашу религию – четыре крика четырех частей", – говорит В. Маяковский в предисловии к своему "тетраптиху" ("Облако в штанах"). И это подлинно "четыре крика", один сплошной истошный крик, еще более усиливающийся в "Войне и Мире". Земля заражена – и кровавая бойня войны точно искупительная гекатомба старого мира, а не то – "зараженная земля сама умрет, сохнут Парижи, Берлины, Вены". Ибо "человек" этого "культурного" мира – жалкий ублюдок великих предков. А "человеки" эти вкупе и влюбсе – только "массомясая, быкомордая орава".

Стихами не втиснешь в тихие томики
крик гнева.
Это внуки Колумбов,
Галилеев потомки...

И вот этой "стоглавой вошью" – мы завоеваны, заполнены; для этого ресторанного стада, отождествляющего культуру с комфортом, существует мир.

Мы завоеваны.
Ванны.
Души.
Лифт.
Лиф
души
расстегнули.

И эта "массомясная орава" – царь мира. Этот царь, думает поэт, заколдовал "вещи", поработил вольное, надел цепи на свободное. И вот –

Загнанный в земной загон
влеку дневное иго я.
А на мозгах верхом – "Закон",
на сердце цепь – "Религия" ...
Под хохотливое "ага!"
бреду по бреду жара.
Гремит приковано к ногам
ядро земного шара.

А царь мира, всесветный Мещанин, "Повелитель Всего", – "соперник мой, мой неодолимый враг" – спокойно посмеивается, звенит золотом, развалившись поперек всего земного шара, и сам Бог у него на побегушках.

И здесь – начало "богоборчества" поэта, и в этом – еще и еще тесная связь футуризма со всем прошлым русской литературы. Правда, "богоборчество" футуризма – наивнейшее, мелкое, детское, плоское; после глубин Кириллова и Ивана Карамазова – бледно и бедно звучат все эти вопли и проклятия криком кричащего футуриста: сильные внешне, слабы и нищи они внутренне.

Послушайте, господин Бог!
 Как вам не скушно
 в облачный кисель
 ежедневно обмакивать раздобревшие глаза?
 Давайте, – знаете –
 устроим карусель
 на дереве изучения добра и зла!

И дальнейшая "полемика", такого же стиля, с "крыластыми прохвостами" – очень мила, но за этим "буффом" не докопаться до "мистерии": плоское место. "Я думал – ты всесильный Божище, а ты недоучка, крохотный Божик"... Поэт до Бога дойти не сумел: подобно мелкому бесу – мелкий бог стал на его пути. А потому, когда поэт гордо возглашает:

Это я
 попал пальцем в небо,
 доказал:
 Он – вор!

то с первой половиной утверждения вполне можно согласиться. И не то что богоборчество Ивана Карамазова – куда там! – но и богоборчество "Инонии" Сергея Есенина еще не по плечу Владимиру Маяковскому.

От большой боли к мелкому богу – снова трагический путь и провал. Ведьма Вещь гнетет долу голову поэта; он видит явно своего земного врага, "Повелителя Всего", но взглянуть выше еще не умеет.

Так тому и быть надлежит: в этом – весь В. Маяковский, в этом – его сила и бессилие. Криком кричит он в борьбе с "Повелителем Всего", рушит стены городов на его лысую голову. Боль, ненависть, крик. И – боязнь: есть-ли силы в мире, чтобы одержать когда-либо победу? По-видимому – нет:

Встряхивают революции царств тельца,
 меняет погонщиков человечесий табун,
 но тебя, некоронованного сердец владельца,
 ни один не трогает бунт.

Проходят тысячи, миллионы лет; возносится поэт на небо, в "центральную станцию всех явлений"; снова возвращается на землю, – а на земле "тот же лысый невидимый водит, главный танцмейстер земного канкана, то в виде идеи, то чорта вроде, то Богом сияет, за облако канув"... Что же? Сложить руки, покориться? Нет, покорность не совместна с ненавистью. "Антиквар? Покажите! Покупаю кинжал".

Так боль, ненависть, крик приводят футуризм к "кинжалу" – приводят его к революции.

VII. "Blonda bestia".

Футуризм с самого начала провозгласил себя революцией формы. Формы чего? Одной литературы? Отсюда был всего один шаг до обобщения: "и формы культуры". Одной только формы? Но можно-ли разрушить форму, не нарушив сущности?

В. Маяковский давно осознал эту связь. Свой кинжал он купил до революции 1917 года. "Повелитель Всего"? Какой там повелитель: он просто "Николаев, инженер; это моя квартира" (улица Жуковского, кв. № 42... Впрочем поэт верит, что улицу со временем переименуют: "она – Маяковского, тысячи лет"...) И удар надо направить против этого массового быкомордого Николаева старого строя – идет революция политическая и социальная.

Где глаз людей обрывается куцый
главой голодных орд,
в терновом венке революций
грядет шестнадцатый год.
А я у вас – его предтеча;
я – где боль, везде,
на каждой капле слезовой течи
распял себя на кресте.
Уже ничего простить нельзя...

Поэт ошибся годом, но вера его не обманула: революция пришла. Что же он видел в ней? Или вернее: что же он видел за ней? Ибо и сама революция – это только форма, в которую вкладывается самое разнообразное содержание.

Он видел, что революция будет "социальная", что революция будет тяжелая, кровавая. Быть может, самые сильные строки его "тетраптиха" посвящены как раз этому предсказанию грядущих событий.

Вы думаете –
это солнце нежненько
треплет по щечке кафе?
Это опять расстрелять мятежников
грядет генерал Галифе!
Выньте, гуляющие, руки из брюк –
берите камень, нож или бомбу,
а если у которого нету рук –
пришел чтоб и бился лбом-бы!
Идите, голодненькие,
потненькие,
покорненькие,
закисшие в блохастом грязненьке!
Идите!
Понедельники и вторники

окрасим кровью в праздники!
 Пускай земле под ножами припомнится,
 кого хотела опошлить!
 Земле,
 обжиревшей, как любовница,
 которую вылюбил Ротшильд!
 Чтобы флаги трепались в горячке пальбы,
 как у каждого порядочного праздника –
 выше вздымайте фонарные столбы
 окровавленные туши лабазников...

Да, почти такой пришла революция. Но, еще раз: что же видел поэт за ней? "Николаев" старый строй низвергнут – что же дальше? Видел-ли поэт, смотрел-ли он вдаль? – Смотрел и видел: в безмерном далеке видел он царство подлинного человека. "И он, свободный, ору о ком я, человек – придет он, верьте мне, верьте!" В этом – новое благовестие "тринадцатого апостола"; впрочем – какое же новое! Старое, исконное, вечное, опять связующее футуризм с "благовестием" всей русской литературы. Опять с криком, с вопом, с оревом – "проповедует, мечась и стена, сегодняшнего дня крикогубый Заратустра". И он, крикогубый (меткое слово!), думает, что никто, кроме него, не провидит человека грядущего, что никто, кроме него, не предчувствует будущего победителя мирового "Повелителя Всего".

Я,
 обсмеянный у сегодняшнего племени,
 как длинный
 скабрзный анекдот,
 вижу идущего через горы времени,
 которого не видит никто...

И он, В. Маяковский – "его предтеча". Он прав: всякий видящий – предтеча грядущего. "Звенящей болью любовь замоля, душой иное шествие чающий, слышу твое, земля: ныне отпускаеши". Ибо идет "Человек" (так и озаглавлена "вещь" В. Маяковского), который сумеет освободить землю, освободить людей, освободить и его, несчастного Хому Брута XX-го века, от гнетущего духовного рабства. Пусть это будет "через горы времени" – но это будет; и всякая внешняя "революция" – лишь новая медленная ступень к новому пришествию.

Итак, вот что видит поэт за революцией: "человека". Но снова вопрос: что-же видит он в этом человеке? Кто он? "Ангел"-ли Гердера? Сверхчеловек-ли Нитцше? Или просто "blonda bestia" опошленного нитцшеанства? К кому из них ближе всего футуризм?

Человек, личность, "я" – величайшая ценность земли, во имя его и за него ведется борьба со "стоногой вошью", с "быкомордой оравой", с "многохамой мордой", с массовым мировым мещанином, пачкающим имя человека. Рождение каждого человека – рождение мира, и каждый раз должна была бы

знаменовать его новая вифлеемская звезда. Ибо – "если не человеческого рождения день, то чорта-ль, звезда, тогда еще праздновать?!" Прекрасно; но все-таки – что ценно в человеке этом и за человеком? Духовное творчество? Или, быть может, внешняя физическая сила и красота? Сократ или Милой Кротонский? Аполлон, Дионис – или Геракл аттической комедии?

Футуризм с самого начала склонен был восторгаться идеалом "blondae bestiae", восхищаться собою, как его предтечей, провозвестником, апостолом.

Среди тонконогих, жидких кровью, –
трудом поворачивая шею бычью,
на сытый праздник тучному здоровью
людей из мяса я зычно кличу!
Чтоб бешеной пляской землю овить,
скучную, как банка консервов...

Вот оно, новое благовестие футуризма: бычья шея, тучное здоровье, "люди из мяса". И еще "нам, здоровенным, с шагом саженым"... И еще, и еще: "голодным самкам накормим желания, поросшие шерстью красавцы-самцы"! Шире дорогу – " blondae bestiae" футуризма идут! Физическое оздоровление человечества – неизбежно, необходимо; но если так подчеркивать его, то не искать-ли человека грядущего – в прошлом? И уж наверное рослый философ Хома Брут и плечистый богослов Халява могли-бы дать много очков вперед любому российскому футуристу.

Видеть в этом и только в этом идеал футуризма было бы, конечно, и односторонне, и несправедливо. Но сами футуристы слишком черно подчеркивают начало внешнего творчества, говоря о творчестве внутреннем. Словами "простыми, как мычание", открывают миру они свои "новые души, гудящие, как фонарные дуги". Они воспевают новое искусство, адище города, заводские трубы, и заявляют:

мы сами творцы в горящем гимне –
шуме фабрики и лаборатории!

Каждый из них "держит в своей пятерне миров приводные ремни"; все они – "перья линияющих ангелов бросят любимым на шляпы, будут хвосты на боа обрубить у комет, ковыляющих в ширь"; они идут, "мир огромив мощью голоса", они, крикогубые Заратустры. И –

плевать, что нет
у Гомеров и Овидиев
людей, как мы,
от копоты в оспе.
Я знаю –
солнце померкло-б, увидев
наших душ золотые россыпи!

Прекрасно. И хотя я не очень верю, чтобы у футуристов лица были "от копоты в оспе", чтобы фабрика и завод были их реальной стихией, но пусть:

спорить не буду. Да впрочем – и футуристы не очень спорят: слегка сконфуженно, но с гордым видом, признаются они, что фабрика – сама по себе, а они – сами по себе, что-де рабочие – "пролетарии тела", а они, футуристы – "пролетарии духа" (старинное, молью изъеденное сопоставление!). А кроме того – еще один неопровержимый довод:

Может быть
нам
труд
всяких занятий роднее.
Я тоже фабрика.
А если без труб, -
то, может,
мне
без труб труднее?

Возможно. И хотя поэт тут-же зачисляет футуристов в цех древообделочников ("голов людских обдeldываем дубы!"), но все же теперь несомненно: "от копоты в оспе" – это лишь для красного словца сказано, а в действительности "копоты" на лице этих "пролетариев духа", очевидно, тоже духовная.

Но не в этом дело. Интереснее другое: какое внутреннее творчество стоит за этим внешним? То-есть – снова прежний вопрос: что же такое для них грядущий в мир "человек"?

Культура, революция, мир, человек, Бог: каков на все это последний ответ футуризма?

Мы найдем ответ в произведении – "Мистерия-Буфф", "героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи, сделанное Владимиром Маяковским. 1918 год". Оно пока подводит итоги всему творчеству этого поэта, самого талантливого и подлинного выразителя футуризма, а потому оно подводит итоги и всему литературному футуризму. Обратимся же к этим итогам.

VIII. "Мистерия - Буфф".

Три действия. Пять картин.

Первая картина – "вся вселенная", или вернее: то, что осталось от вселенной. Ибо – "земля плачет", ибо – "весь мир, в доменных печах революций расплавленный, льется сплошным водопадом". Спаслось на северном полюсе только "семь пар чистых" господ разных национальностей, от абиссинского негуса до американца, и "семь пар нечистых": – "мы никаких ни наций, труд наша родина", рабочий "Интернационал". Решено – выстроить ковчег. Много остроумного, много удачного, сплошной "буфф".

Картина вторая – ковчег. Рушатся земли, тучи нависли. Ищут Арарат, а пока – "конституируют власть": сперва "самодержавие" – провозглашается самодержцем абиссинский негус. А он – все принесенное "верноподданными"

один сожрал! Тут "чистые" производят "политическую революцию", низвергают негуса за борт ковчега, объявляют "демократическую республику". Но хрен редьки не слаще, а потому "нечистые" производят "социальную революцию" и низвергают за борт всех "чистых". По-прежнему – многое очень остроумно, многое удачно, но однообразие "буффа" уже слегка утомляет.

Но все хуже и хуже становится по мере того как, начиная с этого места, "буфф" мало-по-малу переходит в "мистерию". На ковчег по морю, аки по суку, является "человек просто" – едва-ли не сам В. Маяковский. По крайней мере его "новая проповедь нагорная" – только перепевы и перекрики на старые речи "тринадцатого апостола" о культуре, о революции, о человеке, о Боге. Становится скучновато.

И чем дальше идут "нечистые" по указанию "человека просто" – лезут на мачты, крушат тучи, пробивают дорогу через Ад (картина третья), через Рай (картина четвертая) в Землю Обетованную (картина пятая), тем "буффа" становится меньше... а "мистерии" – больше? Так, вероятно, думал автор. И – ошибся. Его "мистерия" убывает вместе с "буффом".

"Ад". Тема – "культура". Мораль – "людей адом не запугаешь". Когда черти с угрозами подступают к "нечистым" – "пожалте на костры!", то слышат в ответ рассказ "про нашу земную жуть", все про того же инженера Николаева:

Что ваш Вельзевул?
у нас – такой паук –
клещами, тыщами
всю землю сжал в обескровленный пук,
рельс паутиною выщемил.
У вас хоть праведников нет и детей –
рука, небось, не подымается мучить,
а у нас и те!
Нет, черти,
у вас здесь лучше.
Как какой-нибудь некультурный турок,
грешника с размаха саданете на кол,
а у нас машины,
а у нас культура...
Человечину жрете?
Невкусное сырье!
Я-б к "Сиу" вас свел, каб не было поздно:
у нас в шоколад перегоняют ее.

Черти сперва уши развесили, а потом взмолились: "довольно! шерсть подымается дыбом!". Адищем города можно, как видите, запугать даже приспешников Вельзевула.

"Рай". Тема – "богоборчество". Мораль – "людей раем не обрадуешь". Ибо что есть рай? Белесое облачье, "где постнички лижут чай без сахара", где

ангелы со скуки "метки на облаках вышивают, Х и В, христовы инициалы", где праведники питаются бугафорским облачным хлебом и молоком, где Лев Толстой и Руссо болванами подпирают облачную бугафорию ("вот сюда, Толстой – вид у тебя хороший, декоративный, – стал и стой!"). "Буффа" даже, как видите, и того мало; многое не только не остроумно, но даже и просто не умно. Лев Толстой в виде райского болвана – неужели образ этот олаврит чело В. Маяковского? И все "богоборчество" – еще более плоское и наивное, чем в предыдущих произведениях этого автора.

У бога есть яблоны, апельсины, вишни,
может весны стлать семь раз на дню,
а к нам только задом оборачивался всевышний,
теперь Христом залавливает в западню.

Христос? – "Не надо его! Не пустим проходимца!.. Ни с места! а то рука подымется"... "Христово небо" – и есть тот самый голодный и бездельный рай, который сокрушают "нечистые". "Поют вот: долой тиранов, прочь оковы! И до вас доберутся, не смотрите, что высоко вы!" И они разрушают рай: "крушите, это учреждение не для нас!".

"Буффа" совсем нет, а говорить здесь о "мистерии" – было бы "буффом". Только изумляешься: неужели в этой духовной уплощенности – предельные глубины футуризма? Неужели футуризму, связавшему себя с "социальной революцией" (действие второе!) – а тем самым и с социализмом – совершенно непонятен вопрос о глубочайшей мировой связи враждебно стоящих друг против друга исторического христианства и исторического социализма? Думал-ли он хоть когда-нибудь, что *историческое христианство – сплошь "антихристово"*, что *исторический социализм – в конечном счете анти-социалистичен*? Понимает-ли он, что единоборство подлинного Христианства и подлинного Социализма подлежит синтезу еще далекого будущего?

Праздные вопросы, ибо для футуризма они – за семью печатями. Оттого и "богоборчество" его – такое детское, наивное, жалкое, беспомощное, оттого и Бог его – мелкий бог, оттого и Лев Толстой, вечный искатель и бунтарь, для него лишь декоративное пустое место. Он крушит рай московских замоскворецких купчих – и этот противник ему по плечу, "аршином глубже" – он уже беспомощен и жалок. А когда он начинает созидать свой Рай, создавать свою собственную "мистирию", то получается только невеселый "буфф".

"Земля Обетованная". Тема – "человек и вещь" (новое появление старой знакомой!). Мораль – о ней речь впереди, а исходный пункт – прежний, "реалистический", земной.

Нам написали Евангелие,
Коран,
Потерянный и Возвращенный рай,
и еще,
и еще,
многое множество книжек –

каждая радость загробную сулит, умна и хитра,
Здесь,
на земле хотим
не выше жить и не ниже
всех этих елей, домов, дорог, лошадей и трав.
Нам надоели небесные сласти –
хлебище дайте жрать ржаной....

Согласен. Это и моя твердая вера: от небесных сладостей (трансцендентный смысл жизни) – отказываюсь, приемлю ржаной хлеб земли (смысл жизни имманентный). Верю в человека грядущего и в вечное творчество земли обетованной. Кто он и что она – неуместно говорить об этом по поводу футуризма, но получить уместно здесь именно от него эти ответы.

Человек грядущего и есть строитель земли обетованной, а она – не пустынный мираж, но живая реальность. "Взорвите все, что чтили и чтут, и она, обетованная, окажется под-боком – вот тут!" Еще раз – согласен. Но зодчий познается по зданию. И по "Земле Обетованной" футуризма мы узнаем, кто "человек" футуризма, а значит и что такое сам футуризм.

Итак?

IX. "Земля Обетованная".

Итак – через горы времени пришел в мир человек, "человек просто", и построил свой земной рай. Этот рай – "для всех, кроме нищих духом"; в него вхож и нераскаянный убийца и "любовьями всевозможными разметавшийся прелюбодей", словом: "все, кто не вьючный мул, всякий, кому нестерпимо и тесно, знай! ему – царствие мое небесное". Заглянем же в это "царствие" футуристической мистерии, в этот земной рай земли обетованной грядущего "человека".

Не о рае Христовом ору я вам,
где постнички лижут чай без сахару, –
я о настоящих земных небесах ору.
Судите сами – Христово небо-ль,
евангелистов голодное небо ли:
в раю моем залы ломит мебель,
услуг электрических покой фешенебелен.
Там сладкий труд не мозолит руки,
работа розой цветет по ладони.
Там солнце такие строит трюки,
что каждый шаг в цветомории тонет.
Здесь век корпит огородника опыт –
стеклянный настил, навозная насыпь,
а у меня – на корнях укропа
шесть раз в году росли ананасы-б!

Ванны. Лифт. Души. Лиф души расстегнули... И это теперь – "рай" на земле, низвергнувшей "Повелителя Всего"! Но в благовестии об этом "рае" у В. Маяковского есть предшественник: вспомните восторженные речи Гончарова ("Фрегат Паллада") о прелестях культуры и о задачах ее: "вognать ананас на севере в пятак"... Если они будут расти шесть раз в году, да еще на корнях укропа, то что же удивительного: в раю Маяковского осуществится мечта Гончарова!

Но как же это могло случиться: Гончаров, верноподданный "Повелителя Всего", и футуризм, давно уже занесший на этого повелителя кинжал?! (купленный, впрочем, у антиквара). Каким чудом так сошлись они во вкусах и взглядах? Или чуда здесь нет, а просто-на-просто кинжал, купленный у антиквара, оказался такой же бутафорией, как и облачное райское молоко? В рай "Человека просто" вхожи "все, кроме нищих духом": но до какой же подлинной нищеты духа надо дойти, чтобы "Землю Обетованную" представлять в виде такого ананасного рая!

Бутыли горящие ходят булькая...

Да, булькая!

Дерево цветет.

Да не цветком, а булкою!..

Да, булкою!.. ,

Сахарная женщина!

Две еще!

Ходят всякие:

Яства.

Вещи.

У каждой ручка. У каждой ножка...

Предел культуры и комфорта! Бутыли ходят, булькая, дерево цветет булкою: о, мировой инженер Николаев, подлинно это твой рай: о, бессмертный "Повелитель Всего", подлинно это твоя квартира! И что до того, что нет в этом раю "мопсовидного хозяина" и "расфуфыренной хозяйки", раз по воле автора все "нечистые" поддаются таким неотразимым соблазнам этого рая – рая для нищих духом!

Нет, напрасно покупал автор у антиквара бутафорский кинжал, напрасно компрометирует он раем своей "земли обетованной" идеалы далекого грядущего Социализма! В идеалах этих внешняя культура становится достоянием всего человечества лишь для достижения новых неведомых ступеней культуры внутренней. И человек XVIII века, Гердер, и человек XIX века, Нитцше, – нашли бы здесь общий язык с человеком грядущего, будущим "Строителем Всего"; но как все они могли бы говорить об этом с "небывалым чудом XX века", Хомой Брутом XX-го века – Владимиром Маяковским? Ведь теперь ясно, что видит он, что видит футуризм за последними пределами культуры, революции, человека, ответ дан в "Земле Обетованной".

Глубокий духовный провал при удаче внешнего достижения; "буфф", заменяющий собою "мистерию". Как это могло случиться? Для того, кто "душу футуризма" считает "пустым местом" – ответ несложен: чего же иного было ждать от духовной пустоты? Но для меня "пустым местом" является

лишь душа массового футуризма, давно уже умершего от собачьей старости. Духовно мертвое "деймо" уткнулось мордой в Обводный канал, кануло в Лету; но ведь не о нем и речь, а о подлинно живом "действе" многих "вещей" В. Маяковского: его "трагедии", его "тетраптиха", "Войны и Мира", "Человека", "Мистерии-Буффа". Откуда же такой духовный срыв? Что гнетет долу мертвым грузом душу живого футуризма?

Ответ прежний: "Вещь". Крепко оседлала ведьма-Панночка "бычьей шею" Хомя Бруга XX века. Он понимал это, он знал, что оседлан, и крикогубыми заклятиями творчества пытался сбросить это ярмо "Повелителя Всего" (ибо он ведь и есть мировая душа Вещи внешней культуры). Теперь, построив по указке "Повелителя Всего" свой земной рай, он делает вид, что свободен он от ярма, что сбросил он ведьму с своей шеи. А она – крепко сидит, тем крепче, чем больше кичится он своей свободой.

Когда распахиваются, наконец, перед "нечистыми" широкие ворота "Земли Обетованной", то хозяев нового мира идут встречать "Вещи". Страшно "нечистым": ведь были они на земле рабами вещей, рабами машин, а теперь... – "тоже, подходит, походка мышинная! Мало коверкало нас машиною! Вам бы лишь зубы на рабочих растить" (нарочно-ли берет автор самую элементарную и опять-таки лишь внешнюю форму "оседланности" Вещью?) Но вместо "бунта Вещей" из прежней "трагедии", в этом "буффе" нас ждет раскаяние и покорность Вещей новым хозяевам земли:

Прости, рабочий!
Рабочий, прости!
Рубля рабы,
рабы рабовладельца были.
Заставил ценным делаться!
Берегла прилавки, сторублева и зла.
В окна скалила зубья зарев.
Купцовы щупальцы лезли из лавок.
Билось злобой сердце базаров!
Революция,
прачка святая,
с мылом
всю грязь лица земного смыла.
Для вас, –
пока блуждали в высях, –
обмытый мир расцвел и высох!
Свое берите!
Берите!
Идите!
Рабочий, иди!
Иди, победитель!

Полная победа! И глубокое духовное поражение автора: ведьма "Вещь" крепко гнетет его голову к земле. Ибо иначе он увидел бы, он понял бы, что все время говорит лишь о внешней победе, о внешних плодах "социальной революции" и не может поднять глаз на ее духовные результаты. Смыт с лица

земли обетованной "Собственник" – пусть так; но автор не видит (сильна ведьма-Вещь!), какая же духовная ступень ответит этой социальной? И лишь элементарное и снова лишь внешнее вкладывает он в уста "нечистых": "товарищи Вещи! знаете что – довольно судьбу пытаться! Давайте, мы будем вас делать, а вы нас питать. А хозяин навяжется – не выпустим живьем! Заживем!" И в заключительном апофеозе "Мистерии" – все то же и то оке: "старые арии"!

Лучи перевяжем пучками метел,
чтоб тучи небес электричеством вымести.
Мы реки миров расплещем в меде.
Земные улицы звездами вымостим.

Тут все есть, коли нет обмана. Одного только нет: зерна духа живого. Нет человека. Есть лишь внешнее его, но не внутреннее творчество. А где нет последнего – там провал в духовную пустоту, там ведьма-Панночка едет верхом на несчастном Хоме Бруге, там гибель "мистерии" в трагическом для автора "буффе".

Х. "Борщ из незабудок".

Если бы футуризм был сплошной "буфф", то разве стоило о нем много разговаривать? Если в футуризме есть хотя бы веяние крыла "мистерии", то надо выявить эту внутреннюю правду, понять и принять ее.

Внешние преграды для этого давно отпали. Прежде футуризм был "аристократичен", говорил с немногими избранными на "заумном языке". А легко-ли, со стороны, добраться до внутренней правды слов "с чужими брюхами"! Теперь футуризм стал "демократичен", стал даже "социалистичен" – прощай, "заумный язык"! Героическое время прошло, буржуа достаточно "наэпатирован"; перед нами – футуризм прирученный, одомашненный, его уже из рук кормят. И если иные из примававшихся к футуризму не прочь умильно ворковать: "дайте попке сахару!" – то ведь и подлинный футуризм теперь далеко уже не прежний неустрашимый Гектор былой бессмыслицы. "Слово имеет смысл!" – вот до какой измены самому себе дошел футуризм, когда-то бывший революцией формы; пришла внешняя революция – и он застегнул на все пуговицы свой официально признанный мундир.

Мелочь: интересно сравнить стихи В. Маяковского в отдельных футуристических сборниках 1912 – 1915 гг. ("Садок Судей", "Дохлая Луна", "Требник Троиц" и др.), с теми же стихами, собранными в его книжке "Простое, как мычание". Как он причесался знаками препинания, принял вид пообъединенной, отказался от невинных ребусов (почему-то так сердящих госпожу Публику), вытянул строки в приличный им ряд! Если раньше он писал, как его левая нога хочет:

Пестр как фо-
Рель-сы
Н
Безузорной пашни, –

то теперь он уже членоразделен, вразумителен, причесан:

Пестр, как форель,
сын
безузорной пашни.

Мелочь, но характерная (их – десятки); футуризм не хотел более загромождать свою правду ненужной скорлупой фокусов. "Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом", – истина тысячелетняя; а футуризм был уверен, что свеча им зажжена. И он пожелал, чтобы сосуд был прозрачный.

Два слова об этом "сосуде"; я здесь не вхожу в подробное его изучение. Но тот, кто войдет, увидит: В. Маяковский имеет свою форму, свою рифму, свой словарь, и, внимательно глядяваясь в них, придет с другого конца к прежнему выводу о Хоме Бруте и Вещи. Он – тяжеловоз русской поэзии. С тяжело пригнутой к земле головой, упорно и трудно работает он над перебойным ритмом, над ломанными строками (почти всегда, однако, размещающимися в обычное "четверостишие"), над тяжелыми, долу гнетущими, искусственными, подлинно машинными, "вещными" рифмами. Все эти "разговаривать" и "варево", "тех никак" и "техника", "хоботом" и "гроба том", "храбрости" и "раб роста", "излив там", и "лифтом", "выстрелу" и "ввысь стрелу" и так далее, сплошь, без отдыха себе и другим, – слишком характерны, чтобы не быть тесно связанным с внутренней сущностью поэзии В. Маяковского.

"Вещность" рифмы тесно связана со "словарем" поэта; и "словарь" его – такой же, вещный, мясистый, крикливый. Сам он описывает, как "гримируют городу Круппы и Круппики грозящих бровей морщ" (тому самому городу, поэт которого – он), – а у поэта

– во рту
умерших слов разлагаются трупики.
Только два живут, жирея:
"сволочь"
и еще какое-то,
кажется – "борщ".
Поэты,
размокшие в плаче и всхлипе,
бросились от улицы, ероша космы:
"как двумя такими выпеть
и барышню,
и любовь,
и цветочек под росами?".

Но он, В. Маяковский, поэт улицы – не размок в плаче и ветчине; он смело остался на улице, взял и "сволочь", и "борщ", и еще им подобные – и построил на них остов своей поэзии. Он "крикогуб", он груб – и это его показная внешность; а под этой оболочкой, быть может, таится "душа прямо геттингенская". Откуда вы знаете: может быть –

когда мой голос
похабно ухаёт
от часа к часу

целые сутки, –
 может быть, Иисус Христос нюхает
 моей души незабудки?!

Может быть. Но тем более верно тогда и мое понимание футуризма, как падающего под тяжестью вешности, тяжкой Вещью обремененной души. Ибо если Владимир Маяковский есть лишь современное воплощение Владимира Ленского, то какова же власть ведьмы, сумевшей геттингенскую душу поэта облечь в желтую кофту бурсака Хомы Бруга!

"Вещные" рифмы; "мясистый" словарь; нежная душа. Словом – борщ из незабудок". Что бы ни прикрывалось этим, – душа геттингонца или душа бурсака, – но следствие их: "тяжеловозость". "Оковала земля окаянная"! В. Маяковский – ломовой извозчик поэзии, тяжело громахающий по булыжным мостовым города "души своей незабудки". И сам он откровенно признает свою тяжеловозость, хотя и метит в других:

Я раньше думал, –
 книги делаются так:
 пришел поэт,
 легко разжал уста,
 и сразу запел вдохновенный протак, –
 пожалуйста!
 А оказывается: –
 прежде чем начнет петься,
 долго ходят, размозолев от брожения.
 И тихо барахтается в тине сердца
 глупая вобла воображения.

Целит в других, а попадает в себя; ибо если поэту часто дано "легко разжать уста", то "поэт" этот во всяком случае! – не В. Маяковский. Этот – тяжело ворочает челюстями, разгрызает камешки, и, быть может, лишь в трансе "крикогубости" видит спасение от давящей его и здесь "вешности". Варит "борщ из незабудок", а получает борщ мясной, густой, уваристый, бурсацкий, тот самый борщ из топора, который сварил когда-то brave солдат народного "буффа".

XV. Две "мистерии".

Мы видим: внешний "сосуд" футуризма вполне подтверждает определение его сущности, и наоборот. Повторяю, однако: здесь я не изучаю "сосуда", но хочу взглянуть на пламя свечи, им прикрытой. Это пламя, этот свет, эта правда, эта "мистерия" – называйте, как хотите, – есть в футуризме, иначе бы о нем не стоило и говорить.

Правда его простая, правда его двойная.

Величайшее развитие Машины в XX веке требует развития новых форм искусства. И он ощупью ищет эти формы, испытывая и победы и поражения, последние – чаще. Ибо слишком часто он забывает, что новые формы

искусства должны покорить Машину – человеку, а не человека – Машине. И в последнем – его неправда, его провал.

Величайшее развитие Машины есть путь освобождения человека: это – вторая правда, заимствованная им от Социализма (здесь и лежит точка их касания). Чехов когда-то говорил, что "в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и воздержании от мяса". Но, говоря об освобождении человека, футуризм (мы видели это в "Мистерии-Буффе") не может подняться дальше освобождения внешнего, и в этом – его неправда, его провал.

Правда футуризма в том, что он увидел Машину. Неправда его в том, что он кроме нее ничего не может увидеть.

И здесь твердым противовесом футуризму является другое течение современной русской поэзии, идущее не от Машины, а от Земли, не от Города, а от Деревни. Оно ненавидит Машину, оно не верит, что только через Машину придет внешнее освобождение, но зато оно видит человека, видит все, кроме Машины, видит мистирию освобождения внутреннего. Не мистирию Машины, но мистирию Земли открывает оно всем, способным ее почувствовать.

Две правды сталкиваются здесь: города и деревни, машины и земли, столкновение их освещает нам истину. Каждого из нас душевная склонность влечет в ту или иную стихию, и очень легко поддаться одностороннему пристрастию, односторонней враждебности.

Вспомните, например, как футуризм, в лице В. Маяковского, чувствует природу, мир, человека.

"На шершавом, потном небе околеваает, вздрагивая, закат. Пришла ночь; пирует Мамаем, задом на город насев. Улица, провалившаяся, как нос сифилитика, заклубилась, визжа и ржа, а сады похабно развалились на берегу реки – сладострастья, растекшегося в слюни".

Вот картина ночи по В. Маяковскому, типичному поэту современного Города. И нельзя отказать поэту в силе многих образов; по сравнению с ним многие и многие из его собратьев по "святому ремеслу" – "серенькие, чирикают, как перепелы", треплют старые образы, перепевают старые образцы, гибнут в болоте, – как погиб, например, засосанный внутренней и внешней пошлой "цыганщиной", несомненно талантливый Игорь Северянин.

Но вот другие образы поэта Земли; прислушайтесь – разве меньше в них силы и смелости? О прочем я уже и не говорю: слишком неравны здесь условия борьбы временного, преходящего футуризма и вечной поэзии мира. Ибо Город – только этап XX-го века в крестном пути человечества. Так вот:

"Осень, рыжая кобыла, чешет гриву. Над речным покровом берегов слышен синий лягз ее подков". "Солнце, как кошка, с небесной вербы, лапкою золотою трогает мои волоса". "Пляшет, сняв порты, златоколенный дождь". "Отелившееся небо лижет красного телка". "Изба-старуха челюстью порога жует пахучий мякиш тишины". "Пляшет сумрак в галочьей тревоге, согнув луну в пастушеский рожок" (С.Есенин).

А теперь – пусть откликнется ваша душа: где она? На берегу-ли реки, "сладострастно растекшейся в слюни", или на берегу другой реки, где

Вечер, свесившись над речкою, полощет
Водою белой пальцы синих ног...

Но не в том вопрос, с кем наша душа, вопрос в том – с кем Россия, с кем будущее. И поэт Земли отвечает на это поэту Машины:

Маяковскому грезится гудок над Зимним,
А мне – журавлиный перелет и кот на лежанке:
Брат мой несчастный, будь гостеприимным –
За окном лесные сумерки, совиные зарянки.

.....
Иглокожим, головоногим претит смоль и черника,
Тетеревиные токи в дремучих строчках;
Свете Тихий от народного лика
Опочил на моих запятых и точках.
"Простой, как мычание" и "Облаком в штанах" казинетовых
Не станет Россия, – так вещает изба.
От мереж осетровых и кетовых
Всплеска рифм и стихов ворожба.
Песнотворцу-ль радеть о кранах подъемных,
Прикармливать воронов – стоны молота!
Только в думах поддонных, в сердечных домнах
Выплавится жизни багряное золото...
(Н. Клюев).

Поэт, конечно, прав – и его земляные "поддонные думы" безмерно глубже истошного орева духовно-плоского футуризма; но за последним, независимо от воли его, стоит другая правда – правда усложняющейся жизни Города. Две правды, две мистерии – надо-ль нам бесповоротно осудить одну, возвеличить другую?

Прежде, в XIX веке, выбор был слишком прост. Еще не было города – были большие деревни; еще не была противопоставлена душа Человека и Машины. Сказали бы вы Тютчеву о том, что вселенная есть только "путаница степселей, рычагов и ручек"!.. На утверждение: "мир есть механизм", он уже дал уничтожающий ответ тогдашним "людям города":

Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах,
Для них и солнца, знать, не дышат,
И жизни нет в морских волнах.
Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили,
И ночь в звездах нема была!
И, языками неземными,
Волнуя реки и леса,

В ночи не совещалась с ними
В беседе дружеской гроза.
Не их вина!

Не их вина – мы видели это; но их беда – ибо мир Земли навсегда закрыт от их взора. Или, вернее: он открыт им только с улицы Города, где не солнце золотой лапкой с небесной вербы тянет клубок лучей, а пьяный небесный маляр "обсасывает лучи в спячке". Они чувят зато свою "городскую" правду – о Машине, правду, которая неведома была в XIX веке, в эпоху Пютчева. Они чувят: под "небесную вербу" человечество придет только через Машину, через Город, не упрощением, а усложнением жизни. И в этом – бессознательная правда футуризма. И в этом – отражение в искусстве глубокого социального (и еще более глубокого!) сдвига мира.

Две "мистерии" перед нами, и надо суметь приобщиться к обоим: за "адищем Города" увидеть рай Города, за раем Деревни – ад деревни. Две правды перед нами, и надо суметь принять обе: правду нерукотворенной Земли и правду сотворенной человеком Вещи, зная, что лишь через вторую перейдет человечество к первой. Но для этого надо не покориться машинной "вещи", а покорить ее: в этом – задача грядущей культуры. Задача эта будет решена, когда все человечество, когда человек грядущего (а не одинокий его предтеча, Заратустра) твердо повторит последние слова: "я – верхом на вещи!".

Футуризм – лишь временный, случайный ручеек этого мирового потока. Сдавленный в узких берегах вольного и невольного "буффа", едва избежавший духовного нигилизма, крепко оседланный Вещью, криком кричащий, чтобы заглушить боль и заклясть "проклятого седока", слишком часто мелкий и плоский духовно, раб внешней "революционности" и внешнего творчества – футуризм таит в себе слабое племя "мистерий", которое так легко проглядеть за громоздким его "буффом".

Да к тому же и многочисленные "футуристы" не всегда "способствуют украшению" подлинного футуризма. Так всегда бывало. Многообразное "декадентство" выделило из себя небольшую группу "символизма", но подлинных символистов в русской литературе – было буквально два-три и обчелся. И часто самые именитые представители течения лишь временно, по недоразумению, с ним связаны, а по существу далеки от него безмерно. Мистически горящий сердцем на бумаге "символист" – не раз бывал невыявленным рационалистом в глубине сердца.

Так и с футуризмом. "Нас, футуристов – нас всего, быть может, семь", – заявил однажды В. Маяковский. Он, конечно, ошибся – преувеличил вдвое или втрое; но разве дело в их числе? Дело в той правде, которую – сознательно или бессознательно – они несут, и правды этой ради стоило попристальнее вглядеться в футуризм, "крикогубого Заратустру" наших дней, навечно оседланного панночкой Вещью Хому Брута XX-го века.

Декабрь 1918 – март 1918 г.

Герман Николаевич Ионин

**В ПРЕДЧУВСТВИИ
ГРОЗОВЫХ ПЕРЕМЕН**

(ПУШКИН В ПРОЗЕ)

В ОКТЯБРЬСКИЕ ДНИ

ПОЭМЫ



В ПРЕДЧУВСТВИИ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕМЕН

«Егорушка оглядывался и не понимал, откуда эта странная песня; потом же, когда он прислушался, ему стало казаться, что это пела трава; в своей песне она, полумертвая, уже погибая, без слов, но жалобно и искренно убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну; она уверяла, что ей страстно хочется жить, что она еще молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха; вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя...»

Сравним этот абзац из повести «Степь», открывающей начало зрелого творчества А. П. Чехова (1888), с другим отрывком из иного произведения, созданного позднее, когда уже ни Н. Михайловский, ни А. Плещеев, ни А. Суворин не спорили с автором о его «объективизме» и не пытались выяснить тенденцию и главную мысль чеховских текстов.

Ионыч – на кладбище... «На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни и чего, вероятно, больше уже не случится видеть: мир, не похожий ни на что другое, – мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни, нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плит и увядших цветов, вместе с осенним запахом листьев, веет прощением, печалью и покоем».

А вот слова Лопахина из кульминационной сцены «Вишневого сада»:

«← Отчего же, отчего вы меня не послушали? Бедная моя, хорошая, не вернешь теперь. (Со слезами.) О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь».

Везде, в каждой из приведенных цитат, – особая, узнаваемая интонация... О ней, до сих пор таинственной и неразгаданной, так много уже написано и сказано... Она, эта, понятная душе, но неуловимая для нашего слова мелодия, и есть весь Чехов – «Пушкин в прозе», – как проникательно точно назвал его однажды Лев Толстой.

Мелодия, казалось бы одна и та же, по-разному варьируется в разных произведениях, она вбирает в себя весь чеховский мир, всю неисчерпаемость изображенных писателем жизненных положений, судеб, всю неповторимость наблюденных и созданных им характеров, всю несхожесть скрытых и явных оценок, всю гамму настроений и того щемящего душу сопереживания, каким автор «Степи», незримо присутствуя, сопровождает повествование или развитие сценического действия. Услышать, мысленно пропеть эту мелодию, слиться с нею, «взять ее с собой» – вот что значит по-настоящему прочесть и пережить всего Чехова как единую книгу...

В творчестве многих писателей есть свое «ключевое» произведение: для Державина – ода «Бог», для Пушкина – роман в стихах «Евгений Онегин», для Лермонтова – поэма «Демон», для Островского – весенняя сказка «Снегурочка» и т. д. Мы не будем сейчас вдаваться в обоснования нашего «выбора» – к тому же он, видимо, и субъективен. По крайней мере, каждый из

поименованных случаев требует особого, углубленного разговора. Сейчас нам важно лишь указать на эту общую для разных писателей особенность, по возможности объяснить ее, ибо для Чехова таким «ключевым» произведением, на наш взгляд, оказывается повесть «Степь».

Он называл ее «степной энциклопедией» (письмо Д. Григоровичу от 12 января 1888 г.) – на самом деле вышла своеобразная «энциклопедия русской жизни», только события протекают вдали от обеих столиц, на юге России, отголоски исторических процессов и перемен мелькают как бы случайно, не занимая первого плана и, вроде бы, незаметно для детского взгляда Егорушки. Но в повести есть все основные голоса эпохи, все лики тогдашней России: «глупенький» о. Христофор, «живущая прескверно», т. е. лишенная прежней власти графиня Драницкая, нынешний хозяин степи, «кружащийся над ней» Варламов, неприкаянный, полный неумных сил Дымов, которого сам Чехов в письме А. Плещееву неожиданно определил: «Это лишний человек». Подтекст вызывает некоторые ассоциации с пушкинским романом, а в тексте – намечены темы и персонажи многих последующих чеховских произведений – вплоть до лирической комедии «Вишневый сад». Везде – за частными судьбами, подробностями быта, пейзажами, впечатлениями, мимолетными и случайными, – какое-то несказанное или, вернее, невысказанное слово о «суровой родине», о ее живой душе, безнадежно ждущей сочувствия и любви.

Впрочем, в «Степи» об этом сказано прямо: ночной пейзаж разрешается возгласом, редким для Чехова, как бы несущим в себе энергию гоголевских лирических отступлений... «...И в торжестве красоты, в излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные, и сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв: певца! певца!» Авторский голос тут созвучен «песне травы», которую слышал Егорушка, и всем другим цитированным и не цитированным нами вариациям главной мелодии Чехова.

Обычно эту мелодию противопоставляют тому, что изображено. И, не сговариваясь, утверждают, что автор мягко, как ему свойственно, и все же непримиримо, с отчужденной усталой грустью судит и приговаривает бездуховность и жалкую пошлость современной ему России, как бы предчувствуя неизбежные, хоть и неясные ему самому перемены («скорей бы переменялась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь...»). Так истолковывал Чехова М. Горький, явно вчитывая в него свою образность и интонацию, какой бы на этот раз артистически тонкой и точной она ни была. Вот его знаменитая формула: «Мимо всей этой скучной, серой толпы бессильных людей прошел большой, умный, ко всему внимательный человек, посмотрел он на этих скучных жителей своей родины и с грустной улыбкой, тоном мягкого, но глубокого упрека, с безнадежной тоской на лице и в груди, красивым искренним голосом сказал: «Скверно вы живете, господа!» Да, здесь не Чехов, а Горький... Конечно, в чем-то между ними есть и перекличка, и созвучие, но горьковская мелодия другая – она действительно в поединке с миром, куда он «пришел, чтобы не соглашаться...» У автора «Степи», напротив, нет несогласия с «суровой родиной», для него она

живое существо, пробуждающее, заслуженно или незаслуженно, родственную печаль понимания, обреченную грусть сочувствия и беспричинность любви, русского «жаления», когда незачем спрашивать, за что любишь... При этом Чехов – хоть и русский, подобен греку античности, для которого, как пронизательно замечал не раз М. Мамардашвили, в каждом мгновении заключено все бытие. Впрочем, и Гете догадывался о том, что миг «исполнен вечности...»

Чехов не воспевает и не осуждает. Возможно, он делает и то, и другое, но не видит в этом своей главной цели. Он все изображает, даже собственную печаль родственного сочувствия или другие тонкие и трудно передаваемые словом душевные состояния, которые возникают по ходу рассказа, – изображая их, он сам остается неуловимым, необнаруженным... Кажется, что его нет, а есть лишь артистически воспроизведенные, сыгранные настроения, близкие читательским или тем, какие переживают его герои... Всем этим настроениям есть место в душе автора, и ни одно из них не исчерпывает его души... На самом деле между тем, что изображено, и тем, что изображает, – между артистической душой художника и той жизнью, которую он так «объективно» воспроизвел, есть родственность, близость, взаимная сопричастность, исключая сторонний взгляд того, кто судит и выносит приговор. Обычно ссылаются на общегуманную позицию автора, которая возвышает его над уходящей, умирающей прежней Россией, и вот, благодаря Чехову, мы с этой Россией прощаемся, сострадаем, печалься и все же «смеясь» («Вишневый сад»). Но, полагаю, Чехов едва ли бы согласился с нашими обобщениями такого рода. Сам он не любил обобщать. А все декларации, высказанные, например, в письмах к А. Плещееву, выглядят как бы немного вынужденными и, уж во всяком случае, мало или недостаточно содержательными. Перечитаем их: «Мое святое святых – это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались...» (А. Плещееву, 4 октября 1888 г., по поводу рассказа «Именины»); «... разве в рассказе от начала до конца я не протестую против лжи? Разве это не направление!» (А. Плещееву, 7 октября того же года, по тому же поводу). Остальные декларации, сколько бы мы их ни цитировали, немного добавят к сказанному. Не правда ли, упреки, обращенные к писателю, чем-то напоминают некоторые, до сих пор бытующие оценки неуловимого, лишеного тенденции, «прогуливающегося», по выражению А. Терца, искусства Пушкина? Но нам важно учесть не только упреки, но и похвалы: в иной форме они выражают ту же *глухоту* к главной мелодии автора «Степи»...

Сам Чехов именно в те годы, объясняя и аргументируя необычность своего направления, ссылаясь на образную, изобразительную, чуждую тенденциозности природу искусства слова. Он, как известно, писал А. Суворину: «Вы браните меня за объективность, называя ее равнодушием к добру и злу, отсутствием идеалов и идей и проч. Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил бы: кража лошадей есть зло. Но ведь это и без меня давно уже известно. Пусть судят их присяжные заседатели, а мое дело показать только, какие они есть... Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя,

полагая, что недостающие в рассказе субъективные элементы он подбавит сам» (1 апреля 1890 г. по поводу рассказа «Воры»). Как и в других случаях, здесь, в этой декларации «объективного реализма», у Чехова не чувствуется даже попыток приоткрыть тайну своей прозы. Кроме, пожалуй, оговорки о том, что читатель, возможно, сам подбавит «субъективные элементы». Но и здесь речь все-таки идет не об идеях и идеалах (и то и другое вряд ли могло бы быть названо «субъективными элементами»), и не о настроениях, в которых автор и читатель единоклюны и передать которые в слове призван художник, почему их и незачем «подбавлять». Значит, не в одном изобразительном и «объективном реализме» тут дело, а в том, о чем автор письма умолчал и, как правило, умалчивал, когда пытался определить свой метод и стиль, свой жанр, свое «направление»...

«Трава», которая «пела», – «символ, сравненье»... Тут же разгаданные... Егорушка, послушав пение, побежал к осоке, «отсюда он поглядел во все стороны и нашел того, кто пел. Около крайней избы поселка стояла баба в короткой исподнице, длинноногая и голенастая, как цапля, и что-то просеивала; из-под ее решета вниз по бугру лениво шла белая пыль. Теперь было очевидно, что пела она. На сажень от нее неподвижно стоял маленький мальчик в одной сорочке и без шапки. Точно очарованный песнею, он не шевелился и глядел куда-то вниз, вероятно на кумачовую рубашу Егорушки». «Заземление» высокого лирического мотива Чехову необходимо, и оно повторяется в «Степи» не один раз. Например, после авторского восклицания: «Певца! певца!» сразу же следует:

«– Тпрр! Здорово, Пантелей! Все благополучно?

– Слава богу, Иван Иваныч!

– Не видали, ребята, Варламова?.. » и т. д.

Это не соседство или контрастное столкновение поэзии и прозы. Это именно «символ, сравнение» (как перевел Пастернак начальные строки «мистического хора» из «Фауста»). Любая подробность «скучной» и «пошлой» российской жизни, иными словами, «все быстротечное», хоть и застывшее, как высушенная солнцем «степь», – все это живая душа Родины, «песнь травы», – все, даже «всемогущий» Варламов, чья «привычная власть», «сознание силы» и «деловой фанатизм», столь выделяющие этого маленького старого человечка, с синими жилками на лице и картавым голосом, среди других, тоже временных, «быстротечны» и в конечном счете обречены... За Варламовым – Лопахин, которому почти дано это осознать... Вообще-то персонажи Чехова так или иначе понимают все... Потому и жалеют себя. Потому «песнь травы» и выпевает мелодию их общей русской тоски... Мелодия – символ осознания... Как «слезы» Лопахина.

Услышать ее порой бывает непросто. Особенно если текст миллион раз перечитан – избирательно и тенденциозно. Но попробуем снять привычные и поседошья наслоения недавних интерпретаций.

Вера Иосифовна кончила читать свой «большинский» роман о том, «чего никогда не бывает в жизни», и Старцев спрашивает ее, печатает ли она свои произведения в журналах.

«– Нет, отвечала она, – я нигде не печатаю. Напишу и спрячу у себя в шкапу. Для чего печатать? – пояснила она. Ведь мы имеем средства.

И все почему-то вздохнули».

Последняя фраза обычно ускользает от внимания читателя, отыскивающего тенденцию в чеховском «Ионыче». А она, эта фраза, здесь – опорный, устойчивый тон скрытой мелодии. Гости Туркиных, как и сам Ионыч, как и сама Вера Иосифовна, – все понимают, видят и вполне осознают бездарность и бесплодность своего существования и этих встреч в самой «талантливой семье» губернского города С, которая на самом деле так же бездарна, как и все остальные. Они все понимают давно, вот и «вздохнули все» «почему-то»... Все, и Дмитрий Старцев вместе с ними, и Котик. Им, а не только Старцеву, понятно, что роман Веры Иосифовны – о том, чего никогда не бывает в жизни. Вот потому – еще одна деталь! – когда закончилось чтение, «минут пять молчали и слушали «Лучинушку», которую пел хор по соседству в городском саду. И все, – повторимся! – а не только Чехов и его главный персонаж, знали, что «эта песня передавала то, чего не было в романе и что бывает в жизни». Потому и вздохнули, что только что слушали «Лучинушку», а в ней – ту же мелодию... Но в «Степи» ее пела «голенастая баба», а здесь – хор песенников... Вспомним слова песни, ее мотив. Оказывается, они созвучны этой неуловимой «песне травы»... И вот – каждый из гостей семьи Туркиных и они сами становятся неслышными голосами и невидимыми ликами суровой родины – «символом, сравнением»...

Несколько подобных штрихов – и рассказ уже в первой главке приобретает чеховскую тональность, которую не может заглушить изображение «пошлости» и «бездуховности», мещанства, окружающих главного героя, не сбивает «степную» мелодию и повествование о так называемом «падении» Дмитрия Ионыча Старцева... Да, Чехов-художник не может и не хочет угаить пошлость, бездуховность мира обывателей; есть в четвертой главке даже рассуждение (но не чеховское, а приведенное как бы от имени Ионыча, т. е. тоже «изображенное») о том, что такое обыватель, «мирный и благодушный», до тех пор, пока не заговоришь с ним о чем-нибудь «несъедобном»... Все это в рассказе есть (о «падении» скажем чуть позже)... Но непредвзятый читатель, печалясь, не спешит все это осуждать и приговаривать, а «почему-то вздыхает»... Осуждения неуместны, ибо все обыватели города С. и Ионыч, отдельно от них и вместе с ними, уже давно осудили и приговорили себя, но сделать при этом ничего не могут, ибо они знают, как бывает не в романах, а в жизни...

Кстати, они все когда-то читали не очень-то любимого Чеховым Достоевского, скажем, его «Преступление и наказание». Иначе они не отвечали бы недоверием на уже знакомые им «прогрессивные проповеди». Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава богу, идет вперед и что со временем оно будет обходиться без паспортов и смертной казни, то обыватель глядел на него искоса и недоверчиво и спрашивал: «Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?» Опасения пророческие, и мы это хорошо чувствуем

сейчас, столько лет спустя... Мы опять-таки все знаем, все помним, все почти верно оцениваем, в том числе и либеральные иллюзии последних десятилетий. Но что делать? Как все это переменить и поправить? Неужели нам осталось в начале нового века томиться и только ждать – предоставляя себя жизни и времени?..

На помощь приходит Чехов – «Пушкин в прозе».

Благодаря ему чувствуем мы, что как ни тяжок отрицательный опыт, но, если звучит «песня травы», родина еще не умерла и даже в сегодняшних, небывалых ранах «что-то болит, а что-то выздоравливает»... И лучше прислушаться к песне и не торопиться выносить приговор... себе и ей.

Котик назвала Ионыча «лучшим из людей» дважды – при первом объяснении, когда она отказывала ему («вы лучше всех, но...»), и через четыре года, когда смотрела на него «грустными, благодарными, испытующими глазами» и надеялась на счастье разделить с ним его судьбу.

А он и в самом деле «лучший» и остается таким до конца... «Падения» не происходит, но усиливается сопричастность Старцева с общей нашей судьбой... В конце столетия, уже три последние века подряд, включая нынешний, она, общая «ипостасная» наша душа, была на пороге неизвестного обновления, кризисной, элегичной и щемяще безысходной тоски предчувствия под гнетом крушения недавних верований и надежд. «Зной и засуха» высушили степь... «вины не было, но она почему-то просила прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя...» Сострадательный читатель видит, как в духовном мире Ионыча проходят все этапы заверченного столетия. Вот отголоски пушкинской эпохи (романсы на слова Дельвига и Пушкина, которые как бы обрамляют первое посещение Ионычем семьи Туркиных); вот шестидесятые годы – Старцеву выпала участь Базарова, если бы последний остался в живых; а вот восьмидесятые – теория малых дел – работа Старцева земским врачом; и, наконец, девяностые – очевидная исчерпанность сил... Но чеховский герой продолжает трудиться – практика его растет, значит, он не утрачивает опыт хорошего врача; правда, нарастает и горькая, грустная проза, мертвящая душу. «Лучший из людей»... – звучит иронически и в то же время без малейшей иронии – противоречие, рождающее чеховскую интонацию, тем более убедительную, чем менее, казалось бы, она слышна. Проникновеннее всего она в конце рассказа, когда об Ионыче уже все сказано и мы, как об Онегине, знаем о нем довольно, чтобы не желать дальше ничего знать... Так получилось в последней главке, и без того сжатой, благодаря совсем уже кратким сообщениям об остальных персонажах (прием Тургенева-романиста). «...Вера Иосифовна читает гостям свои романы по-прежнему охотно, с сердечной простотой. А Котик играет на рояле каждый день, часа по четыре...» Ионыч уравнился с ними, и его отделенностью от всех лишь подтверждена слитность общей участи – единой, хоть и столь разнообразно выраженной судьбы «суровой родины».

«Пушкинское начало» в рассказе «Ионыч» еще более наглядно, чем в «Степи». Рассказ, равный роману... Да и роман в рассказе заставляет вспомнить сюжет «Онегина», с несколько иным распределением ролей – «счастье было так

возможно, так близко...» Подобные, уже давно замеченные параллели, видимо, неслучайны и все же – внешни... Есть, на наш взгляд, иная, более глубокая близость... Именно она позволит не только лишний раз обнаружить сходство, но и оценить расстояние, пройденное Чеховым и литературой «золотого века» после Пушкина. Здесь вновь нам поможет «степная энциклопедия»...

В ней нет героя, который, как в пушкинском романе, взял бы на себя по преимуществу миссию героя времени. «Лишний человек» Дымов – лишь один из голосов «Степи», его выделение среди других – условно: каждый из персонажей, пусть даже мельком, прорисован как главный, и тяжесть общей судьбы поделена между ними. Все они – как будто бы ипостаси одной души. Или иначе: одна и та же неутолимо живая и страдающая душа, оставаясь собой, являет себя как другая в каждом из них...

При таком «объективизме» трудно или вообще невозможно выделить героя, который именно в себе собрал силы, надежды и боли России, того, в ком Россия осознает себя и как бы перешагивает через себя – в будущее. В романе «Евгений Онегин» таких героев три – сам Онегин, Татьяна и Автор. Они противопоставлены всем остальным, но они и есть Россия. В свое время Белинский именно так понимал «народность» пушкинского романа, быть может, несколько недооценивая в этом смысле образ Автора как особого героя... Нет, как бы ни назывался роман, в каждом из этих троих воплощена «идея русского народа»... И нужно было обладать даром пушкинской гармонии, чтобы так распределить внимание, так почувствовать сродство разных душ, больше того – разнородность, разноипостасность одной души. И вот через романическое предпочтение героя окружающим, через сопоставление отдельной судьбы с эпосом народной жизни в целом дальше надо было пройти путь от «Записок охотника» до «Войны и мира» и «Воскресения» и по-пушкински гармонично снять инерцию книжных акцентов и предпочтений, чтобы распространить найденный принцип на весь полифонический образ России, воссозданный на просторах повести («Степь») или в границах небольшого рассказа («Дом с мезонином», «Ионыч», «Невеста» и др.).

Оглядываясь на весь опыт русской классики и свой собственный, задачу эту решил Чехов. Думается, что «степная энциклопедия» и в самом деле может послужить ключом к его рассказам и песням. В свою очередь, гармоничный художественный опыт автора «Степи», опережая целый XX век русской литературы, сейчас, в десятилетия двадцать первого столетия, на подступах к будущему русскому возрождению, делает желанным, насущно востребованным, если не неизбежным творческий возврат в искусстве слова к поэтическим открытиям Пушкина.

...В ОКТЯБРЬСКИЕ ДНИ...

(ПОЭМЫ)

МАТЕРИ

*Ее улыбка и черты
Асимметричны, как распятые.
Серпов и молотов кресты
Осыпали платок и платье.*

*Ее земное существо
Запечатлелось на портрете
За десять лет до моего
Рождения на этом свете.*

*Как долго я понять не мог,
Что на отцовской акварели
Ее глаза давно прозрели
И рассмотрели мой итог.*

*Наверно, матери видней,
Как, сочиняя эти строфы,
Дойти до собственной Голгофы
И тихо умереть на ней.*

*Но мать неколебима в том,
Что даже если будут плохи
Серпы и молоты эпохи,
Жить можно и под их крестом.*

*Она ведь ошибалась, да?
И я уж с этой мыслью свыкся.
Но мать смотрит с улыбкой сфинкса,
Асимметричной, как тогда.*

ИЗ ПОЭМЫ «МОЛЕНИЕ О ЧАШЕ»

Мое сознание вынута из тела,
Но до конца его я не отдам.
И даже там, где поле опустело,
Господь идет по Мишиным следам.

На горизонте за отцом и сыном
Перед рассветом солнечный пробел.
Христос не умер в этом поле синем,
А, видимо, родиться не успел.
На горизонте появились двое,
Но и Господь не стал еще отцом.
И только ветер шевельнул травую
Перед началом и перед концом.
В таком отцовстве позабыться мне бы.
Перекрой, накрой и одари
Гиматионом голубого неба
Кровавый подвиг утренней зари.
Единственная радость поневоле
И тяжелее, и светлей всего.
И я не Господа увидел в поле,
А ипостась желанья моего.
В моем отцовстве и в моем сиротстве
Преодоление горше и больней.
И я смогу, завидев этот отсвет,
Упасть на землю и прижаться к ней.
И никогда неведомый кому-то
Кровавый подвиг обретает плоть.
И настает особая минута,
Когда на землю падает Господь.
И потаенно и непотаенно
Раскинутые руки распростер,
Чтобы клоками красного хитона
От синевы избавить мой простор.
Отец лежит, лучами пригвожденный,
Измученный, истерзанный вдвойне,
Покуда сын мой, заново рожденный,
По тем клокам идет навстречу мне.
Уже сознание вынута из тела,
Но до конца его я не отдам.
Христос родился. Поле опустело.
Господь идет по Мишиным следам.

ИЗ ПОЭМЫ «РОССИЯ»

Пугать не надо никого
Ни воскресеньем, ни распятым.
Меня и сына моего
Не воскресить и не распять им.

Белеет Иерусалим
И обволакивает, чтобы
Себе прокладывать самим
Свою дорогу к Храму Гроба.

Непробиваемым ступням
Легко, неверие развеяв,
Идти по белым ступеням
Среди арабов и евреев.

Наедине или окрест
Не упадем и не стонем,
Доверив позабытый крест
Непробиваемым ладоням.

В скале мерцает белизной
Захоронение простое,
Где сын лежит передо мной,
Одновременно рядом стоя.

И вот, пока мы так стоим
И пребываем в нашем храме,
Бессилен Иерусалим
Хотя бы что-то сделать с нами.

Одновременно в двух мирах
Я побывал и перепугал
И фимиам, и полумрак,
И железобетонный купол,
И переход, и перепад,
И за пределом, и над краем,
Туда, где сын мой был распят,
И весь от головы до пят
Под мириадами лампад
Уже теперь недосыгаем.

Скажи, могло ли это быть
И не произойти могло ли?
Ты научил меня любить,
Кричать от горя и от боли.
Тебя, мой одинокий Спас,
Убили здесь, на этом месте.
И все равно ты город спас
От гнева и отцовской мести.
И на полу, и в куполах

И осязаемо, и слепо
Явились Яхве и Аллах
К порогу мраморного склепа.
Еще немного, и войдут
Уверенно и совместно,
Сегодня совершая тут
Спасенье Иерусалима.
А для меня страшной всего
Его незримое надгробье.
Мой сын у гроба своего
Стоит и смотрит исподлобья.
Но я его уже постиг,
Ладони и ступни потрогав.
А он мне подарил мой стих
И для меня, и для пророков.
Невероятная стезя
Неузнаваемо-прямая.
От гроба отойти нельзя,
Благословенье принимая.
Но по особому пути
Наперекор моим обрядам
Хочу от гроба отойти
И увести того, кто рядом.
И увести его туда,
Где он со мною будет вместе,
Оберегая города
От гнева и отцовской мести.

ИЗ ПОЭМЫ «ПРЕОДОЛЕНИЕ»

На белизне волшебного картона,
Где прошлого и будущего нет,
Цвета необозримо и бездонно
Произвели один зеленый цвет.
Они пылали в солнечном провале
Под эту грядю голубой.
Они с лиловым небом воевали
И долго спорили между собой.
И, очевидно, это их заслуга
В том, что пока еще закат горит,
Они спокойно приняли друг друга
И создали единый колорит.
Но если поглядеть из поднебесья,
То мне в глаза бросается одно,
Как не одетая словами песня,

Того картона белое пятно.
Заката видимые отраженья
На всем просторе за душу берут.
На здесь художник не нашел решенья
И не вполне закрасил белый грунт.
Закрась его, уже ни с кем не споря,
Мазком одним, твоим или ничьим,
Чтобы он стал неотличим от поля
И от моей души неотличим.

КОРАН

1.
Изнемогая, открыто и прямо
Я отзовусь на призывы Ислама.
И в глубине евразийских пустот
Что-то со мною произойдет.
И состоится глубже и шире
Преображенье в центре Сибири.
И для обычных народов и стран
Кто-то объявит новый Коран.
В этом писании, в этом Коране
Все предусмотрено будет заранее,
И обеспечит сибирское дно
Разным народам ученье одно.
Раньше учение обозначало,
Как начинать обновленье сначала
И обеспечить выбор прямой
Жизнью самой и смертью самой.
Нет ли каких отрицательных знаков?
Рай одинаков, Бог одинаков.
Каждый провал и каждый успех
В том, что исход одинаков для всех.
В новом Коране узнает евразье
Триипостасное многообразье,
Новое тем, что впервые оно
К разным религиям применено.
Новый Ислам не воюет напрасно.
Все правомерно, все ипостасно.
И обеспечено это родство
Тем, что в Сибири нет ничего.
В недрах ограбленного Урала

Нет ни единого минерала.
А за Уралом финиш готов -
Нет Енисеев, нет городов.
В новом Коране сказано много.
Наша Сибирь – прообраз итога.
Люди признают и признают
Этот итоговый абсолюто.
Нынешний Рим погибает без толку.
Запад и Юг поклонились Востоку.
Только у нас широк и глубок
Общий для всех абсолютный итог.

2.

В нашу Сибирь собираются дети.
В новом Коране детей многоцветье.
Сильны и слабы, сильны и слабы –
Все в эпицентре общей судьбы.
Там, новизною неведомой броски,
Энтузиазм проявляют подростки
И, где простор холодней и пустей,
Строят коллайдеры скоростей.
Эти стремления, эти старанья
Прямо предписаны в новом Коране.
А на поверку лучший настрой
Пожран сибирской черной дырой.
Дети оттуда или отсюда
Вооружаются против абсурда.
В мире метелей, чумов и юрт
Кто одолеет этот абсурд?
И удаление, и одоленье,
Похолоданье и потепленье,
И академии, и космодром –
Дело планеты сибирский синдром.
Вам говорю в интернете, на сайте:
Самые лучшие силы бросайте.
Прямо сюда, по сибирскому дну,
Всею планетой, в точку одну.
Поиск Евразии, поиск женьшеня,
Всех нерешенных задач разрешенье
Без разрушенья церквей и могил
Провозглашает новый ИГИЛ.
Этот Коран в зарифмованном слове.
Цель обозначена, все наготове.
Нынешний Рим неутомим
В схватке последней с Богом самим.

Объединение разных евразий
Всем, чем опыт лучших фантазий
Незнаменит и знаменит,
Бога единого заменит.
Кто это знает кратко и длинно,
И без ИГИЛа и муэдзина, -
В новом коллаидере кружится тот
Над эпицентром сибирских пустот.

3.

Неуловимой черной дырою
Цивилизацию перестрою.
Только, пожалуйста, помощи
Красками тундры, шумом тайги.
Выражу суть моих повелений
Жирником чума, стадом оленей.
В этом краю совместится как раз
Многообразие народов и рас.
Думаю о евразийском народе.
Многообразии на исходе.
Эту опасность вдали и вблизи
Останови и преобрази.
Людям присуще более-мене
Ортодоксальное недоуменье.
Жертвуя жизнью всегда и везде,
Мы подошли к последней черте.
Вижу – пора за ум приниматься
В деле сибирских реанимаций.
Оберегай у последней черты
Самосознание мерзлоты.
Скорописью моего палимпсеста
Многое скоро станет на место,
Если Китай прочитает сполна
Эти сибирские письмамена.
Если еще почитать и не сбиться,
Многообразие возобновится,
Да и себя, молодея на вид,
Индия шлоками возобновит.
Чувствую, наша Сибирь закружит их
Золотом этих широт необжитых,
Новых исламов неслыханный стих
Втянет в себя и выпихнет их.
Я говорю и свидетелем буду –
Сколько бы вас ни пришло отовсюду,
Нашей Сибири священное дно
Вы не возделаете все равно.

Армагеддоны ахнут и жажнут,
И поневоле будет распахнут,
Без опасенья, лилов и багрян,
Самоспасенья новый Коран.

4.

Сфера другая, мера другая.
Испепеляя, изнемогая,
Мир окончательно преобразил
В новом Коране Господа сил.
Предуготовил новый предел он.
Бог переделан, мир переделан.
В снежных просторах выход прямой.
Прямо из дома и прямо домой.
В неизмеримости белых простраций
Надо уверенно разобраться,
Чтобы устала белеть и синеть
Снежною снедью белая смерть.
Наш сибиряк, индус и китаец,
Переплетаясь и сочетаясь,
Там, где Коран завершено зачат,
Новый ИГИЛ в мирозданье включают.
Но для сегодняшнего ИГИЛа
Здесь, очевидно, будет могила,
Ибо сюда вслед за нашей страной
Скоро отступит мир остальной.
И в результате кровавого спора
Оба ИГИЛа изведает скоро
То, что в снегах евразийской земли
Мы окончательно изобрели.
Смыслы живут, пути состоялись.
Верно пульсирует снежный Солярис.
Видимо, лучшая из планет
Божий абсурд низводит на нет.
Где вы теперь в политической смуте?
Перечитайте до явственной сути,
Хамидулло, Бахриддин и Мансур,
Новые смыслы огненных сур.
Близкой погибелью окроваваясь,
Помните, вы у меня укрывались,
Чтобы в итоге побед и потерь
В снежной Сибири укрыться теперь?
Вы победили ярость и скрежет.
Кто вас поймает, кто вас удержит,
Вас, кто Коран в ипостаси тройной
Оберегает вместе со мной.

5.

Мы из Сибири спустимся наземь
И, соревнуясь многообразьем,
Хамидулло, Мансур, Бахриддин,
Обе Америки опередим.
Но, повторяя историю ту же,
Не предпочтем потепления стуже,
Или история нам не простит
Африк, австралий и антарктид.
Фундаментально поможет Мансуру
Хамидулло, основательный гуру,
Ярко напишет о них Бахриддин.
Видите, я не остался один.
Кто, совершая божественный вымет,
Нашу Сибирь на поверхность подымет?
Кто, чей народный опыт нажит,
Недра и тайны ее обнажит?
Чья-то рука в пещерах Урала
Этот хрусталь для меня выбирала.
Мысленно ты и поныне стоишь
Там, где сливаются Обь и Иртыш.
Я не питаю напрасных иллюзий
О евразийском всемирном союзе.
И никого нет смелей и теплей
Милых народов Сибири моей.
Вновь раздается далеко и близко
Голос шамана из Ханты-Мансийска,
Вечного Пастэра нарратив
К нашей реальности обратив.
Но континентов и стран панорама
Требует преображенья Ислама,
И всеблагая сибирская весть
Определяется именно здесь.
Все же Восток наш необитаем
Индией древней и новым Китаем,
И в панораме Третьей войной
Он предназначен России одной.
С этим Конфуцием или нирваной
Где наш Израиль обетованный?
В снежной Сибири, неведомый сам,
Восторжествует русский Ислам.

6.

После теракта очередного
Не ожидайте исхода иного.
От заблуждения раскрепостясь,
Вы перейдете в мою ипостась.
Вы изувечены вашей войною,
А в результате станете мною.
И для меня уже староват
Ваш окончательный хазават.
Освобождаясь от крови и скверны,
Будьте поистине правоверны.
Сверстники, смертники в этой войне
Вы все равно перейдете ко мне.
Полною мерой, квантум сатис,
Люди, к Исламу не прикасайтесь.
Или узнаете, каково
Это исламово статус кво.
Необратимо чувствуют люди –
Все ипостасно в моем абсолюте.
Мой хазават углуби и расширь,
Непобедимая наша Сибирь.
Обожествляйте строгие строки,
Истолкователи и пророки.
Я вам того не вменяю в вину.
Будьте во мне и кончайте войну.
А ипостась между мною и вами
Я объясню вам другими словами,
Теми, что были произнесены
Ширью сибирской моей белизны.
Строки Сибири ясны и строги.
Единокровны единые боги
И составляют одну ипостась,
В новом Коране развоплотясь.
В мирном, всемирном, в моем хазавате
Бога по-прежнему называйте,
Будто бы и мерзлота и тепло –
Все от Аллаха проистекло.
Будь, мой пророк, спокоен и краток.
Развоплощаю миропорядок,
Ни от кого не скрывая ничуть
Милой Сибири страшную суть.

7.

Ну а теперь остается о многом
Наедине побеседовать с Богом,
Осознавая вдвойне и втройне
Это вот самое «наедине».

Встречу восьмое десятилетье
Не в петербургском своем кабинете,
А на планете, лютой зимой,
В центре Сибири, в точке самой.
Здесь я последнюю встречу устрою
С Небытием и черной дырою.
А от мороза меня защитит
Снежной пустыни выпуклый щит.

Хочешь отсюда сделать прогулку
К Ханты-Мансийску и к Петербургу?
Но без дорог, собак и унтов
К этой прогулке я не готов.

Как я попал сюда, объясните.
И почему под луною в зените
Бог для меня запредельно простер
Сизого снега звездный простор?
Видимо, Богу необходимо
Необъяснимо и объяснимо
Вообразить окончательный миг
Религиозных фантазий моих.

Грешное тело, души выниманье.
Бог на меня обращает вниманье.
Видимо, верой внутри и извне
Что-то его задевает во мне.

Сгинет ИГИЛ без мольбы о пощаде.
Вы же фантазии воплощайте
Или зимой загляните сюда
И позабудьте о них навсегда.

Наедине от единственной точки
Вспыхнут фантазии-одиночки
И засияют при этой луне
С прочими звездами наравне.

И затеряется возгоранье
Суры последней в новом Коране,
Там, где, величествен и глубок,
Над пустотою плачет мой Бог.

VII. ЗА СТОЛОМ У РЕДАКТОРА

Ю. А. Медведев



ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВ
и
НЕОБРУТАЛИЗМ

(Воспоминания об Олеге Григорьеве)

28.06.2017.



(Ю.А. Медведев. Портрет Олега Григорьева)

Творческие проявления конкретной ситуации не единичны. Это вызовы своего времени.

«Мы ждем перемен», – пел Виктор Цой. А по телевизору заставки: «...Завтра. Все будет завтра.»

«Нет, нет, нет, мы хотим сегодня, нет, нет, нет, мы хотим сейчас».

В начале 70-х годов XX-го века в городе стали возникать постройки в стиле «необрутализма», т.е. сочетания различным способом обработанной стены с гладкими плоскостями стекла. Стиль этот возник в США. Статьи о постройках Луиса Канна и Стирлинга были опубликованы в переводном французском журнале «Современная архитектура» и явились импульсом для выхода из минималистского стиля "хрущоб", попыткой возврата "излишеств", отмененных в 1960 году. Ведь зодчество подразумевает синтез всех видов искусств.

Одновременно явления брутализма выявились и в скульптуре и в живописи. Константин Симул показал фигуры, вырубленные из кирпичной кладки, живописные поверхности холстов Германа Егошина переливались самоцветами при определенном освещении.

«Я взял бумагу и перо,

Нарисовал уют.

Порвал листок, швырнул в ведро –

В ведре раздался стук.»

Это брутальная реакция Григорьева на стихи Маршака:

«Я карандаш с бумагой взял, нарисовал дорогу.

На ней быка нарисовал, а рядом с ним корову.

И я поставил стул на стол, залез как можно выше.

И там рисунок приколол, хотя он плохо вышел.»

На выставке в Доме культуры «Невский» в 1975 году у Олега Григорьева демонстрировался «Пожарный щит», у Володи Некрасова «Обстригатель ногтя», у меня «Сенокос», все в брутальности.

У Александра Арефьева в тюремной серии «красноголовые черные фигуранты» дерутся табуретами, тащат гроб на плечах, «топчутся» вокруг «грибка» часового. Да, грубо, брутально. Груба и тема прихватчиков. Мне удалось построить корпус аэродинамических труб в виде летательного аппарата с круглыми окнами в аудиториях, разделенными поэтажно простенками вполне в духе Луиса Канна, да и с рельефной кирпичной стеной. И очистные на Кронверкском брутальны. Но это производственная архитектура. "Перестройка" остановила этот стиль, однако в Европе он продолжается в творчестве Марио Ботта ярко и скульптурно в гражданской архитектуре в духе Луиса Канна.

После отмены цензуры на выставки в 1986 году возникла возможность выставок и за границей. Множество художников эмигрировало.

Володя Некрасов заявил, что «духовен», может творить везде, называя свое творчество «соцеолитом» и «придуриями» уже в США, мои «бытия» – кухонными разговорами.

На проводах Александра Арефьева я предложил спеть русскую песню, но его жена закричала: «Ненавижу все русское!» И разбили мы с Олегом свои рюмки с водкой вдрызг об пол и удалились. Были у меня до этого разговоры с Сашей, отговаривал уезжать, ведь его начали публиковать французы, показывал эти репродукции мне.

«Нет сил терпения», – говорил он. Два срока отсидел».

Олега Григорьева тоже зазывали в Париж. Сказал ему: «Померкнешь в переводах». И он на это: «Буду умирать в стране дураков». Однако от участия в выставке отказался, заявив, что в стихосложении он сильнее, нежели в рисунке.

Герман Егосин и Константин Симун, бруталисты, объединились в группу «Одиннадцати» Союза художников. Общего объединения неообруталистов», таким образом, не состоялось, по типу «болтайки».

В это время экранизировались мультфильмы на творения Успенского «Чебурашка», Шапокляк, «Крокодил Гена». Изданные детские книги Григорьева иллюстрировались другими художниками, и здесь он лишился заработка. Поселился на Пушкинской, 10, в мастерской Котельникова, сдав квартиру в наем.

Говорил: «Мои книжки равноценны твоим постройкам»...

Были изданы две книги его стихов, одна с рисунками Григорьева, но это уже после смерти.

В автопортрете «Под мухой» Олег дал освещение лица через крылья мухи, тут и двусмысленность налицо. Конечно же, он помнил бронзовую заколку для галстука с рельефом пчелы. Такая гуляла присказка в послевоенные годы: «Бляха муха – это утомленье духа!»

В спорах о величии Олег предпочитал Донателло перед Микельанджело: «Он еще и филигранщик, и часовых дел мастер».

И вот в работе над словом у него появились «фигурические челогуры» сквозь кривое стекло, и палиндромон: «молв лом», «бел хлеб», «лепо пел». А через «Таракан сидит в стакане» Олейникова – «Муха в сладости».

Я перепечатал палиндромон Григорьева через копируку в двух экземплярах с его тетради. И свой экземпляр, и тетрадку Олег утерял, а мне удалось поместить эти опусы в журнале В. И. Чернышева «Русские страницы» только в 2011 году тиражом 8 экземпляров, написав специально рассказ «Город грез».

Применял Олег Григорьев и греко-римскую античность, и старорусское слово, и «Председателя Земного Шара» Хлебникова Велемира.

Таня, сожительница Олега, говорит по телефону Михалкову-мэтру: «Вы лишили Григорьева заработка».

Снова стали публиковать.

«Приезжай! – зовет Олег. – Подарю "Говорящий ворон"». Пока добрался, да отоварился, Олег объясняет: «Раздарил все экземпляры». Потом вынимает из-под матраса экземпляр и карандашом надписывает: «Олегу Григорьеву, дорожному, себе свою книжку». А уже после ручкой: «Дорожному Юре Медведеву Олег Григорьев. 21.6.80. Л-д».

Его обычный розыгрыш. Привык.

Начну, бывало, читать свои стихи, Олег залезает под одеяло, потом выпрыгивает и читает свои.

Вспомнились приходы участкового, опасение за «мерцательное состояние» Гены Устюгова. Я в то время перемогался после ранения. Шемякин называл меня «пырнутый».

Присутствовал я на опере Десятникова на стихи Григорьева в филармонии.

Девочки в розовых, голубых и белых платьях пели «Продавец маков продавал раков» и другое из «Чудаков».

Сережа Сигитов зазывал меня на это представление.

Сижу, попиваю чаек после трудового дня, готовясь встать к мольберту.

Врывается Сигитов Сережа. В бороденке, в очочках. Он ужасен, он профессор музыки, творец разных брависсимо.

«Олега Григорьева схватили, а ты расслаживаешь!»

Выясняется, что Григорьев в "Крестах".

Надо собирать подписи членов творческих союзов в защиту.

Я собрал подписи членов Союза архитекторов в защиту Олега с таким текстом:

В Московский народный суд

Мы, ленинградские архитекторы, знаем и любим творчество поэта Олега Григорьева.

Его поэтические сборники «Чудаки», «Витамин роста», газетные публикации, радио- и телепередачи, пластинки с записью стихов известны по всей стране, дети читают многие его стихи наизусть.

Известна нелегкая творческая судьба Олега Григорьева по публикациям в «Литературной газете» 1981 года. Просим народный суд как можно бережнее отнестись к участи этого замечательного поэта.

Далее десяток подписей. На суде Олег назвал своего участкового «моим домашним насекомым», чем вызвал смех в зале. Судья велел вывести девочку – она зарыдала и сказала сквозь слезы: «А дед ведь тоже смеялся». Но меня не вывели. Я делал зарисовки, а после по ним и двум карандашным портретам Олега после отсидки сочинил картину «*Стихи Олега Григорьева*», которую показывал на своих выставках. Перед последним заседанием сменившегося суда пытался вручить подсудимому цветок, но суд отклонил. Олег воспользовался заминкой, попросил очки, их передали несколько пар. Освободили его в зале суда. Говорю: «Как ты обрелся в камере на восемь человек?» На это Олег: «Так я же умею рисовать голую бабу».

Считал, что с потерей юмора человек умирает. Олег был «дудочкой», к ней не прислушались. Арефьев тоже говаривал, что художник – «дудка бога». У них ловко получались импровизации, например, про паспорт и т.д. и т.п. Добивались хохоту.

Пели с ним подкандальные сибирские песни, да и «Куртизаны, отдайте мне дочь...», причем я вел мотив «пошконно», а он подпускал колоратуры.

Оставался и ночевать, ставили раскладушку. Уходил рано, не используя постельное белье. На мой Stilleben (тихая жизнь предметов) «Стакань» сочинил «Если поставить стакан на стакан...», предвосхитив тем архитектуру «стаканов», к примеру, на Неве за гостиницей «Ленинград».

У Олега собиралась коллекция икон, даже пианино. Все оставляли уезжающие «за бугор». Украли коллекцию – милиция вернула. «Опекала.»

Решился показать пьесу «Прожекторы». «Пойдем к Понизовскому, – говорит, – в театр «ДаНет». А сам пошел ныром-ныром там так, что ноги заторчали в стульях, и схватил аплодисменты актрис театра. Говорил: «Надо нырнуть на дно клоаки и вынырнуть чистым». Вытаскивал. Пантомима.

Вот и я записывал: «Чего народ калибруешь». Говоры.

Я перемогался, лечился в санаториях, пытался построить дом в садоводстве на сто первом километре от Московского вокзала из поваленных там мной осин. А в понедельник узнал, что Олег умер в Мариинской больнице, куда его внезапно поместили.

«Ну как тебе на ветке?..»

Да, киношный «иллюзион» – это не зодчество. Гоголь был теоретиком эклектики петербургской рядовой застройки. К национальному стилю обратились только к концу XIX века.

Еду в трамвае по Купчину. Слышу за спиной критику творцов «хрущоб». Оборачиваюсь и спрашиваю:

– А кем вы работали в это время?

– В райисполкоме, – ответ.

– Вот вы и были заказчиком «хрущоб» – говорю. Человек вышел из вагона.

«На ветке, как и в клетке,

Только прутья редки».

Кто же прогремел в конце XX века? Виктор Цой, Юрий Шевчук. Очереди в Манеж на Глазунова. Михаил Шемякин соорудил «Персону Петруши» в Петропавловке, «Котов» на набережной, "шнырял" в «Щелкунчике».

«Крысы задирают ноги

И начинают так неистово хохотать,

Что лопаются от смеха.»

Так написал Григорьев в стихотворении «Витамин роста». До публикации он давал название этой творе «Как воспитать крысу».

Да, Григорьев вскрыл «язвы».

Но ведь он «выгребал и в чистоту».

«Ложкой мешая в кастрюле,

Сидоров ел крахмал».

Вспомнилось, как жевали жмых, ели кисель из крахмала мы, «дети войны».

Не может поскользнуться,
Кто не ходит, а ползет.

Очень хотелось плакать,
И потому он смеялся.

Он во всем мне подражает.
Очень этим раздражает.

Он к ней под окошко стоять приходил
И умел шевелить ушами.

Один башмак мой чавкал.
Другой башмак пищал.
Покинуть предложили
Мне танцевальный зал.

И был он настолько промокший
И до того босой,
Что я поделился с ним хлебом,
А также и колбасой.

Да, наступила другая ситуация в новом веке, когда девизом стало «качество жизни» и «ты этого достойна». Востребовались «ананасы в шампанском».

«Время молока истекло, наступило время простокваши!» – это у Олега Григорьева.

Есть у него такое стихотворение «Гостеприимство», напечатанное еще в «Чудаках» в 1971 году:

Встаньте с этого дивана,
А не то там будет яма.
Не ходите по ковру –
Вы протрете в нем дыру.
И не трогайте кровать –
Простынь можете помять.
И не надо шкаф мой трогать –
У вас слишком острый ноготь.
И не надо книги брать –
Их вы можете порвать.
И не стойте на пути...
Ах, не лучше ль вам уйти?

Необходим трамплин для рывка русской живописи XXI века. Рисунки Олега Григорьева дают этому надежду. Все эти зарисовки мятых баков, черепков посуды, птиц, грызунов, соцветий трав он собирал для картины «Дети, играющие на свалке». Даже сделал копию с «Обнаженки» Бронзино для летящей «Славы». Но его что-то остановило. Я припомнил детские игры своего детства, игры поколения «детей войны». И решил сам написать такой холст. Олег легко согласился. Видимо, передумал.

Новое поколение художников в новой ситуации даст свое истолкование этим наброскам и в стихах, и в рисунках.

А познакомил с Олегом Григорьевым меня мой земляк – сибиряк Некрасов Владимир Гаврилович.

Однажды он предложил показать мне свои рисунки.

– Так пойдем пораньше, – говорю.

– Нет, нанялся на восемь часов – работай.

По пути с Жуковского, где располагались мастерские «Ленпроекта», на Гончарную Володя остановился, снял ботинок и подвернувшимся булыжником стал забивать гвоздь в подошве. Нашлись и сочувствующие, подсказывали, как вдарить половчее.

Позже я сочинил: «Короче словеса твори и гвозди забивай по шляпку». Олег Григорьев стал говорить: «Насочиняю гвоздей для мозгов». Это про стихи свои.

В квартире обнаружился паренек с птичьими перьями из подушки в шевелюре.

– Кто таков? – спрашиваю Володю.

– Собирателъ речений.

Паренек тут же сказал: «Крыса наструщала, значит нагрызла и растаскала».

Другое я забыл.

Володя выдвинул гроб из-под лежанки с эскизами для «Обстригателя ногтя», актов «Пребывания у ям», «Вынимания штанов», натурными зарисовками.

Так и познакомились. Олег жил у Володи некоторое время после отсидки. Меня стал называть «Чертилло» или «Мазилло», по роду занятий архитектурой или живописью. И себя – «Творяга».

«Простим угрюмство – разве это

Сокрытый двигатель его?

Он весь – дитя добра и света,

Он весь – свободы торжество!» – написал Александр Блок.

Это относится и к Олегу Григорьеву.

Припомнилось. Показал Олегу Григорьеву зарисовки "наколок" на теле, сделанные мной в больнице.

«Как же я не догадался сделать это в тюрьме? – вскричал Олег.

Видел книгу, посвященную "наколкам", это тайнопись.

Достоевский в «Записках из Мертвого дома» в последней главе написал о каторжанах: «Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего, но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно.»

И еще. «Немногому могут научить народ мудрецы наши. Сами они еще должны у него поучиться.»

Вот и воробушек. Крутится под ногами. А засади в клетку – очокурится.

Полагаю, Олег Григорьев знал о чертополохах, увядших подсолнухах в луке, стуле Ван-Гога, "Едоках картофеля.

Брутализм в Англии возник раньше. И Корбюзье (он же Жаннере) работал над фактурой бетона.

.....

Что сказать о выпивке? Олег знал, что я держу бутылочку. Но ведь служба обязывает. Тут хоть круть-верть, хоть верть-круть, а к девяти ноль-ноль надо являться в "присутствие". Становишься под горячий душ, прополаскиваешься и "как огурчик".

Вот нагрянул. Шумит: «Ты бесчеловечен! Выпивку держишь, а курево где?»

Выходит из дверей на лестничную площадку, возвращается, за ушами "по сигарете".

«Спички сжевал!» – шумит.

«Да, вредная привычка...» – оправдываюсь.

Достаю бутылку самогона. А я сколько отопью, столько водой доливаю от неприятностей со стороны жены. Вот и остался лишь запах.

Наливаю полный стакан Олегу. Тот становится, сосредоточивается, делает выдох, и "опрокидывает". Потом смотрит на меня, поворачивается и уходит.

"Пожарники" – те, кто бегают за водкой. Поэтому держал в шкафчике бутылочку для лечения от нервовтрепок. И Олег это знал.

Другой случай.

Взялся читать из Горбовского. «Встают мертвяки на зарядку», затем «поезд с мясом сброшу с откоса»....

А тут кошка прыгнула на подоконник. Олег ее хват и выбросил, с седьмого этажа...

Жена в рев, сын в рев, бросились в дверь. Я схватил Олега за шкирку и тоже в дверь... выбросил.

Оправдывается: «Кота своего бросал в окно»... Но это ведь бельэтаж! Его кот не любил запаха носков...

Нашу кошку спасли ветки деревьев, за которые она цеплялась когтями.

Всякие случаи бывали. Заходил Олег и без меня днем. «Ну и что, что тесть твой в кальсонах, выпили с ним. Я всякого повидал!»

Никто и не спорит. «Вот в "Крестах" за девять месяцев в камере перебивало до трехсот человек. И каждый считает себя невиновным.»

«Давай, споем! - говорю. – Первейшее дело – пень.»

И пели. Помогает это не впадать в мрачноту.

А вот мата я от Олега никогда не слышал, тут свойство природное. Философ Бахтин считал мат последним оружием в бессилии, искажением слов противника, перевертышами...

ОБРАЗЦЫ АРХИТЕКТУРНЫХ СООРУЖЕНИЙ НЕОБРУТАЛИЗМА

1. Ю. А. Медведев



Корпус аэродинамики физического факультета СПбГУ



Здание очистных сооружений завода «Мезон»

2. Марио Ботта (швейцарский архитектор)



Façade for the parish church in Genestrerio, Ticino , Switzerland _01



campari_Botta

3. Луис Канн (американский архитектор)



1965. Калифорнийский университет



Благотворительный фонд помощи детям

Анкета о революции из нескольких вопросов

1. Является ли Русская революция симбиозом или синтезом нескольких принципиально разных революций: **национально-освободительной** (антиимперской, восстанием инородческих окраин – каковой характер отчасти был и у Французской революции); революции **буржуазной** (антимонархической, республиканской, преимущественно направленной на политическое освобождение буржуазии), и революции социализма (не столько пролетарской по Марксу, сколько **социально-освободительной**, направленной на экономическую независимость крестьянства от дворянства и рабочих от феодальной буржуазии).

В сфере ДУХА это еще революция антиклерикальная, своего рода особый тип протестантской революции, направленной на освобождение личности – от клерикального подавления, от "кабалы святош"? – хотя сам вопрос в своей постановке почти очевидно требует только положительного ответа, именно это Революция против государственной власти Русского народа, против монархии как политической формы правления, против христианства, против буржуазии и дворянства)

2. Является ли Революция одновременно политическим Заговором враждебных России сил, к которым принадлежали государства как противоборствующие России в войне (Германия) так и союзные с ней?

3. В этой связи какова Роль масонства и еврейства? К чему они стремились? К разрушению Российской империи? Но зачем? Что выигрывали евреи от победы немцев над русскими? Что выигрывали масоны?

4. Или это еще и плохо осознаваемая духовно-освободительная революция интеллигенции против государственного симбиоза христианской церкви и исторически сложившихся сословий, которые удерживали свою экономическую и политическую власть только за счет духовного подчинения человека особенной кастовой идеологии, принципиально той же, что и идеология большевиков, соединенная с партией и учением Маркса, как в христианских государствах соединялись духовенство и церковь, монархия и аристократия с Новым заветом и Богословием и подчиненной христианству культурой (хотя в 18 и 19 веках шла подпольная борьба культуры против религии)?

То есть это Революция Культуры против Религии?

Но тогда надо сформулировать конечные цели Культуры и Религии.

Целью Культуры, возможно, является духовное освобождение человека и расширение влияния человека на мир, так сказать, ГУМАНИЗАЦИЯ МИРА. Целью религии является сохранение статус-кво, консервация старого (сложившегося) порядка вещей.

Глобальная ошибка в критике культуры состоит в том, что культура привязывается к рационализму, к интеллектуальному объяснению мира, истории и человека, а религиозно-архаический взгляд на историю и на бытие якобы является *органическим*, то есть отождествляющим человека с полной и развитой и произрастания, с пониманием человека как мыслящего и *чувствующего*. Но именно религия отнимает у человека его органическое, его

тождественность Природе, одновременно уродливо подчеркивая в нем НЕприродное, связывая его с Творением (хотя эволюция сохранила в человеке всю природную архаику, даже ЭРОС рассредоточен по телу в человеке, как у низших существ, и, как кажется, никакого приоритета Духу нет в Акте природного творчества)

Девяностые годы в этой связи являются КонтрРеволюцией и Реставрацией с одной стороны феодально-буржуазного монархизма предреволюционного типа, с другой являются доразвитием буржуазно-освободительной революции и разрушением монархизма византийского типа (сталинизма, большевизма), с третьей являются победой клерикализма по типу римско-католической империи – то есть являются соединением трех разнородных сил.

5. Или Революция – неизвестно почему и зачем налетевшая на народ и государство БОЛЕЗНЬ, своего рода природное явление, буря, ураган, засуха или проливной дождь – по какой причине человек заболевает, понять невозможно, чаще всего на ровном месте, вдруг дунуло в окошко, повеял ветерок на улице – в то время как не заболеваешь, померзнув насквозь в пургу Ии провалившись в прорубь...

6. Не хотелось бы в перечне возможных причин упоминать о «божьем наказании за грехи» – тогда надо и медицину как учение об отклонениях в развитии и о стрессе (переутомлении, переохлаждении и т.п.) переписывать с точки зрения «борьбы Бога с дьяволом», которая, таким образом, из сердца переносится в тело человека и в его душу – но поименуем для полноты Анкеты и вмешательство Неба в земные дела...

7. И что же делать русскому человеку и на что надеяться? Если почти все бессмысленно слоняются по палубам тонущего корабля, не пытаясь даже сделать попытку хотя бы понять происходящее?

Но, может быть, помимо профессоров истории, пишущих о революции по производственной необходимости, найдутся горячие сердца, которые еще бьются, болят и томятся, которым дорога Россия и они хотят понять историю, чтобы найти выход из мрачных скал, из гнилых болот, из разрухи культуры и цивилизации к добру и свету? Жду хотя бы одного отклика...

Редактор

ОТКЛИК ПЕРВЫЙ

Анкеты бывают разные. Бывает, в поставленном вопросе отчасти содержится ответ. Составитель вопросов определяет некое русло, своеобразное «от и до», в которых анкетированный соглашается изложить мнение, сообразно предполагаемой и понимаемой им глубине, ширине и скорости течения мысли по поводу обозначенной проблемы. Русло, очерченное В. И. Чернышевым, подобно волжскому разливу, неохватно. Оно и несоразмерно тварному взору, на излёте только и обнаружившему тщетность усилий достичь хотя бы середины Днепра. Что и говорить о восторге, переходящем в ужас, человека, наблюдающего вздыбленную поверхность ноябрьской Невы. Тем не менее, отправимся...

1. Если исходить из самого слова «революция» – «откат», глобальный отступ от имеющихся социально-политических, религиозных и культурных норм, – то русская революция – это сгусток, серия порывов к разного рода туманным идеалам народов России; это колоссальная энергия масс, вспышка *вольницы*, сметающей всё и вся на своём пути, энергия, переходящая в конвульсии, в «мозговую судорогу». Ради чего? Ради возврата к истокам – к чаяному справедливому мироустройству. В русской версии это странное сочетание братского отношения человека к человеку (братья во Христе) и отношения корыстного – к ближнему. Стоило большевикам бросить клич «грабь награбленное!», как тут же многими и многими были забыты христианские заповеди.

Воля как целенаправленное действие, и *воля* как ничем не сдерживаемое разбойное отношение к себе, к окружающему миру, к вековым устоям – вот две стихии, которые создали революционный смерч, закрутивший Россию.

2. «Политический заговор» – естественное состояние между государствами, проявляющееся в той или иной форме. Нет ничего необычного, что государства имеют свои интересы в сфере экономики, прежде всего. Реализовать свои интересы за счёт ослабления «партнёров» – это данность, норма политики. Поэтому не стоит сбрасывать со счетов степень заинтересованности иностранных государств в максимальном ослаблении России. В то же время, видеть корень проблем, приведших к русской революции, исключительно во враждебной активности зарубежья, значит, проявлять непростительную нечуткость к колебаниям «русской почвы и крови».

3. Роль масонства и еврейства в русской революции освещена, пожалуй, чрезмерно. Евреям свойственно распространять о себе мнение, как о гениальных финансистах и организаторах, светочах культуры и искусства, людях целеустремлённых, способных противостоять всему, что не соответствует их традиционному укладу, ради наживы готовых стереть с лица земли какое угодно укрепление – социальное, культурное, религиозное и т.п. Миф всеильного еврейского гения, очевидно, имеет под собой реальное основание, однако, как любой миф, он зиждется на сказочных преувеличениях. Выгодно рьяным современным монархистам кивать на *емельянов*

ярославских, инородцев, выступавших против Русской Православной Церкви, натравивших православных на неё, как на одного из главных угнетателей народа. Невыгодно признать, что охотно рушили и оскверняли храмы толпы русских людей, которые, что, прямо-таки по Пушкину, были рады обманываться? Семена мира и любви Серафима Саровского, оптинских старцев, Иоанна Кронштадтского пали на каменистую поверхность русской души («Россия была крещена, но не просвещена»).

Масоны подобно еврейству имеют собственный миф о безграничном влиянии в мировой политике. Одна из главных целей масонства – уничтожение национальных государств, монархии и традиционной религии как их сильнейших скреп.

Обе эти силы вкладывали значительные финансовые средства в ослабление морально-нравственных устоев всех слоёв российского общества. Но не только деньгами вербовали они бойцов, потрясающих устои Российской империи. Так не нажился, например, Куприн на обличении пороков царской армии, а просто на душевном подъёме, под одобрение прогрессивной общественности написал «Поединок», оплевав русское офицерство. На сегодняшний день эта повесть получила четырнадцать экранизаций, следовательно, на неё до сих пор есть социальный заказ, и режиссёры его выполняют также не по заданию масонов, а по зову сердца. То, что забывается простая истина: если ты не желаешь кормить/уважать свою армию, ты будешь кормить чужую, – пустяки, главное по-солженицынски реализовать право первого плевка. Многажды оплеванные, как это часто бывало в России, впадают в паралич воли, и тогда заинтересованные силы (если речь о масонах и еврействе, то и они, конечно) получают искомые выгоды – политические, экономические и прочие. А самооплёванным – что им остаётся? искать козлов отпущения, благо всегда под рукой масоны да евреи. В любом случае выгода одна – направить как можно больше потенциально здоровых сил на совершение деструктивных действий или, что тоже неплохо, посеять апатию в широких слоях общества.

4. Культура против религии? Это произносить можно только с улыбкой. Мефистофельской или монашеской. Дело в том, что люди, как правило, рождаются талантливыми, Господь никого не оставляет бесталанным. Многие даже относятся с уважением к своему таланту и прикладывают усилия к его росту. Есть такие, кто уважает и чужой талант. Русский человек талантлив, в этом, помимо жизненного опыта, порукой отечественная литература, богатая примерами. Небогаты только мы по части культуры. Она редко встречается даже в среде артистов (деятелей всевозможных искусств).

В этом вопросе много лукавства и самооправдания. Культура – не что иное, как дисциплина, а по этой дисциплине русский человек в массе своей не вполне успевающий. Поэтому он мог религию признать или сделать вид, что признал мракобесием со всеми вытекающими последствиями.

5. Этот вопрос, пожалуй, больше других содержит ответ: да, революция – это болезнь. Причём такая, в основе которой порочные склонности ко лжи, пьянству, распутству... Лекарь (Священное Писание) предупреждает о возможных последствиях, но тщетно: нашёптанное бывалым просвещённым

(Люцифер – ангел света) «если очень хочется, то можно», нивелирует чувство самосохранения.

6. Вообще, Бог не наказывает. Он дал человеку свободу воли. Не хочешь свободы со Мной, воля твоя, – говорит Он и отступает в сторону. И самообезбоженный – безбожник – тут же оказывается мировым сиротой, Иваном, не помнящим родства. Безродному всё нипочём, «никого теперь не надо нам, никого теперь не жаль».

7. Рецептов «что делать» русскому человеку достаточно было выписано. От Достоевского, возвещавшего о всемирной отзывчивости русского – парадоксальное – обузять его широту. От Розанова – как что делать? – если лето, ягоды собирать и варенье варить, зимой чай с вареньем пить. По Толстому – хочешь-нехочешь, а «надо жить, надо любить, надо верить», опять-таки речь о дисциплине, культуре, то есть. И уже в наше время Андрей Тарковский, говоря об авангарде, заявил – страшно повторить, – что любое движение в искусстве в эту сторону есть ложь.

Пожалуй, это очень важно не предаваться лжи. Ни во имя искусства, ни во имя человека, ни за, ни против чего или кого-либо. Учиться распознавать ложные болотные огоньки, мнящиеся в потёмках звёздами, сложная наука. Без её освоения революции неизбежны.

Александр Медведев

ОТКЛИК ВТОРОЙ

В. И.! спала 2 часа, работала в общем с уборкой 11, завтра опять с утра до вечера, всё это чтобы было где жить и что есть. посему ответ шуливо-честно иронично правдиво-непонятный. *Маргарита Токажевская*

Признаться, вопросы сложны для восприятия поэтки польско-немецкого происхождения, родившейся на просторах буранного Карлага в 1961-м году, ровно в этом году моя мама, 6-летним ребёнком в 1942 году интернированная как поволжская немка в Казахстан, перестала отмечаться в комендатуре. Ну, это отдельная повесть. Тем не менее, росла я как все советские дети, ура-патриотичной, так в школе игрово подавалось всё, все эти слёты. Выступления на праздники рядом с президиумом, я ужасно трусила всего этого публичного, ничего хорошего не получалось у меня. Моя единственная оставшаяся в живых польская бабушка ненавидела коммунистов, отец , потомок польского дворянского рода, родившийся ещё в своём имени, в коммунисты равнодушно не вступал, хотя был инженером совхоза. Я же была активным борцом за всякие правды, потому меня до поры избирали. Мне кажется, в такой разнообразно-национально-конфессиональной стране, с преобладанием феодального устройства и крестьянских хозяйств революция вроде должна быть стихийной, но при достаточно консервативном характере быта и духа крестьян, дворян и даже рабочих без масонского заговора, жадных иностранных буржуев (как ни грабь, а из России всегда найдётся что черпать, правда, людей теперь маловато...), талантливых еврейских командиров и бандитской

гопоты ничего бы не вышло. Роль личности в истории, личности-таки были. И Ленин, и что уж греха таить, Троцкий, и поэты подпели, многие разнокровные, евреи были, но и немцы само собой. Хотя писали по-русски. А кто не мог писать «Впереди Иисус Христос», шили флаги, рыли окопы, голодали в пользу бандитско-настроенных революционеров, самые честно-идейные якобы пили морковный чай и ходили в заштопанных пиджаках. Весело было. В 1914 году в Питере было 2,5 млн. человек, в 20-х не более 1,5. Народ по войнам, по югам, в Константинополь не отдыхать, а выживать поехал. Ну кто выжил. А кто умер ли, расстрелян тоже по всяким запискам пьяных кого? Всегда разных. Что это было? Зачем? Можно стукнуть себя по какому-нибудь месту и сказать – чтобы я сейчас тут витийствовала. Но всегда были войны и революции. И не всегда они были нужны. На примере нынешних цветных мы видим, что всем дирижируют. Вероятно, раньше по причине не массовых средств информации не всем было это ясно. Всегда больно и обидно, что если у нас лес рубят, то не для строительства, а в щепки. Теперь уже склеивая их в ДСП. Кто как сообразит, так и расшифровывайте. Ну не умеем мирно начать обучать грамоте, а многим и лень бы было, а так надо, поучимся. Теперь вот совсем не понимаю того, что все своих чад, которых и читать-то плохо научили, суют в институты, а по выходе путь в Макдональдс официантом не самый худший. Как тут не вспомнить спор Пьера и Андрея на мосту.

Что делать. Простите мне, но я всегда считала, что работать... На себя, а таким образом и на страну. Если у меня дом будет крепкий, дети воспитаны, ага, в традициях уважения к культуре своего и иных народов, шить-вышивать будут, а так же столярничать, читать, петь (что было массово в старой России), то и в стране не станет от этого хуже. Извините, лень сейчас процветает во всё... Некоторым лень чувствовать, общаться, если на улице предупредительно как-то себя поведёшь, смотрят как на дурака, а уж если предложишь не хватающий рубль, аж с кулаками лезут, да я сам сейчас 5 тыс достану и мне 4999 сдачи дадут. Чванство, невоспитанность, неприветливость... ух, возрастают. Вчера вела на пару с Вл. С. вечер, посвященный выходу сборника «Поэт и революция», так на меня напали, словесно, конечно, получили призыв вспомнить о собственном дворянстве и угрозу обидеться и уйти, мне пожелали это сделать, спала я после этого 2 часа, работала с сотней детей 10 часов... Заметьте, я сама этот вечер заявила. Ну не до революций мне. Мне бы за все аренды заплатить и чтобы на кофе и кашу осталось, а как дальше, не знаю. Жилищная очередь не двигается, придумали всякие системы, которые не работают, после второго пришествия сожгут в крематории, много и не заявляю. За что боролись? За что косили целые народы в ссылках и лагерях, снимали с насиженных мест. Разделяли родных... Убивали священников. Ну убивать-то зачем? Варварство, да и только. Думаю, 20 век самый кровавый, кто бы ни был виноват, немцы или японцы, а своя голова на что? Про пивные заводы, заключившие наш город в блокаду, повторяться не буду, вот тут я хочу стать *тектористкой* и всё это раз и навсегда *взрвать* [оксюморон. Ред. *Пояснение для Цензуры*], дома пиво варить точно никто не станет. Компоты легче, особенно если год яблочный. Лозунг «Всем по даче» неплох, но у многих всё поросло брянном...

ОТКЛИК ТРЕТИЙ

В. И., ничего себе анкетка! На кандидатскую диссертацию тянет... А времени, как всегда, нет. Вопросы глобальные и интересные.

Попытаюсь обрисовать свою абсолютно ненаучную кочку зрения.

Мария Амфилохиева

Мне представляется, что Революция – именно стихия, природно-космическое явление, электромагнитная буря. В этом отношении мой ближайший союзник – Александр Блок. Помните: «Ветер, ветер – на всем Божьем свете!» Ни за что не поверю, сколько бы ни писали об этом, что русская революция – это следствие какого-то международного заговора и только. Впрочем, заговор не исключаю, но он даже не вторичен, он мог быть лишь одной из составляющих глобального процесса. Здесь в союзники беру уже Льва Толстого: «Ничто не причина, причина есть совпадение множества причин». В общем, представляется мне все так: где-то в космосе зарождается мощное колебание, которое, доходя до нашей планеты, вызывает на ней всеобщую тревогу и смуту. А далее подключаются все пассионарии (см. теорию Льва Гумилева). И вот царь отказывается от престола (не пассионарен Николай II, увы). И в конце концов пассионарный Владимир Ульянов-Ленин заявляет: «Есть такая партия» и делает решительный шаг вперед.

Революцию начинают романтики. Я прекрасно помню конец 80-х годов прошлого века, когда, по сути, тоже назрела какая-то буря. С приходом Михаила Горбачева началась у многих (говорю в первую очередь об интеллигенции) истинная эйфория. Настолько «благословенный» застой уже тухлятиной провонял, что перемены – любые – воспринимались как шаги к лучшему. И многим казалось, что вот теперь «мы наш, мы новый мир построим» – собственными руками и умом. А народные фронты на районно-городских уровнях? Это же песня была. Собирались молодые люди (кому за 30 в основном), детей приводили маленьких, потому что их оставить дома не с кем было, спорили, смеялись, под гитару пели, «чушь прекрасную несли», верили... Я в те годы жила в Забайкалье, в большом рабочем поселке, работала в районной газете, училась в Чите на факультете, созданном для работников средств массовой информации (как это ни забавно – в рамках Университета марксизма-ленинизма). Летала в родной Ленинград-Петербург. Походила на заседания районных народных фронтов... Обзор был не «сверху», а «снизу», но довольно широкий. Чудесное было время! Но недолго. Года через 2-3 все свернулось и стало затухать.

Затухать, потому что иные рычаги начинают действовать. Появляются какие-то новые силы, которые направляют пассионарный порыв в иное русло. На подсознательном уровне ощущается ужасно. С болью. На сознательном приходит кто-то вроде Черномырдина и произносит историческую фразу: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Вот в этом «как всегда» и приходится жить.

Присматриваясь к событиям на Украине (ну или в Украине, бог с ними, с

традициями русской грамотности) вижу те же периоды и те же закономерности. На Майдане первой волны тоже было много молодого оптимизма и радости. А что потом получилось... Кровь, раздор, разборки, и никто не прав, как во всякой гражданской войне.

Мир – большая коммунальная квартира. Поэтому в одной отдельно взятой комнате возникающая ссора обязательно становится всеобщим достоянием. Вмешиваются, пытаются советовать, мирить или наоборот подстрекать, кто-то плачет на кухне... Евреи, наверное, ничего не выиграли. Масоны? Это им виднее. Я не специалист в этом вопросе.

Культура и религия? Так ведь религия – часть культуры. *И хорошо, когда она остается в этих рамках и не пытается претендовать на большее!* Иначе бескультурье получается и костры инквизиции. Впрочем, мы живем в мире подмен. Ни религии, ни, наверное, даже культуры в чистом виде нет. И ту и другую пытаются использовать структуры власти. Как маску, скрывающую истинное лицо. Или как удобную форму влияния на сознание. И правильно делают – хороший рычаг получается.

Между прочим, идея отделения церкви от государства – идея правильная. Кто бы еще и культуру от государства отделил официально? Впрочем, это всегда было, только негласно. Официальная, поддерживаемая государством культура и попытки художников быть от нее независимыми. Кстати, в том, что сейчас могу вот так отвечать на эту анкету и даже увидеть потом мои размышления напечатанными (пусть хоть малым тиражом), я вижу величайшее достижение нашего времени. Надолго ли такая возможность дана – бог весть.

Проблема в том, что без меценатской поддержки культура (вернее, искусство – я сейчас о нём) редко выживает – слишком оранжерейное растение. А меценат самый крупный – опять же государство... Круг замкнулся...

Подбираюсь к концу анкеты. Извечный вопрос «Что делать?» Поскольку он извечен, ответить продуктивно невозможно. Детей надо воспитывать гуманистами – приличными, порядочными людьми, умеющими думать и работать, что и пытаюсь делать как преподаватель литературы. Вдруг да их количество в процентном отношении увеличится – и что-то измениться начнет в мире в лучшую сторону? Утопия, конечно... Ведь воспитывает не только школа и не столько школа, сколько жизнь. А она... разная. И книжная мудрость, книжный гуманизм еще никого не спасали. Но если не напоминать о них – вот тогда совсем темно станет.

Стихи Ольги Мальцевой

Русские

Мы запрягаем по старинке долго,
Берём разгон на краешке судьбы,
В чужих ошибках мало видим толка,
Но знаем – строже сердца нет судьи.
И на ступеньку быстрого вагона
Запрыгнуть успеваем на бегу:
Нам нужен час отчаянья и стоны,
Чтоб за счастливый миг не быть в долгу.

У набережной лейтенанта Шмидта
Нева к зиме готовит якоря,
Над плитами холодного гранита
Порывисто дыханье ноября.
Норд-вест несёт сырые хлопья снега,
Вздыхает порт, в унынье погружён.
И слабый луч не проникает с неба –
Закончен навигации сезон.
И загнанные снежной шугою,
Как призраки, застывшие вдали –
В печали, с непокрытой головою,
Погибших вспоминают корабли...

Новые Записки Редактора

21 октября, суббота, благословенный день, 10-35. То, что я написал до сих пор о жизни в обществе – не совсем жизнь, ибо подлинной жизнью является «частная жизнь», у каждого своя, а когда смерч, вихрь, буря, война, государственное принуждение или океанское течение вовлекают человека в жизнь общую, то он мало живет подлинной, то есть своей частной жизнью. Ее вы найдете в литературе, в пьесах и романах, в рассказах и дневниках (и события этой обыденной жизни чаще всего незначительны, ибо у большинства и вся жизнь незначительна – но ощущение незначительности возникает в большей степени оттого, что тускло и посредственно само описание происходящего: вот, например, я смотрю на березу у ручья, на которую налетел неожиданный вихрь: она задрожала, наклонилась, выпрямилась, какая-то неодолимая сила снова потянула ее в сторону и вдруг она начала падать как сраженный пулею человек – если бы я смог передать в рассказе чувство внезапного ужаса, которое как вихрь и меня заставило задрожать, по другому бы увиделось и столь незначительное событие, как падение березы. Оказывается, и огонь в печке, и то, как трещат обнимаемые пламенем дрова, и дождь за окном – все гораздо интереснее, чем описанные в дневнике, надо только добиться того, чтобы описание передавало полноту чувства, а не плоскую картинку внешнего происшествия; но в истории, философии, социологии нет частной жизни, следовательно, почти нет жизни, как нет ее в тюрьме, на войне, в тяжелой болезни, в плену, как нет ее в гробу и в монастыре, на столпе и на эшафоте (при том, что подчас именно там человек поднимается к небесам и озаряется молниями, но, увы, молниями озаряются единицы, а большинство прозябает. Мой отчим **пешком** дошел от Байкала до Берлина, стрелял, надеялся, что ни в кого не попал, в него не попали тоже, со многими миллионами составлял тяжеловесную массу армий, которые давили своей массой, движением, огневой мощью, способствовал таким образом поступательному движению военной машины на Запад, умерял ее порыв перед тем на Восток, и только после войны, возвращаясь в родную деревню, два километра подъехал на телеге). Но частная жизнь существует в быту, в повседневности, при родах, в игре, в школе, в семье, рождении детей, в работе, в смерти, на похоронах, после смерти... Что существенного сделал мой отчим (я вспоминаю его с неудовольствием)? Кто-то скажет, что и военные заслуги его незначительны? – но было убито на русском фронте четыре миллиона немецких солдат, а стреляло в них двенадцать миллионов русских солдат, следовательно, попал только каждый третий – однако, если бы не вся эта гигантская человеческая масса, которая давила немецкую силу, не успели бы и не смогли бы выстрелить и те три миллиона, которые стреляли не зря. Да все стреляют не зря, гигантское количество артиллерийских снарядов, мин, гранат, гусениц танков, копыт лошадей, штыков и прикладов совокупными усилиями сплавляли нашу победу. Итак, воевал мой отчим самоотверженно и хорошо, никогда не болел, бежал в атаку на Безымянную

высоту, откатывался назад вместе со всеми, помогал лошади вытащить из грязи застрявшую повозку с снарядами, стирал портянки в наполненной водою воронке из под снаряда, зашивал дыры на гимнастерке. После войны у него родились дети, сначала от законной жены (конечно, заслуга его в этом лишь косвенная), потом от незаконной, в конце концов он умер (мог бы еще и жить, но пил много). И все же родился и мой брат Саша (который уже тоже умер), у него родилось двое детей, одного я пытался научить читать (как когда-то научил читать Сашу), теперь он уже взрослый, я думаю, что он вырос интересным и умным человеком, такое впечатление тонкого мальчика сохранилось у меня от тех дней нашей встречи. Мой отец воевал успешнее отчима, командовал минометным взводом, занял Безымянную высоту, потом ее отбил противник, отец отправил своих солдат в тыл (по приказу командира полка), а сам остался прикрывать их отступление. Солдаты спаслись, отец погиб, на следующий день высота была снова занята русскими, его похоронили в индивидуальной могиле (на каменной сопке, я пытался выковырять на ней лунку для креста, пришлось крест укрепить меж камней).

Итак, отец совершил **подвиг** (в христианских житиях говорится и о подвигах христианских подвижников, например, Мария Египетская вдруг перестала грешить, что вспоминается почти две тысячи лет. Если бы мой отчим бросил пить, то, по моему мнению, это было бы подвигом не меньшим, хотя, увы, о нем в христианских святцах никто бы не сообщил, ибо прославлялось только почти одно: мужчины и женщины отказались обнимать друг друга и рожать детей.) Вчера я прочитал в газете о мужчине, у которого погиб ребенок, отец долго был безутешен, пока не взял из детского дома двух братьев; четырехлетний мальчик спросил: «Как это дядя хочет нас забрать? Разве так бывает?» Потом подбежал, обхватил его ручонками за ногу и спросил: «Ты теперь наш папка, да?» «Конечно же, я ваш папка», ответил мужчина, а у самого комок застрял в горле.» (И у меня не проходит).

Жизнь наша наполнена трудом и милосердием, все женщины трудятся и рожают и воспитывают детей и мужей, все мужчины трудятся, не всё в их повседневном величественно и достойно внимания – и все же великий народ переносит бедствия, одерживает победы, строит и восстанавливает порушенное – **душа народа** и большинства сограждан не подвержена гниению, и ржа ее не ест и моль не истребляет. И что это так, видимо и в труде, и в подвигах, и в творчестве и в научных открытиях, в песнях и в музыке, в зодчестве и литературе – и хотя книги пишутся немногими, каждым по отдельности, также создаются симфонии и песни, живописные полотна, также доказываются математические теоремы, но я непосредственно ощущаю, как холод и влагу, как жар и свет, что все те книги, которые я пишу, соединяют в себе то множество выдающихся людей, которое меня наполнило культурой и воспитало, вмещают в себя их опыт и жизнь, народную память и традиции моего народа, мою таежную деревушку Корневище, Нижнюю Пойму и Решоты (где я учился в школе), которые помнят сотни тысяч российских и иных стран заключенных: моя жизнь и мой опыт отражаются в моих книгах,

но все моё – это все то, что принадлежит моему народу в целом. И даже, лишь отчасти преувеличивая, я скажу, что никому кроме своего народа я не обязан самим собою, и ничью память, ничьи традиции, ничью еще музыкальную стихию, ничью боль и надежды я не выражаю. Главное во мне (как и в каждом человеке) – это **Мера "вещей"**, *способность отличать добро от зла* (то есть нравственность), *способность чувствовать красоту* и отличать ее от неблаголепия (то есть эстетика), *способность рассуждать* и делать правильные выводы (то есть логика) – несомненно, что все эти способности перелились в мою душу из души народа еще до четырех-пяти лет, пока еще я не умел читать (но я уже понимал и испытывал любовь, сострадание, восхищение гармонией, размышлял и разговаривал. Однако, я еще не умел читать, и все мои знания были не из книг, даже Библию (с иллюстрациями Доре) я открыл только в семь лет (у моего крестного). Может быть, моя крестьянская деревня учила меня катехизису, правилам добра, заимствованным в Заповедях Моисея (это те самые заповеди, которые наши нынешние просвещенные православные считают христианскими)? Нет, церкви в нашей деревушке не было, священника тоже, жители были крестьяне, высланные из западных губерний в холодную Сибирь за то что воевали, кто за белых, кто за красных, но все были подозрительны для большевистской России, потому что были крестьянами. И именно тогда я понял, что новое «самое справедливое в мире государство» ненавидит русских крестьян и всемерно их уничтожает. Итак, я аккумуляровал в себе (соединял, вмещал) весь русский народ, сначала родную деревню, потом и всю Сибирь, наконец и псковских и вологодских, новгородских и питерских, и писать я был обязан не свое единственно личное, а наше **общее**. Правда, я понимаю, что пока я только в начале пути, и если я не успею *увидеть, услышать, понять, заговорить* – то жизнь моя окажется напрасной (как думал апостол Павел, что "жизнь его и вера тщетны, если Христос не воскрес", отрекаясь от своего народа и его веры во имя одного, явившегося ему на дороге в Дамаск).

Жизнь наша, тем не менее, сложна и трудна, Крестьянская Россия продолжает сокращаться как шагреновая кожа, деревни и села исчезают с лица русской земли, пашни зарастают лесом, а в южных провинциях коренное русское население изгоняется или разбегается само от притеснений «понаехавших» (как иногда называют мигрантов) – не новое ли монгольское иго растет над Россией? Я не делаю выводов и не навязываю своего мнения читателям, я только читаю газеты и книги и иногда выписываю из них то, что меня задевает: «на днях Московский суд приговорил бизнесмена-мошенника за аферу на два с половиной миллиарда рублей к пяти годам заключения ... но тут же освободил его из-за истечения срока давности... И все это под пустые разговоры о каком-то возрождении России, о вставании с колен, о патриотизме... Когда от представителей верховных властей – пишется в газете «Крестьянская Русь»... раскатывающих на дорогах иномарках, слышишь слово "патриотизм", хочется взять кляп и заткнуть этим болтунам рты. И это самое безобидное из того, что хочется сделать...

22 октября, воскресенье. Вначале я хотел написать нечто вроде «Последнего слова», как если бы меня собирались приговорить к смерти и расстрелять, потом нечто вроде самовосхваления, как в представлениях, называемых «Лучше всех!», где показывают талантливых детей, потому что иногда мне кажется, что я лучше многих (умею сочувствовать, поелику возможно помогаю тем, кому еще труднее, чем мне (привожу из города разные детские вещи, которые для меня собирают друзья, и раздаю детям), помогаю друзьям-писателям (этим я никак не сочувствую и вовсе не движим истасканной любовью к ближним, они не забытые и не страдающие, но злополучная судьба сделала их моими друзьями – что же делать, что я умею, в том о них и забочусь. Пусть они на меня не сердятся, я иногда ощущаю себя мамой или доброй учительницей, принужденной опекать взрослых шалопаев, но отвратительной надсадной необходимости согреть их своим телом, как рассказывает Иван Карамазов в романе Достоевского, у меня нет. Притом, я даже испытываю чувство благодарности к ним за то, что смог принести им пользу – но не для Бога, а для того товарищества, которое прославлено Гоголем в «Тарасе Бульбе». Вообще, как христианство извратило даже самые традиционные чувства людей, на которых стоит мир! Симпатия друг к другу возникает даже у животных, это общее биологическое чувство, без него не только людям было бы скучно и тошно, но и волкам, и оленям, и журавлям в небе и на земле!)

Но постепенно я понял, что еще рано восхваляться, когда даже не оправдан и даже защищать меня никто не вызвался – ну, что ж, придется писать Слово в оправдание.

Кто я такой, что мною движет, с какой целью живу на свете?

Кто-то подумает, увидев мою горячность, что я хочу всех поучать, разоблачать, переделать на свой лад, разнообразие взглядов, чувств и верований унифицировать, повторить слова Христа «Аз есмь истина» в применении к себе – но это не так. Я школьный учитель и Редактор стенной газеты (какую я издавал еще в девятом классе, был знаменит, пользовался вниманием девушек и был исключен дважды из школы – правда, больше из-за этого внимания) – я исправляю ошибки в Контрольных работах, хотя сам еще не все задачи умею решить. Так, думаю, что хотя Революция была как жестокая болезнь души и тела, налетевшая на Россию, на всех, на русских и евреев, на славян и тюрков, на крестьян и помещиков, на попов и безбожников, но ясно причины этой болезни разделить и поименовать невозможно. *Все происходящее происходит по сумме многих причин, и болезнь и здоровье, и война и мир, и только любовь – по милости неба.*

Точнее не знаю и я, но некоторые не знают еще пуще.

Невежествен и я – но многие словно только что научились читать – вот и приходится исправлять запятые...

Полночь. Но кое-что я все-таки знаю... Вычитал из книг, узнал из опыта, впитал из воздуха жизни... В нашей сибирской деревне было словно бы две части, из которых одна состояла из талантливых и сердобольных, а другая из бесталанных и грубых. И это была словно бы схема двух народов в одном.

Приехав в Европу, я увидел, что здешний народ развращен гораздо более сибиряков, и его небольшая часть хранила традиции предков, была работящей, честной, доброй, а большинство откровенно проповедовало «жизнь на халяву». Россию не любили многие: одни не любили Россию, потому что их воспитали в любви к СССР и ненависти к отсталой царской России (это были жертвы коммунистического воспитания), другие не любили Россию, потому что им внушили, что она угнетательница и поработительница всех малых народов, которые Россия защитила и от Золотой Орды (в том числе и татар, потому что это ведь не завоевавшие и их и нас монголы, а поволжские тюрки-булгары); и от более сильных соседей, и от Европы, и от Азии; а те не любили Россию... как вот бывают и мужчины, которые не любят женщин...

В 70-м году меня посадили не за антимарксизм, не за антисоветизм, а именно за *любовь к России*. Только я свою любовь к России не смешиваю ни с патриотизмом ни с православием, ибо ни в казенном государственном патриотизме нет неразрывного единения человека со своим народом, то есть **народничества** (или *национализма*, на западный манер), ни в православии нет того, о чем писал Сергей Есенин «Если кликнет рать святая: Кинь ты Русь, живи в раю! – я скажу: не надо рая, дайте Родину мою!» (Повторю ранее сказанное. Об известном российском иерархе в православном сайте в Интернете пишется «Как *подох* митрополит Никодим (Ротов)»? (за то что тот посмел съездить в Рим на встречу с папой Римским – то есть словно бы оказался недостаточным патриотом своей родины. И православные еще смеют говорить о своей любви к человеку?!!!! На встрече с известным богословом Флоровским, живущим на Западе и относящимся к русской зарубежной церкви, Ротов спросил: «Вы вероятно страдаете от того, что не можете прийти в России в русский храм...», на что богослов разразился гневной отповедью в своих статьях: какая может быть русская церковь, разве христианство может быть национальным?!!!!!! – И православные еще смеют говорить о своей любви к России?!) Ну и православные славянофилы, для которых русский народ без православия – это мерзость...

Я **не** говорю, что не следует взять крест и пойти за Христом, то есть отказаться и от жены и от детей и от Родины. Возможно, мы настолько разные, что диалог между нами вообще невозможен. Не говоря уж о том, что воинствующее христианство (а оно было в течение 19-ти веков воинствующим и только Великая Французская революция сначала и Русская затем его образумило и оно перестало призывать огонь и серу на инакомыслящих (хотя на многих христианских сайтах и сегодня проповедуются нетерпимость к инакомыслию) – итак, кто хочет пойти за Кьеркегором или Серафимом Саровским, к тем я не буду обращаться с увещанием, ибо это бесполезно. Но только такие, пошедшие (по утверждению именно самого Иисуса Христа) и есть христиане, об остальных он сказал: **Кто не со мной, тот против меня!** А, следовательно, все остальные – антихристиане.

А я?

Ну, несомненно, что я не со славянофилами, так мерзко отнесшимися к русскому народу. Я не с известным ревностным христианским философом

Владимиром Соловьевым, который ненавидел Данилевского только за то, что Данилевский любил и выделял русский народ и создал теорию культурно-исторических типов, а Пушкина не любил за то, что Пушкин стрелял в Дантеса (и весь православный, то есть казалось бы, русский, мир осуждает Пушкина за этот выстрел в Дантеса! И что якобы Пушкин умер как христианин основано на том, что перед смертью он якобы примирился с Дантесом... впрочем, при чем тут христианство? Перед смертью, пожалуй, и мне станет все равно, что говорят православные о Пушкине и Лермонтове, что говорит и думает профессор духовной академии Дунаев о них, Лермонтову уделивший в своем пятитомном исследовании о русской поэзии только одну строку! И я не с известным писателем Нилусом, опубликовавшим подложные протоколы сионских мудрецов. И я не с Великим инквизитором, не с блаженным Августином, предписывающим христианам, какие движения им позволительно совершать на любовном ложе, не с преподобным Игнатием, проповедующим, что «любовь от движения крови – мерзость».

Начал вдруг читать газеты (телевизор, правда, не смотрю уже более десяти лет, только из компьютера узнаю что-то и телевизионное). Читаю статьи Татьяны Москвиной о литературе – она блестящий литературный критик – а ныне, как вы знаете, идут *процессы по оскорблению чувств верующих*. Цитирую: «До сих пор сторонники "здорового смысла" отбивались от *воображающих себя истинно православными. Воображающих себя коммунистами* образ Матильды Кшесинской не волновал». Но появилась книга о романе вождя революции с Инессой Арманд, что вызвало ярость последних. И тут, пишет Москвина, появилось некое «козломордое существо, ... которому ни одна баба за мешок муки в голодный год бы не дала, и начинает вопить о нравственности...» (Ну и страсть! Что это за такой поборник нравственности, я не знаю, но уж хлестко Татьяна прошла по нему!) ... потому что нет хуже преступления, чем спять с женщиной, это же ясно! Но послушайте, кроме загадочных чувств верующих (а идеи коммунизма – тоже вера) есть нормальные человеческие чувства. Мы, люди из плоти и крови, рожденные под солнцем с наказом любить и размножаться, хотим, чтобы государство оградил нас от беснования скопцов, кастратов, импотентов, старых дев и прочих странных индивидуумов, которые почему-то дико озабочены любовными историями прошлого...

... какие интересные были женщины сто лет назад! Впрочем, как и мужчины, в глазах которых отражались их пленительные силуэты...»

Да, много лет читаю статьи Татьяны Москвиной, но не видел ее в таком бешенстве никогда. И думаю, что не все хорошее только в прошлом. Мы еще удивим мир, и мужчины и женщины. И нашими романами, и революциями, нашими поисками истины и правды, нашей верой и нашим разочарованием.

После полуночи. Завтра утром мне надо отправить журнал в печать. На днях я был в одном обществе, и что-то и меня привело в бешенство, но пусть читатель потерпит до следующего номера. Возможно, я допишу свои инсинуации до конца, и хотя бы отчасти оправдаюсь – по крайней мере, я объясню, что **русскость для меня не только кровь, но прежде всего культура, язык, история...**

23 октября, 14-00. И наука и философия обладают общим свойством: содержание сказанного и форма, в которой это говорится, помогают друг другу. Философ и поэт стремятся понять мир и свое понимание передать читателю. По существу таков же и поэт и всякий творец, и в стихотворении, драме, романе рассуждение развертывается по тем же правилам, которыми вязаны нравственность, эстетика, логика, и хотя **«гений – парадоксов друг»**, и одна из таких гениальных аксиом – **«пусть верит перу жизнь как истина в черновике»** – но нет внутренней несовместимости ни в утверждении Александра Пушкина, ни в строке гениального поэта Александра Башлачева. Нет даже противоречия. Добро и зло не совместимы, они различной природы, они противостоят друг другу, как красота и безобразия, хаос и космос, познание и заблуждение, логическая связность и нарушение логики, спутанность ее. *Красивое безусловно красиво*, а не что кому нравится (как говорил Толстой), и добро безусловно, а не относительно, и верное противостоит неверному как несовместимость. **Диалектика** как сочетание противоположностей, противоречий, несовместимостей – не что иное как софистика, игра, подмена, подвох. А как же их единство (несмотря на борьбу)? Никак. Только литература на примерах действительной жизни показывает нам глубоко, точно, оправданно трагизм существования, выраженный в смешении всего и вся, в разрушении космоса, в истлении плоти и красоты, в смерти, в хаосе прекрасного мира. И хотя смерть преодолевает рождение, но новым рождением преодолевается смерть. Здесь, внутри мира, культуры, народа, истории. – а не там, в небытии.

Религия противостоит культуре, они не совместимы, прежде всего потому, что религия принимает диалектику как форму построения своих учений, особенно ясно это в богословии Кьеркегора (хотя аксиоматически выражено уже в посланиях апостола Павла, отрицающих не только жизнь, но и человека (*жить надо аки спать во гробе; не я живу, но живет во мне Христос, человек спасается не делом а только верой*). Преодолеть эту философию невозможно, совместить ее с жизнью, культурой, человеком – нельзя. Они противостоят и нравственности и культуре и жизни. А как же чудо и сверхъестественное и Бог? Об этом мы поговорим позже.

Но кроме диалектики существует **оксюморон**, соединение несовместимого, внешне похожий на диалектику, например, у Лермонтова:

*Но красоты их безобразной
Я скоро таинство постиг.*

Я пытался вызвать христианство на разговор, двадцать пять последних лет надеялся понять его не в споре, не в противостоянии, а в дружеском разговоре ищущих и размышляющих, как поссорившиеся находят примирение за бутылкой вина, как обидевшийся любовник примиряется со своей подругой в постели, как автор и редактор находят общий язык в рассуждении. Но мужчины-христиане не склонились ко мне за хмельною чашей, женщины-христиане спросили у священника, можно ли им меня обнимать, и священник принудил их выбрать Бога вместо меня, писатели-христиане разговаривали со мною на птичьем языке и сначала мы не поняли друг друга, а потом они узнались, что наших книг они не читают и читать не будут и даже выбрасывают из шкафа, чтобы не поганить шкафа.

Но ведь верующих – миллионы, вот в России уже половина православных, неужели не с кем поговорить?

Подавляющее большинство верующих только *воображают*, что они христиане (или марксисты), оказывается, что с ними не о чем разговаривать, они исповедуют совершенно те же традиционные истины, только называют это православием. Ребенок уже к трем годам усваивает неизблемые основания мысли, чувства, отношения, он понимает, что такое любовь, красота, сострадание, боль, что хорошо и что плохо, живет ли он в Палестине, на Чукотке, в Японии... Русский православный называет мне десять заповедей Моисеевых и говорит, что это и есть основа православия, еще любовь к Родине, любовь к семье, трудолюбие... Братцы мои, сестрицы мои, давайте обнимемся, да и я такой же, к тому же я верю в Бога (а вы в него не верите, и это бы я легко доказал, если бы вы меня слушали). Мы не продвинулись дальше Книги Бытия из Ветхого Завета, следовательно, мы все иудеи, только не все обрезаны.

Итак, на днях я оказался в смешанном обществе, где собрались верующие и атеисты, православные и иудеи, пьющие и не слишком пьющие...

Сначала православные напустились на меня, узнав что я **издатель**, и не только книги пишу, но еще и издаю их. Книги все надо выкинуть на помойку, они самый главный враг благочестивого человека. А сочинения Дионисия Ареопагита, Россия и Европа Данилевского, жития святых и много других подобных – которые я издавал? Все их надо сжечь! – громогласно возопили они. Вместе с иудеями, врагами нашего Спасителя.

Евреи немедленно встали и захотели уйти. Погодите, возопил я, я вот уже давно размышляю, и хотя я искал русского Бога, и в восточных религиях русского Бога не нашел, но пока решил стать иудеем. Так что я с вами, я не могу оставаться с православными, я теперь иудей. Евреи засмеялись (впрочем, некоторые из них были атеистами): ты не можешь стать иудеем так быстро, тут необходима еще одна важная процедура... А без нее нельзя? Об этом рассуждает апостол Павел в своих посланиях, и он сначала пришел к выводу, что можно без обрезания, потом – что все равно, потом – что даже лучше не обрезаться – но тогда ты все таки не можешь уйти с нами, а должен остаться с апостолом Павлом.

Я все же пошел с ними, на лестничной площадке мы замешкались, оказалось, что мой товарищ бегал за настойкою (для меня), принес... А у меня в кармане был бутерброд, который я не успел съесть до конца. Мы его разделили... Но перед этим! – одна дама поцеловала меня (из наших, из славян, еще не успела прочитать у Флоровского, что **нет большего зла, чем любовь к родине**, и только целоваться еще хуже)...

Я, правда, вернулся и попросил прощения у остающихся за горячность (тем не собирая на них горящие уголья, как сказано в евангелии), и только потом ушел. Можем ли мы, русские люди, в нынешнюю эпоху всеобщего разброда, не хватать за грудки друг друга, не проклипать ершистого Лермонтова, оставить себе и Тютчева (призвавшего, кроме Бога, верить в Россию), и Маяковского, атеиста, и еще не разгаданного Достоевского (у которого даже мощи старцев увы, протухают ...) Не гоните меня из журнала, попробуем поискать наш общий русский язык?! Мы еще поговорим, и о России, и о революции, Боге.

24 октября, 9-00. Но этот номер еще печатается, и поэтому мы успеем поговорить вдогонку. Заканчиваю о родине, о роде, семье и крови, о том русском народе, от которого я неотрывен и к которому принадлежит всякий, кто взращен именно этой землей и этой культурой, этой историей и этим чудным сверхъестественным языком, который и является преимущественной кровью русского человека и бежит по его жилам. Видимо, в каждом народе три народа, и та чернь, о которой говорил Пушкин, это отдельный народ, он, конечно, малый, но не опешьте интеллигенцию, внушая читателям мысль, будто после Петра наши интеллигенты и составляли часть черни – нет, по Пушкину, к ней в большей степени принадлежали некоторые аристократы и, по Лермонтову, «презренные потомки известной подлостью прославленных родов», вместе, конечно, с городскими обывателями (мещанами, чиновниками, отщепенцами духовного сословия и "выученными на нашу голову и даже пожалованными во дворянство", как царевница Ленин (хотя в последнем деянии я еще не вижу плохого). К малому народу принадлежат и Синявские (Абрамы Терцы) – русские, кстати сказать, по бывшей крови, – и не принадлежит Даниэль (которого я читал и о нем свидетельствую). Они как правило не любят Россию и русских (не важно, от кого рожденных, ибо русскость – это принадлежность к нашей почве и нашей культуре) и именно из-за этой врожденной любви влетают в «малый народ», о котором говорил Шафаревич. Но «люди творчества», поэты, философы, ученые, юриды, пасечники, сторожа, путешественники, «фанатки», пуссички из «Pussi Riot», влюбленные, разочарованные, покушавшиеся на самоубийство (среди которых и русские поэты и даже немецкие) – и кстати сказать некоторые из средневековых русских юридовых – это бывшие ганзейские купцы, как о том писал замечательный филолог Панченко... люди творчества тоже составляют «особый малый народ», и эти тоже доходят до выкриков и хулы, да еще какой, по отношению к России и русскому – но не путайте их (как и меня) ни с русофобами ни с пламенными патриотами: коммунистическими, православными, олигархическими, верноподданными и казенными! Несмотря на "черт догадал родиться мне в России" Пушкина, "слопала меня Русь-матушка как чушка поросенка" Блока, "прощай, немытая Россия" Лермонтова, "как сладостно Россию ненавидеть" Печерина, "умом (увы!) Россию не понять" Тютчева... в нас страсть хлещет через край, мы еще и зарезать можем ту, которую любим, как Рогожин зарезал Настасью Филипповну. Но мы никогда не встанем на колени!!! Ни в молитвенном экстазе перед «щупленьким офицериком», ни перед модами Ильича, ни перед усатым крокодилом, ни перед чужими и чуждыми нам богами...

Я жил и живу среди всех трех народов, составляющих русский народ, и принадлежу ко всем трем, и поэтому я единственный их хорошо знаю. Что сказать о Большом народе, который выпиливает лес для олигархов, растет картошку, ловит смуглянов, которые еще осмеливаются иногда идти по Красной площади с лозунгами "Долой жуликов и воров!" – еще пока я не готов что-нибудь толковое о народе сказать... да ведь и Достоевский со своим кликушеским "народ-богоносец" нес такую чушь, что у нормальных читателей – вы не видите? – уши давно завяли... Кроме меня все писатели не живут и не жили среди Большого народа (Достоевский жил, но все же это был только, хотя и долгий как зимняя ночь, эпизод, а я живу среди народа **всю жизнь** – в

камере среди "честных воров", в сумасшедшем доме, в сторожах, на барже матросом, на делянке с картошкой, у пивного ларька, на овощебазе в советское время, разбирая сгнившие овощи – за тридцать лет никак три года я там провел), в экспедиции среди бичей ... ну, в общем, трудно отделить, где я, а где народ... Но ведь и Аристотель с апостолом Павлом лежали рядом со мной на "Пальме", следовательно я часть той части русского народа, которую ныне "истинные православные", прозревшие в православные из комсомольцев, проклинают как виновников сверженья царя. Есть еще часть русского народа, и не только не худшая, но в иных отношениях лучшая – это русские не по крови, а по культуре, языку и духу, и Сергей Сергеевич Шульц (он меня и надоумил, что **лучший русский – это немец!**), и мой незабвенный друг Казимир, из Виленской Польши, откуда и Мицкевич, друг Пушкина, и одноклассница из Львова, "внучка Махно", и Т. А. Шумовский, замечательный русский поэт, выросший в Шемахе (откуда родом царица), родившийся на Украине, родом поляк, по родному языку пока наука не определила, по национальности ЗЭК, когда-то друживший с младшим Гумилевым, потом велевший мне выбирать: Или он, или я! – да это уже не дружба, любовь!!! – только, конечно, не вздрагивайте, не по нынешней западной паранойе, а по Гоголю и Пушкину, которые только так и могли дружить, до страсти! ...черт возьми, да, интересная у меня была жизнь? Нет, мне уже не страшен расстрел!

Ну и, конечно, я уже отчасти еврей, по крайней мере, иудей, хотя и не успел еще... это самое...

Ну так вот, истинный христианин ненавидит все плотское, вещественное, мирское, ненавидит пол, половую любовь, род и национальность – помните, как Флоровский возмущался на митрополита Никодима (Рогова) и его слова о «русской церкви»? Ну а так как я верую в Россию (по слову Тютчева), то никак не по пути мне с истинными христианами! (Но по пути ли мне с Иисусом Христом? В семь лет мне было видение, что я призван спасти русский народ, и мои деревенские мне потом то же усиленно внушали, а Христос разве не сказал самаритянке, брезгливо сначала от нее отодвинувшись, чтобы она не прикасалась к нему, что он **"пришел спасти свой народ"** и разве по замыслу он мне не близок? Это потом ученики его отобрали его у евреев и передали всем другим, хотя родила его палестинская Мария, если даже верно, что он Сын Божий, то все же это Бог еврейского народа, и сам Христос иудей, так как был обрезан в веру отцов – не спешите меня сжигать, это я цитирую евангелия.

... Ненависть к народному, национальному, культуре, миру, жизни, ненависть к женщине и к любви к ней проходит не только через всю историю, но и через теологию и идеологию, через быт (в монашестве), иконоборчество, отрицание русской церкви и русского Бога. Как ни удивительно, хотя отцы церкви сами даже запутались в различении души и духа, но ныне весь Интернет переполнен призывами "распячь душу", "умертвить душу"... там даже сказано: "если тебе свое дитя дороже Бога, то ты враг Богу" – это перекликается с необходимостью «...отдать дом свой на разорение» (стр.94), нелепость такого призыва убедительно («смех сквозь слезы») показал А. Медведев.

Противопоставление духа и души... Разумеется, не в сиоминутных послепных заметках об этом писать, но мой долг редактора хотя бы на ходу

хотя бы запятые исправить. Призыв не прикасаться к женщине словно бы не действителен, вот какво чадолубиво русское священство, говорят мне иные истолкователи Священного Писания, и сами приспособливающие его под удобное обыденное использование, так что, как я уже сказал (и как это ранее показал Кьеркегор на примере лютеран), ВСЕ православные понаслышке знают книгу бытия и Десять заповедей Моисея, до Христа даже не дошли, но воображают себя христианами... Но разве певчие в церковном хоре уже одним только фактом того, что поют в храме, уже стали христианами? Они служащие (как и уборщица, как свечница), и такие же **служащие** и священники. Апостол Павел говорит, что "лучше не прикасаться к женщине", они этим заветом пренебрегают (но, правда, возразят они, мы не лжем, не завидуем, не убиваем, не желаем жены ближнего своего... - так таковы же почти все люди, даже не держащие в руках Нового Завета, разве одного того, что они ведут себя прилично, достаточно чтобы стать христианами? В Средние века я бы вас всех, вместе с Торквемадой, сжег на костре...)

Но вообще возможно ли, даже монаху, **умертвить душу**? Возможно ли жить одним духом святым, хотя бы и истеченным на православного от Богатца (а, в отличие от католиков, православные отрицают истечение *духа Святаго* от Бога-сына, посему те, кто всю свою религиозность сосредоточил в Спасителе, никак не могут исполниться духа!)

В связи с этим тоже на днях знаменательный разговор. Я спросил одного христианского философа, в чем же смысл веры христианской, **для чего** кому-нибудь следует бросить жену и детей и пойти в христиане (не то чтобы за Христом, там надо даже раздать имущество, – но хотя бы в «посюсторонние христиане», выражаясь языком Кьеркегора и Розанова), помимо чаяния воскресения после смерти (что, может быть, больше всего и привлекает человека, боятся наши люди смерти, из страха ее не то что ненавистных ближних готовы полюбить, как Константин Леонтьев – а он только такую любовь, из страха, и считал истинной!), – но и вообразить себя христианами.

– **Для стяжания духа Святаго!** – ответил философ.

Больше ли это чем Родина и Семья, чем литература и любовь, чем этот мир, подверженный тлению (вот уже последние листки истлевают)?

Возможно, Дух – главное искушение для человека, и надо вернуться к «Легенде о великом инквизиторе» и продолжить разговор, который начинался в романе Достоевского «Братья Карамазовы» (у которого даже святые мощи протухли), продолжился в книге Розанова «Легенда о великом инквизиторе», затем подхвачен был многими философами и писателями и даже тысячами гимназисток, увлекающихся мистификациями (а мистика ли это или попросту мистификация?) и не окончился даже в моей одноименной книге...

...Уже печатный станок достиг до этой страницы, надо заканчивать. Не спешите и меня засунуть в какой-либо станок и на этом покончить с спорами. Я провокативен, как положено критику. Я хочу побудить вас к чтению и обсуждению, для меня и гражданская война не закончилась. Мой отец был русским офицером и его убила армия Маннергейма, тоже «русского офицера», а значит русского, следовательно, мой отец погиб на войне гражданской. Я русский прежде всего, а потом уже писатель или проповедник. И на этих словах пока заканчиваю, надеюсь, еще продолжим наш разговор.

НОВЫЙ РУССКИЙ ЖУРНАЛ

литературной и философской критики

(для всех, кто любит отечество)

№ 5

Подписано в печать 7 ноября,

Формат 60x90 1/16 17,5 п. л. = **280** с.

Печать по требованию.

Почта редакции
Email: mvnch@mail.ru

СПб
2017